Илья Эренбург
Изменники родины

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Во всей литературе, описывающей четыре многострадальных года Великой войны, есть множество рассказов о геройских подвигах. Герои этих подвигов — командиры и рядовые Красной Армии, летчики, артиллеристы и простые пехотинцы, я же буду писать не о героях без страха и упрека и не о злодеях без проблеска совести, а о людях, обладающих и хорошими, и дурными свойствами, которые в силу разных обстоятельств оказались сотрудниками оккупационной власти.

- Лиля Энден
  - Ольга Мещерская aka Гостья
  - Предисловие
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 24
  - Глава 25

Лиля Энден
(1911–1978)

Изменники Родины

Ольга Мещерская aka Гостья Вступительное слово публикатора к роману Лили Энден

Этот роман был найден среди семейных архивов в нашем фамильном гнезде, находящимся за 101 км под Санкт-Петербургом. К тому времени все старшее поколение большой и необычной семьи, родившееся еще до большевистской революции, уже умерло.

Среди многих и многих интересных документов мы нашли школьные тетрадки с машинописным текстом. Имени автора на них не было. На семейном совете было решено, что текст этот может принадлежать только одному человеку — нашей двоюродной тетушке Елизавете Людвиговне Энден. Она умерла в Оренбурге в 1978 году, не оставив наследников.

Происходила Елизавета Людвиговна из немецкой, давно осевшей в России, семьи Елизаветы Форш и Людвига Эндена. Кроме нее, в семьи было еще три брата, один из них погиб в Гражданской, судьба второго неизвестна, а третий — Лев Энден, выпускник Пажеского корпуса и белый офицер, благополучно скончался в Париже 93-х лет отроду.

Лиля родилась в 1911 году, пережила революцию ребенком, и проблемы для нее начались только спустя годы. После убийства Кирова она была выслана из Ленинграда и оказалась волею судьбы на оккупированной территории. Работала переводчиком при оккупационных властях, с ними не ушла, была арестована, отсидела в лагерях за сотрудничество с немцами, после освобождения поселилась в Оренбурге, не имея другой возможности. Работала бухгалтером, иногда приезжала погостить к свой кузине в Ленинградскую область.

Так этот текст и оказался в нашем доме.

Сам роман написан теперь уже архаичным советским языком, но представляет несомненный интерес для любителей нашей непростой истории. Публикацией этого романа я исполняю свой долг перед многими, своими и чужими, многострадальными предками.

Предисловие

Во всей литературе, описывающей четыре многострадальных года Великой войны, есть множество рассказов о геройских подвигах. Герои этих подвигов — командиры и рядовые Красной армии, летчики, моряки, артиллеристы и простые пехотинцы.

Немало произведений посвящено также тем, кто переживал невзгоды войны в тылу, кто работал для фронта, не жалея сил и не считаясь с трудностями. Еще больше написано о тех людях, которые, находясь на оккупированной территории, сражались в партизанских отрядах, или были членами подпольных организаций…

Но нет среди литературных героев тех людей, кто находился в оккупации, но не принадлежал ни к подпольщикам, ни к партизанам, а просто жил, применяясь к новому порядку и не сопротивляясь ему.

Если где-нибудь на печатных страницах и встречаются подобные персонажи, они бывают обыкновенно безличным фоном, на котором развертываются действия героев.

Если же попадаются в литературе лица немецкой национальности — это, как правило, гестаповцы и эсэсовцы, и действуют они в ролях палачей, и нередко создается впечатление, что вся немецкая армия состояла из гестаповцев и эсэсовцев, хотя на самом деле их было во много раз меньше, чем обыкновенных солдат.

Если встречаются русские люди, занимавшие при оккупации должности старост, бургомистров, полицейских и т. д., то им обычно тоже приходится выступать в качестве злодеев, олицетворяющих все пороки рода человеческого.

Но абсолютные злодеи, как и абсолютно добродетельные люди, в природе встречаются очень редко.

Я буду писать не о героях без страха и упрека, и не о злодеях без проблеска совести, а о людях, обладающих и хорошими и дурными свойствами, которые в силу разных обстоятельств оказались сотрудниками оккупационной власти.

Очень возможно, что, если бы эти люди, заклейменные именем изменников родины, попали бы в другие условия, — они стали бы участниками героических событий, а некоторые другие, прославленные, как герои, — угодили бы в изменники.

Автор. 1968 г.

Глава 1
Один из многих городов

Меж полей и лесов раскинувшейся на четверть мира России, по широкой равнине протекает река, которую когда-то в далекие времена прозвали Ясной, вероятно, за чистые и прозрачные воды.

У истоков узкая и мелкая, Ясна, как большинство рек мира, собирает в себя множество речек и ручьев, с названиями и без названий, раздается вширь и вглубь и, выйдя в украинские степи, сливается с Днепром.

И могучему Днепру не приходится стыдиться такой сестры: по ширине и глубине она ему почти равна…

Но в верховьях будущую соперницу Днепра курица вброд перейдет, и даже трудно поверить, что здесь начинается большая река.

В том месте, где в Ясну впадает первый приток, где ее пересекает первая плотина, и вертятся жернова первой мельницы, где через нее перекинут первый мост, заслуживающий называтся мостом, а не мостиком, или кладкой, — в этом месте приютился маленький городок Липня.

История забыла, кто, когда и зачем основал его, но существует он давно. Стоит этот городок на плоском и неинтересном месте, от старины остался в нем один курган, служащий пастбищем для городских коз.

На запад от Липни темнеют леса Белоруссии, на север — тоже леса и болота, на восток — не так далеко, но и не очень близко до Москвы, а на юге в водах Ясны отражаются украинские хатки…

В 1812 году мимо Липни проходили войска Наполеона, но в самый город не зашли, и он остался цел и невредим.

Послереволюционные бури гражданской войны также обошли этот маленький городок стороной: власть в нем как-то почти безболезненно перешла в руки советов, белые не дошли до Липни верст двести, и даже бандиты, орудовавшие в смежных уездах, ни разу не удосужились заглянуть в Липню.

До революции Липня была уездным городом Днепровской губернии, а в советское время она стала носить звание районного центра.

К началу 1941-го года в этом районном центре было несколько промышленных предприятий, громко именующих себя «заводами»: льнозавод, кирпичный завод, спиртзавод, маслосырзавод и обозостроительный завод; на каждом из этих

«заводов» работало от десяти до ста человек рабочих. Были еще две мельницы — паровая и водяная, пекарня, валеночная мастреская, МТС и электростанция. Кроме того, уже четыре года шло строительство льнокомбината — предприятия более крупного, чем вся вместе взятая промышленность города и всего района, но корпуса новостройки еще не были подведены под крышу.

Через Липню проходила полузаштатная железная дорога, по которой ходило всего два пассажирских поезда в сутки: почтовый и пригородный.

Был в городе сад, где росли вековые липы и березы, и летом по вечерам играла музыка и устраивались танцы; был дом культуры и кинотеатр; была столовая с громкой вывеской «ресторан»; было несколько магазинов, из которых один назывался «раймагом», другой «многолавкой», третий по фамилии давно исчезнувшего прежнего владельца — «Качаловским».

Были две школы: десятилетка и семилетка, и сельскохозяйственный техникум.

В центре города стояло десять-пятнадцать двухэтажных каменных домов, а все остальные дома были деревянные, деревом крытые, на всех дворах визжали поросята и кудахтали куры, вокруг домов широко расстилались плантации картошки.

Два раза в неделю устраивался в Липне базар; продавались на нем лапти, сани, холсты, глиняные горшки и горлачи и сельскохозяйственные продукты. Цены на этих базарах были самые дешевые во всей Днепровской области.

Молодежь в Липне именовалась уменьшительными именами: Ванька, Мишка, Нюрка, Катька; пожилых, а также молодых, но уважаемых людей величали по отчеству без имени: Петрович, Тихоныч, Андреевна, Степановна…

С Незапамятных времен и до лета 1941-го года была маленькая, скромная Липня одним из самых тихих, самых мирных уголков на всем земном шаре.

Глава 2
Игра в войну

Липнинский радиоузел обыкновенно работал от семи часов утра до часу дня; затем радио умолкало до шести часов вечера; от шести часов до двенадцати ночи бывали вечерние передачи.

Но в один солнечный июньский день, накануне выходного, этот порядок неожиданно нарушился: репродукторы заговорили в самое неурочное время — около трех часов дня.

— Внимание! Говорит Липня! Внимание! Внимание! Говорит Липня! — разносился по предприятиям, квартирам и улицам звонкий, отчетливый голос дикторши Маруси Маковой; голос этот звучал так настойчиво, что все липнинцы поневоле «обратили внимание» и стали прислушиваться.

— Завтра, двадцать второго июня 1941 года, в Липне проводится военная игра! — насколько раз повторило радио, — сегодня, двадцать первого июня, с десяти часов вечера объявляется военное положение!.. Ходить по улицам разрешается только по особым пропускам, выданным комиссией при райисполкоме; все окна должны быть завешены; все рабочие и служащие должны находиться на своих постах по месту работы; уклонение от участия в военной игре будет рассматриваться, как прогул…

— Вот тебе и выходной! Погуляли!..

— У меня же картошка не скучена!..

— А базар завтра будет или нет?..

— А я-то на рыбалку завтра собирался!..

— Если как прогул засчитают, могут и принудиловку влепить…

Так реагировали жители маленького захолустного городка на постановление своих властей.

А черные тарелки репродукторов продолжали сообщать новые подробности военной игры:

— По всем предприятиям и учреждениям должны быть немедленно организованы посты противовоздушной обороны и санитарные посты, а также отряды патрулей для проверки и охраны улиц города…. Напоминаю, что все окна должны быть завешены и никто не имеет права ходить по улицам без пропуска после десяти часов вечера. Ответственными за проведение игры назначены следующие товарищи…

Следовал длинный список фамилий, в котором было поименовано все липнинское начальство, от председателя

райисполкома до председателя инвалидной артели.

— Вела передачу Макова! — сказал наконец районный радиоузел и замолчал.

* * *

— Вот не было печали! — с усмешкой, плохо скрывавшей досаду, проговорил, прослушав объявление, главный инженер и заместитель начальника строительства льнокомбината Николай Сергеевич Венецкий, имя которого тоже значилось в списке, — две ночи не спал, теперь еще третью придется здесь околачиваться!..

Накануне он ездил в командировку на соседнюю станцию Коробово; до этой станции было всего двадцать километров, но пригородный поезд ходил только от Днепрвска до Липни и до Коробова не доходил, а единственный почтовый в оба конца проходил этот отрезок пути в ночное время.

Начальник строительства Шмелев поднял от бумаг свою большую, лысеющую голову и тоже усмехнулся в ответ на замечание своего помощника:

— Ничего, Николай Сергеич, человек ты молодой, — тебе можно и неделю не спать… Кстати, возглавлять у нас всю эту историю придется тебе: я сегодня вечером в Днепровск поеду.

Венецкий встал из-за стола и начал ходить взад и вперед по кабинету; Шмелев окинул внимательным взгядом его статную фигуру и молча вытащил из-под стекла на своем столе целую груду записок и заявлений и принялся их разбирать.

— Александр Федорович, когда же вам пришлют заместителя? — спросил инженер, останавливаясь перед столом начальника.

— А ты кто? — буркнул Шмелев, не поднимая глаз от бумаг.

— Так я же врид!.. Хронический врид! — воскликнул Венецкий.

— Ну, и будь хроническим вридом!.. Нагрузка, правда, у тебя получается не маленькая, но ты выдержишь — не из слабых!..

— Вы даже не напоминаете в тресте, чтоб прислали?

— Заместителя-то? — Шмелев поднял глаза. — Милый мой! Я не только не напоминаю, а всеми силами стараюсь, чтобы все начальство забыло, что у меня заместитель не настоящий, а врид!..

Николай Сергеевич насмешливо поклонился.

— Спасибо большое! Докуда же вы мне прикажете во вридах сидеть?

— Ты же сам сказал, что — ты — хронический врид — ну, и сиди до конца строительства! Теперь уже не так много осталось. Лучшего заместителя, чем ты, мне все равно не пришлют… — говоря, он почти механически что-то писал на уголках бумажек. — Беда, что ты беспартийный, был бы ты в партии, тебя бы в два счета утвердили постоянным… А раз ты беспартийный, договориться трудно… А чтоб мне посадили на голову какого-нибудь дурака или бюрократа — не хочу!.. Сиди во вридах и работай!

— С вами не сговоришься — вздохнул Венецкий. — А знаете — я еще в прошлом году хотел прогулять, чтобы избавиться от этого заместительства: вам тогда пришлось бы меня уволить…

— Почему же не прогулял? Струсил?

— Нет, опоздал: пока собирался, новый указ вышел.

— Ага!.. Принудиловки не захотел?! Ну, кто зевает, тот воду хлебает… Но хватит шутить! — Шмелев вдруг резко переменил тон и заговорил очень серьезно. — Давай поговорим по существу: ты мне нужен, Николай Сергеич, ты это прекрасно знаешь сам! Когда я оставляю дело на тебя, я спокоен и уверен, что все будет сделано, как надо, не хуже, а даже лучше, чем если бы я сам распоряжался. Дело ты знаешь и любишь, и рабочие тебя любят. Подавай-ка ты в партию — тебе давно пора! Я тебе дам рекомендацию, вторую даст Клименков или Савельев. А когда ты будешь кандидатом, тебя утвердят постоянным заместителем, пришлют кого-нибудь в помощь по инженерной части и все будет в порядке!

Красивые глаза Венецкого потемнели.

— Я… пока не буду подавать в партию… — проговорил он, и его мягкий баритон прозвучал непривычно глухо.

— Почему это? Думаешь — не заслужил?

Венецкий промолчал.

— Напрасно! — сказал Шмелев, подумавший, что это молчание является знаком согласия, — У нас получается так: карьеристы, шкурники — лезут в партию всеми првдами и неправдами, а честные и дельные люди — скромничают.

Послышался стук в дверь: десятник Козлов пришел к главному инженеру с вопросом о каких-то оконных рамах и прервал разговор на трудную тему. Венецкий поспешил пойти с ним вместе, чтоб самолично посмотреть эти рамы, хотя никакой особенной нужды в этом не было; и по лицу его было заметно, что он очень рад предлогу уйти из кабинета и не отвечать на трудный вопрос, только ли скромность, или еще какая-нибудь причина мешает ему подать заявление в партию.

До конца рабочего дня он все время находился на стройке и в

кабинет начальника не приходил.

* * *

Мало спали жители Липни в эту короткую, теплую, тихую ночь. Немногочисленные фонари на улицах были погашены; в окнах домов, сквозь разнообразные занавески кое-где проглядывали контрабандные светлые щелочки. На черном безлунном небе мерцали звезды, отражаясь в спокойной глади запруженной Ясны, маленькие домики и развесистые деревья в темноте казались гораздо больше, чем были на самом деле.

Ни одно предприятие не работало, но рабочие и служащие находились на местах своей работы почти в полном составе: никому не хотелось из-за «военной игры» зарабатывать прогулы, которые в то время несоразмерно строго карались.

Большинство этих людей не знало, чем заняться; одни тихо разговаривали, другие дремали. У многих были противогазы, женщины надели на рукава повязки с красными крестами.

Группа молодежи занялась более интересным делом: они задерживали всех, кто вопреки запрету, оказывался на улице.

Некоторые получили задание оборонятьотдельные участки города в случае нападения врага; другие должны были изображать самого врага и нападать на город.

Героем дня была дикторша радиоузла Маруся Макова: ей было поручено объявлять по радио все, что значилось в программе военной игры: воздушные тревоги, десанты условного противника, нападение на город и оборона его, и она заранее торжествовала, репетируя свою роль, самую интересную в предстоящем спектакле.

Марусю Макову знал весь город. Работая табельщицей на льнозаводе, она занималась самодеятельностью и оказалась хорошим организатором. По инициативе райкома комсомола ее перевели работать в районный Дом культуры и по совместительству поручили обязанности диктора и редактора местных радиопередач, время которым было назначено от шести до семи часов вечера.

Прежний диктор ограничивался тем, что монотонным голосом, с запинками причитывал перед микрофоном местную газетку «Коммунистический путь», и его почти никто не слушал.

Но, с тех пор, как за это дело взялась Маруся, — при словах «внимание, говорит Липня» многие стали подсаживаться поближе к своим репродукторам: по местному радио теперь каждый раз передавалось что-нибудь интересное: то выступал хор Дома

культуры, то драматический кружок, то баянист Витя Щеминский, то гитарист Калинов, то хор учеников средней школы; даже приезжих артистов Маруся привлекала к работе на радио.

А, если привлечь было решительно некого, — выступала сама Маруся: пела в микрофон популярные песни.

Однажды за исполнение по радио песенки «Как я поехала в Москву» ей «вкатили» строгий выговор и хотели снять с работы, но по единодушному требованию радиослушателей оставили на прежнем месте.

Весь вечер 21-го июня Маруся просидела на радиоузле и, несмотря на воркотню старого радиотехника Михаила Михайловича, то и дело прерывала московские передачи местными сообщениями о ходе военной игры.

Но к полуночи даже ей начало надоедать повторение уже не раз сказанного, и, предоставив микрофон в распоряжение Михаила Михайловича, она принялась читать ратрепанную книжку без начала и заглавия — старинный роман о приключениях какой-то экзотической графини.

В других комнатах, где помещались почта и телеграф, было тихо, по крайней мере, до изолированного, с отдельным ходом, помещения радиоузла, никакого шума не долетало.

Михаил Михайлович передал «последние известия», Красную площадь и Интернационал, закончил передачу и ушел в соседний пустой кабинет, где стоял большой диван; вскоре оттуда донеслось легкое похрапывание.

Ночь брала свое, и Маруся, недочитав объяснения графини с коварным злодеем, также задремала, опустив голову на стол.

— Марусенька! — в комнату вбежал, запыхавшись, моторист льнозавода Андрей Новиков. — Маруся!.. У нас на заводе ребята хотят, чтоб как-нибудь проявить себя… Устрой что-нибудь!..

— А ну тебя, Андрюшка, разбудил! — недовольно проворчала Маруся, лениво поднимая упавшую на пол книгу. — Что у вас там на заводе?… Рабочие все налицо?.. Дежурят?..

— Конечно, дежурят, но…

— Ну, и все в порядке!

— Так скучно же! Спать хочется! Уже многие спят на кипах, — доказывал Андрей.

— Ах, скучно? Спят на кипах? — встрепенулась Маруся. — Ну, подождите же! Я их расшевелю!..

И она взялась на микрофон.

— Внимание! Внимание! Воздушная тревога! — зазвенел ее голос по пустынным улицам. — Вражеские самолеты над территорией льнозавода!.. Они сбрасывают парашютистов!.. Всем дежурным немедленно идти на поиски десантников!.. Пусти, ну

тебя!..

Последние слова относились уже не к микрофону, а к Андрею, который с восторженным возгласом: «Ой, Маруська, молодец! Вот здорово!» крепко обнял ее.

Она его толкнула в бок, довольно больно ударила его по рукам, но это было только для вида: она не сердилась, она знала, что курносый, кучерявый Андрюшка влюблен в нее по уши; и он ей нравился, хотя не был красивым, а еще больше ей нравилось его дразнить.

— Марусенька моя! — прошептал Андрей, неловко, но крепко целуя ее. — Ты лучше всех на свете!.. Самая замечательная!..

Маруся милостливо и серьезно позволила себя поцеловать, а затем рассмеялась:

— Самая замечательная? Еще бы! На всем земном шаре такая только в одном экземпляре имеется!..

— А ты меня, все-таки, любишь!..

Андрей сел на соседний стул и перетащил ее к себе на колени.

— Тебя любить совершенно не за что! — заявила Маруся.

— Хоть и не за что, а любишь! Теперь уже никуда не денешься! Возьму и женюсь на тебе!

— Дурачок! Ведь ты же моложе меня на целых три года!.. А главное, чтоб на мне жениться, моего согласия спросить надо!..

Маруся хотела еще что-то добавить, но в дверях выросла длинная худая фигура председателя райисполкома Куликова.

— Товарищ Макова! Кто вам разрешил поднимать тревогу? Еще только десять минут второго, а тревога назначена на четыре часа утра…

Андрюшка готов был провалиться сквозь землю, но Маруся нисколько не смутилась. Слегка отстранив Андрея, она снова взяла микрофон.

— Внимание! Говорит Липня! Объявляется отбой воздушной тревоги!.. Вражеский десант обнаружен и обезоружен!..

Она подчеркнула нечаянную рифму.

— Товарищ Макова! Что это за нелепые шутки?!

— Скучно же, Иван Константинович!.. Надо расшевелить дежурных, а то они уже двенадцатый сон смотрят… А в четыре часа можно будет еще парашютистов сбросить…

Куликов молча пожал плечами, повернулся и вышел.

* * *

Лена Соловьева, агроном Липнинского Райзо, возвращалась

домой из Молотиловского сельсовета, где она была в командировке. На попутной машине, на которой она ехала, в дороге отказал мотор, и ей пришлось около пяти километров идти пешком.

Когда она подошла к окраине города, был первый час ночи. Сперва она не заметила ничего особенного, только удивилась полной темноте улиц, но предположила, что виной этому какие-нибудь неполадки на электростанции.

Но недалеко от больших, недостроенных корпусов льнокомбината она услышала неожиданный окрик:

— Стой! Руки вверх!

Из густой тени выступили два человека. Один из них подошел вплотную к Лене, которая остановилась, но рук не подняла и стояла, как б раздумывая, стоит это делать, или нет.

— Руки вверх, а то стрелять буду!

В вытянутой руке подошедшего что-то сверкнуло.

— Витька! Что это еще за хулиганство?! Хорошо, что я не трусиха, а то можно так до смерти напугать, — сказала Лена, стараясь не показать вида, что она тоже немного испугалась.

— Не хулиганство, а военна игра! Вы арестованы, гражданка!

Виктор Щеминский говорил резко, отрывисто и необыкновенно важно.

— Какая военная игра?

— А разве вы не знаете? — спросил второй «часовой», Володя Белкин, столяр со строительства.

— Откуда же я могу знать? — отозвалась Лена. — Я иду из Молотилова, была в командировке…

— Все равно! Сегодня ходить по улицам после десяти часов воспрещается! Могут оказаться шпионы и диверсанты!.. Мы вас арестуем и отведем в штаб для выяснения личности! — решительно заявил Виктор и вновь направил на Лену свое оружие: это был детский игрушечный пистолет, стреляющий пробкой, привязанной на нитке; он почти целиком прятался в Витькиной ладони.

— Но ведь вы оба меня знаете, зачем же вам выяснять мою личность?

— Что мы вас знаем, это не считается! Идемте, гражданка, в штаб!

— Да никуда я не пойду! Отвяжитесь! Я домой иду!

Но тут вступил в разговор рассудительный Володя:

— Ну, пожалуйста, пойдемте с нами!.. Это не в серьез, так только… Мы с Витькой — часовые, патруль…. Понимаете, патруль?.. Мы обязаны всех задерживать, с нас спрашивают… А до дому вы все равно не дойдете: не мы, так другие вас

остановят…

Лена сдалась.

— Ну, ладно, идем! Где ваш штаб?

Но оказалось, что никакого «штаба» не было: это слово как-то нечаянно само собой слетело с языка Виктора.

Часовые заспорили.

— Надо вести ее в райисполком! — заявил Виктор.

— Куда же это, через весь город? — возразил Володя. — Удостоверение-то у тебя есть?

— Нет, не успел взять…

— И у меня нет… Нас арестуют с ней вместе!..

Лена рассмеялась:

— Ну и часовые!.. А поближе где-нибудь штаба нет?

— Да пошли в нашу стройконтору! — предложил Володя. — Пускай там будет наш штаб!..

— Пошли!.. Быстро!..

И ретивые часовые повели свою пленницу. Поднять руки они ее так и не сумели заставить.

Они прошли, спотыкаясь о кирпичи и доски, через широкий темный двор новостройки и вошли в контору, где сидело несколько человек дежурных. Около самой двери сидела знакомая Лены, Клавдия Ивановна Сомова, машинистка; на рукаве ее старенькой темно-коричневой жакетки белела повязка с красным крестом.

— Леночка! Как же вы к нам попали? — начала она было удивленно, но Щеминский резко прервал ее:

— С арестованными не разговаривают!.. Кто здесь начальник штаба?

— Какие арестованные?.. Нет тут никакого штаба!

Но Венецкий, сидевший на подоконнике в глубине комнаты, встал, выступил вперед и сказал отчетливо и строго:

— Кажется, эта почетная должность поручена мне! Я — начальник штаба!

Виктор вытянулся, приложил руку к виску, одновременно совсем не по-военному поправив кудрявый чуб, и отрапортовал, слегка заикаясь от смеха:

— Товарищ начальник штаба! Мы арестовали подозрительную гражданку, которая ходила по улицам в запрещенное время!.. Предполагаем, что она вражеский шпион… Следует выяснить ее личность…

Тут он не выдержал и расхохотался.

— Вольно! — сказал Венецкий серьезным тоном, без улыбки. — Штаб займется выяснением личности этой гражданки. Можете идти — там по улицам еще шпионы ходят!

Патрульные неохотно удалились. Клавдия Ивановна наблюдала всю эту комедию, вытаращив глаза.

— Что это за глупости такие? — возмущенно заговорила она, как толшько за усердными часовыми закрылась дверь. — Эти мальчишки людям проходу не дают! Скажите, пожалуйста — «шпиона арестовали»… Это же Леночка из райзо, я ее прекрасно знаю!.. И вы тоже хороши, Николай Сергеич! Какой же вы начальник штаба?

Николай Сергеевич пожал плечами.

— Я такой же начальник штаба, как ваша знакомая — шпион… Если придумали военную игру — приходиться играть… А мальчишки обрадовались, что власть в руки попала — хоть игрушечная, да власть. Куда вы шли? — обратился он к Лене. — Сегодня же нельзя ходить по улицам!

Лена объяснила все обстоятельства дела.

— Хорошо! Личность ваша установлена! Товарищ Сомова подтверждает, что вы действительно «Леночка из райзо»…

— Соловьева Елена Михайловна! — поправила Сомова.

— Соловьева Елена Михайловна! — повторил Венецкий. — Но придется вам остаться у нас, пока не закончилась война районного масштаба, а то эти лаботрясы так разыгрались, что опять вас задержат, если пойдете домой… Вот, надевайте! — он протял ей повязку с красным крестом. — Теперь вы будете не шпион, а медсестра.

Лене пришлось покориться.

А лаботрясы в самом деле разыгрались не на шутку: не прошло и получаса, как дверь с грохотом распахнулась и в контору снова ввалился неугомонный Виктор; на этот раз он вместе с электромонтером Васей тащил на строительных носилках Володю, лежавшего в самой нелепой позе, свесив голову и ноги в разные стороны и ухватившись руками за борта носилок.

— Где перевязочный пункт? Принимайте раненого!

Испачканные кирпичом носилки были взгромождены на письменный стол так стремительно, что мнимый раненый не выдержал:

— Да осторожнее, ребята! Вы и здоровому все бока отбьете!.. А попадись вам настоящий раненый, вы его живо угробите!..

— Лежи смирно! Ты без сознания! — командовал Виктор. — Медсестры! Перевязывайте!

Клавдия Ивановна нерешительно подошла к столу, вертя в руках бинт.

— Что перевязывать-то? Куда он ранен? — спросила она сквозь зубы.

— У него семнадцать онестрельных ран… Нет, осколочных…

У него пробит череп, сломано пять ребер, оторваны обе ноги…

— Обе ноги и одна голова! — в тон подхватил Венецкий. — Он погиб на поле брани, и нести его надо не на перевязку, а на кладбище: на такого заведомого мертвеца и бинтов тратить не стоит!..

Виктор немного смутился.

— Да нет, он живой! — запротестовал он. — Ну, я через край хватил… Пусть у него будет не семнадцать ран, а, скажем, три: одна на голове, другая на ноге, а третья… ну пуская где-нибудь в середке… Перевязывайте!

Он не отстал, пока Володю не обкрутили бинтами во всех направлениях, израсходовав, к большому огорчению Клавдии Ивановны, целый пакет.

— Такие хорошие бинты… их так трудно достать… в аптеке и по рецепту не достанешь… а тут приходится тратить на всякую глупость!.. — ворчала она.

— Внимание, внимание! — вдруг заговорил черный круг репродуктора. — Воздушная тревога!.. Вражеские самолеты над территорией льнозавода!.. Они сбрасывают парашютистов!.. Всем дежурным немедленно идти на поиски десантников!.. Пусти — ну тебя!

Последние слова расслышали только сидевшие под самым репродуктором Клавдия Ивановна и Лена, и обе дружно расхохотались.

Виктор метнулся к двери.

— Живо!.. На улицу!.. Ловить десантников!.. Васька! Володька!

— Витя, я же раненый! — подал голос перебинтованный Володя.

— Лодырь ты, а не раненый!.. Поспать захотелось? А ну долой бинты!.. Сорванные бинты полетели на пол. Клавдия Ивановна поспешно подобрала их, аккуратно свернула и сунула в карман. Молодежь исчезла за дверью.

— Сейчас десантников приволокут! — смеясь, проговорил Николай Сергеевич и тоже направился к дверям. — Пойду посмотрю, что у них на улице делается…

Но не успел он выйти из-под лесов новостройки, как на него в темноте набросились несколько человек и повалили на землю.

— Лови десантника!.. Держи!.. Вяжи ему руки! — кричал на всю улицу не в меру расшалившийся Витька.

— Да ты с ума сошел! Это же Николай Сергеевич! — воскликнул Володя. Виктор смущенно отступил: арестовать «начальника штаба», которому он только что рапортовал о своих подвигах, даже у него не хватило нахальства.

Венецкий встал и молча пошел назад в контору. При падении он напоролся ладонью на гвоздь, торчавший из какой-то доски.

— Не успел выйти, как попал в десантники и получил рану, причем настоящую, — проговорил он, входя в контору. — Клавдия Ивановна! Окажите помощь пострадавшему!

Но Клавдии Ивановны не было: она и все остальные пошли посмотреть тревогу в соседнее неосвещенное помещение, выходившее окнами на улицу. В конторе оставалась одна Лена, которой и пришлось оказывать помощь; она промыла маленькую ранку от гвоздя, помазала йодом и начала перевязывать.

В эту минуту в дверь вбежала красивая и нарядная молодая женщина.

— Коля! Неужели так трудно было зайти домой? — раздраженно начала она, и вдруг остановилась, увидев Лену, которая завязывала бинт на руке Венецкого.

— Теперь мне все понятно! — воскликнула она трагическим тоном. — Значит, под предлогом этих дурацких воздушных тревог у тебя тут назначено свидание с этой…

— Валя, перстань! — крикнул Венецкий, желая предупредить или хотя бы заглушить тот град оскорбительных слов, который, как он хорошо знал, уже готов был посыпаться с языка его ревнивой жены на голову ни в чем неповинной Лены.

Но было уже поздно.

— Я все видела, я все видела! — визгливым голосом закричала Валентина Федоровна, подскакивая к Лене с кулаками. — Ты, паршивая сволочь, женатому человеку свиданье назначила!.. Я все знаю!.. Все вижу, все!.. Вы тут, в темноте, целуетесь, думаете — жена не видит!.. Я всему городу расскажу!.. — Она захлебывалась от злости. — Я тебе, гадюка, морду набью!.. Мерзавка!..

Лена стояла ошеломленная и не могла произнести ни слова, так неожиданно и нелепо было это нападение.

— Дура ты, дура! — раздался в дверях спокойный голос Клавдии Ивановны. — Бегаешь за мужем хвостом, ревнуешь как кошка, так что все люди над тобой смеются… А если бы я, старуха, тут была с твоим Сергеичем — ты его бы и ко мне приревновала?… Иди домой спать и не смеши людей!

Валентина сразу сникла.

— Как же я домой пойду? Там не пропускают. — пробормотала она невнятным голосом, совсем непохожим на недавние крики.

— Сюда придти сумела, а назад — боишься, что не пропустят? Ну, идем ко мне — я-то рядом живу… — И она увела Валентину.

Николай и Лена остались вдвоем.

Лена давно знала Венецкого в лицо и по фамилии, так часто он бывал в райисполкоме, а райзо, где она работала, помещалось в том же здании, но разговаривать ей с ним сегодня пришлось в первый раз; мысль о каком-нибудь романе с ним ей никогда и в голову не приходила, и только теперь, после глупой выходки ревнивой жены, она посмотрела на льнокомбинатского инженера более внимательно, как бы желая уяснить самой себе — а могло ли быть какое-нибудь основание для такой ревности?

Да, он действительно был хорошо собой и — теоретически в него влюбиться, пожалуй, можно было (практически — для себя лично, она этой возможности не допускала).

И еще Лена подумала, что Валентина Федоровна своей глупой и злобной ревностью вряд ли завоюет любовь мужа, скорее наоборот, оттолкнет его от себя…

Николай, по-прежнему стоявший около стола, поднял на Лену глаза и тихо сказал, виновато улыбнувшись:

— Елена Михайловна! Не сердитесь на нее! Пожалуйста!.. Она очень ревнива, а я сам виноват: я сегодня после конца работы не пошел домой… Она меня ждала, ждала… потом прибежала сюда и вообразила неведомо что…

Он не пошел домой именно потому, что хотел уклониться от очередных объяснений с женой, но жена явилась сама, да еще устроила такой глупый скандал!..

Лена молча улыбнулась и кивнула головой в знак того, что она не будет сердиться; а Николай смотрел на новую знакомую и невольно сравнивал ее со своей женой: Валя, безусловно, была красивее, ярче, эффектнее этой «Леночки из райзо», она умела одеваться, умела подчеркивать свою красоту, умела казаться лучше, чем на самом деле, особенно с первого взгляда…

А Лена была незаметной и неяркой, к ней надо было приглядеться, чтоб увидеть, что она хороша, даже очень хороша, с лучистыми серыми глазами, с пышной темно-русой косой… Хотя лицо ее было далеко от классической красоты, но именно такое, оно было особенно милым и симпатичным.

И Венецкий невольно подумал, что, если бы на месте его жены была бы эта почти незнакомая девушка, она никогда не позволила бы себе тех нелепых сцен, которыми отравляла его жизнь Валентина Федоровна.

* * *

С восходом солнца начались одна за другой воздушные

тревоги. В кустах между Ясной и полотном железной дороги был разыгран настоящий бой: одни изображали врага и нападали на город, другие его защищали.

Войска были вооружены палками, сделанными в столярной мастерской в форме винтовок, только былыми: их не покрасили, потому что краска не успела бы высохнуть к началу военных действий. Володя Белкин притащил еще более грозное оружие: самодельный пулемет, который стрелять не умел, но зато трещал оглушительнее настоящего.

На санитарных постах, кроме «условных» раненых, побывало немало настоящих пострадавших с ушибами и ссадинами.

В семь-восемь часов утра началась новая работа: на всех дорогах, ведущих в районный центр, останавливали и поворачивали обратно колхозников, ехавших на базар.

Потом начали на улицах и около магазинов задерживать домохозяек и детей и загонять их в первые попавшиеся свои и чужие дома.

Больше всех распоряжался и командовал во всей этой кутерьме тот же неугомонный Виктор, хотя его никто не назначал командиром, но так само собой получилось.

Витька Щеминский был с детских лет своего рода районнной знаменитостью: не было в Липне, кажется, ни одного сада, где бы он не крал яблок; не бывало в школе ни одной шалости, ни одной проделки без его активного участия.

Способности у него были прекрасные, память исключительная, но и лень тоже исключительная. Он никогда не готовил уроков и три раза оставался на второй год, но стоило ему чем-нибудь всерьез заинтересоваться, и он мог по этому предмету ответить лучше всех.

Учителям он доставлял немало мучений. Несколько раз его хотели исключить их школы за хулиганство, но в таких случаях он говорил: «Я больше не буду!», сопровождая эти слова неотразимой, притворно-застенчивой улыбкой и — обезоруживал педагогов.

А на следующий день он опять принимался за прежнее. Наконец, с трудом и скандалами школа у него осталась позади.

Витька был способен и талантлив во всех отношениях, но феноменальная лень была в нем сильнее всех талантов.

Он хорошо пел, играл по слуху на всех музыкальных инструментах, какие подворачивались под руку, хорошо рисовал, изумительно схватывая сходство, но как только дело доходило до изучения нот, или правил перспективы, — и музыка, и живопись теряли для него всякий интерес.

Будучи еще в восьмом классе, он свел знакомство с

вернувшимся из заключения вором Костей Петушенковым по прозвищу «Кот». Вместе они шныряли по базару, обчищали карманы пьяных и, наконец, обокрали магазин «Многолавку» на Советской улице.

Друзей судили. Кота отправили обратно в то место, которое он называл «дом родной» и «хата мамина», а Витьку по молодости лет помиловали, поверив ему на слово, что он «больше не будет».

Окончив с грехом пополам школу, Виктор Щеминский пробовал работать в разных местах, но нигде не мог удержаться дольше одного-двух месяцев: либо его увольняли за прогулы и разные выходки, либо он увольнялся сам, потому что работа ему надоедала.

И он снова садился на иждевение своей матери, Антонины Петровны, которая работала баньщицей, и одновременно торговала и спекулировала всем, чем придется.

Пробовала Щеминчиха посылать своего ненаглядного сыночка в Москву за дефицитными товарами. — Иногда он доставал очень много и ловко, а другие разы неизвестно куда растрачивал деньги и приезжал в Липню зайцем, с пустыми руками.

Взяли Витьку в армию. Многие, в том числе и мать, надеялись, что там-то его научат уму-разуму, но он попал в запевалы, и в этой незаменимой должности ему прощалось многое такое, что никогда не простили бы другому.

Демобилизовавшись, он опять несколько месяцев болтался без дела, пока с помощью Маруси Маковой не устроился в Дом Культуры баянистом и художником.

На этой работе, которая льстила его самолюбию, он задержался.

* * *

Беспокойный выходной день перевалил за полдень. Около двух часов дня было, наконец, объявлено по радио, что военная игра закончена.

Председатель райисполкома Иван Константинович Куликов, уставший, но довольный проведенным днем, зашел в свой кабинет и позвонил по телефону в Днепровск.

Узнав в трубке голос одного из областных партийных руководителей, он сообщил бодрым тоном:

— Докладываю, что в Липне военная игра проведена на высоком уровне! Население показало прекрасную дисциплину; во время воздушных тревог…

— Вы что, с ума сошли? — тихо проговорила телефонная трубка, но в звуке этого тихого голоса было что-то такое, что, несмотря на жаркий день, Куликова мороз продрал по коже. — Какая еще у вас «игра»? Война началась!..

— Что? Что вы сказали?

— Ничего!.. Война началась!

— Какая война?… С кем?

— Да что вы дурака валяете? Не знаете, что ли?… Немцы перешли границу!.. Где вы были в двенадцать часов, когда Молотов говорил?

Трубка зашипела и звякнула; Куликов растерянно положил ее на стол.

— … Молотов говорил?… В двенадцать часов?….

Он силился вспомнить, что в это время было, почему он не слышал того, что слышала вся страна?… …

… Да, верно, в двенадцать часов дня Липнинский радиоузел был отключен от центральных радиостанций…

Когда по всему Советскому Союзу передавалась речь Молотова о том, что немецкие войска перешли границу и бомбили Киев и Житомир, — в это самое время в разгар военной игры из всех репродукторов Липни увлеченно звенел голос Маруси Маковой:

— Враг в Моховском сельсовете!

— Враг занял Завьяловский сельсовет!..

— Враг подходит со стороны Молотиловского сельсовета!

— Враг приближается к Липне!..

А в этот самый час настоящий, не «условный», не игрушечный враг уже шел по советской земле.

Через один только месяц этот враг пройдет победным наступлением по Моховскому, Завьяловскому, Молотиловскому и прочим сельсоветам, с огнем и смертью войдет в тихую Липню, и придется ей, незаметной и маленькой, до самого дна испить горькую чашу всех бед и несчастий, которые обрушивает война на головы людей, именуемых «гражданским населением», если эти люди оказываются у ней на дороге.

* * *

Глава 3
Тучи грозовые

— Ты должен сегодня же ехать в Днепровск хлопотать, чтоб тебе дали бронь! — твердила мужу Валентина Федоровна Венецкая. — Ты имеешь на это все права: ты главный инженер, заместитель начальника строительства…

— Врид заместителя! — хмуро поправил Николай Сргеевич.

— Уже два года, как ты «врид»!..Какое противное слово!

— Согласен, что противное, но ничего не поделаешь!

— Во всем виновата твоя бесхарактерность! Ты до сих пор не сумел добиться, чтобы тебя назначили постоянным заместителем!

— Я не добивался, и не собираюсь добиваться! Мне это заместительство надоело хуже горькой редьки…

— Ты прекрасно справляешься с этой работой! — авторитетно заявила жена. — А теперь началась война — нового человека не пришлют; тебе надо хлопотать о том, чтобы получить бронь…. Ведь не могу же я это сделать за тебя!

— Кажется, тебя об этом никто не просит!

Валентина с отчаянием всплеснула руками.

— Невозможный человек! Ты палец о палец не хочешь ударить, чтобы обеспечить себя от призыва!.. Дождешься, что тебе пришлют повестку!

— Пускай присылают! — отозвался Венецкий, перебирая листки первой попавшейся, давно им прочитанной книги и желая всей душой, чтобы жена оставила его в покое; но она не унималась.

— Как «пусть присылают»? Что же ты тогда будешь делать?

— Что буду делать? Пойду на фронт, как все люди; я же не калека…

— Не калека, так хочешь стать калекой! А я должна буду тогда с тобой всю жизнь мучаться?!.. Ты эгоист!.. Самый настоящий эгоист!..Ведь у нас есть ребенок — ты о нем должен подумать!.. Что я буду делать одна с ребенком, если тебя мобилизуют?

— У других женщин тоже есть дети — что же они будут делать, если их мужей уже мобилизовали?

Он подчеркнул слово «уже».

Валентина заплакала злыми слезами.

— Ты эгоист, дурак, бессердечный человек! — повторяла она, захлебываясь и сжимая кулаки. — Ты можешь получить бронь! Можешь!.. Ты нарочно хочешь нас бросить!.. Меня ты не любишь,

это я давно знаю… Но Миша!.. Ты обязан о нем позаботиться!

Она ждала, что муж начет ее утешать и уговаривать, как не раз бывало раньше; но он не сделал этого, а только внимательно посмотрел на нее, молча встал и направился к двери.

— Николай, куда ты?

Он не ответил, вышел на улицу и крупными шагами пошел по направлению к месту своей работы, хотя рабочий день давно кончился и ему там решительно нечего было делать. Он просто хотел уйти подальше от семейных дрязг.

Шесть лет тому назад, будучи на последнем курсе столичного института, Николай Венецкий женился на красивой, изящной девушке, студентке первого курса.

Обоим казалось тогда, что они любят друг друга и будут любить вечно; но увлеченье скоро начало остывать, сталкиваясь с неприятными мелочами жизни, и оказалось, что в их любви не хватает самого главного фундамента: общих интересов и взаимного понимания.

Первая крупная размолвка произошла из-за того, что Николай, окончив курс, согласился поехать на работу в Сибирь. Валя доказывала, что он, как один из лучших учеников, должен добиваться работы в Москве, да и отец его, занимавший крупный пост в приволжском городе Сабурове, мог бы похлопотать за сына… Но все ее доказательства не подействовали: Венецкий поехал в город Белоярск; жена с ворчанием, слезами и жалобами бросила ученье и последовала за ним.

На новом месте ей все не нравилось, все было не так, и семейные ссоры следовали одна за другой.

Рождение сына улучшило их отношения, но ненадолго. К тому же Валентина, чувствуя охлаждение мужа, решила, что тут виноваты другие женщины, и начала его ревновать ко всем, кто попадется на глаза, большей частью без всякого основания. Этим она окончательно оттолкнула его от себя.

Наконец, из-за каких-то пустяков произошла крупная ссора (с чего все началось, ни он, ни она впоследствии никак не могли вспомнить); и Валя уехала в Москву, забрав с собой маленького Мишу.

Прошел год. За это время Венецкий из сибирского города Белоярска переехал на противоположный конец Советского Союза, в город Липню Днепровской области. Почему он забрался в это захолустье, никто не знал, удивлялась этому и Валентина, когда ей вдруг вздумалось вернуться к своему супругу.

Злые языки говорили, что она в Москве сходилась с каким-то новым мужем, который бил ее смертным боем; некоторые уверяли, что этих мосвовских мужей было не то два, не то три.

Она сама с возмущением говорила, что все это ложь и грязные сплетни, что просто ей отказали продлить прописку.

Николай Сергеевич никогда ее об этом не спрашивал; он очень любил Мишу и был рад, что мальчик снова с ним вместе.

Если бы Валентина была более наблюдательной, она увидела бы, что Николай за время их разлуки очень изменился, стал замкнутым, нераговорчивым, что на его лбу залегла резкая складка, а в темных волосах уже кое-где проблескивают серебристые ниточки ранней седины; но она наблюдательностью не отличалась и ничего не заметила.

Первое время после приезда в Липню Валентина Федоровна была очень добра, покладиста и ласкова, но потом опять начались сцены; она следила за каждым шагом мужа, терзалась ревностью, если он разговаривал с женщинами, ворчала, что он не умеет жить, что его бывшие товарищи работают в больших городах и вдвое больше получают, а он сидит в этом медвежьем углу на грошевой зарплате; нередко она пилила мужа целыми днями, не понимая, что каждый супружеский «теплый разговор» только расширяет между ними пропасть.

А Николаю часто хотелось удрать на край света от своего семейного счастья, и только привязанность к сыну удерживала его от окончательного разрыва с женой.

Когда она начала приставать к нему с хлопотами о броне, у него мелькнула мысль пойти в военкомат самому, не ожидая повестки, и записаться добровольцем, чтоб скорее разрубить запутавшийся узел семейных отношений.

Но этого делать не пришлось.

Повестка пришла на следующее утро. Весь день Венецкий спешно сдавал дела, а еще через день он уже стоял, обстриженный под машинку, «с кружкой и ложкой» на станции у эшелона, отправлявшегося на фронт.

— Здравствуйте, товарищ начальник штаба! — приветствовал его Витька Щеминский. — Тоже с нами едете?

— С вами, с вами! — отвечал Венецкий, пожимая руки целой компании знакомых молодых ребят, в числе которых, кроме Виктора, были Андрей Новиков и Володя Белкин; все были коротко острижены, с загорелыми лицами и белыми головами.

— … Наша Липня начало войны проиграла в войну, значит, липинцы должны воевать лучше всех! — ораторствовал Витька, пытаясь шутками заглушить досаду, вызванную потерей великолепного чуба — предмета зависти всех его товарищей.

Рядом с ним стояли: его мать, еще не старая женщина, очень похожая на сына, сестра-подросток и хорошенькая Зиночка Тимченкова, смотревшая на него большими влюбленными

глазами, полными слез.

— Витя, а вдруг ты не вернешься? — тихо говорила она.

— Я-то? Я в огне не горю, и в воде не тону! — хохотал Витька на весь вокзал.

К Венецкому подошел Шмелев.

— В добрый час, голубчик! — проговорил он, крепко пожимая руку своего уже бывшего заместителя. — Пришлось, все-таки, с тобой расстаться… Трудно мне будет без тебя, но что же делать?

— Всего вам хорошего, Александр Федорович!

— Возвращайся здоровым и невредимым! Это главное!.. И задайте немцам жару, чтоб не совались, куда не просят!..

Последние слова Шмелев произнес не совсем уверенно: немцы уже заняли почти всю Белоруссию; через Липню непрерывным потоком двигались беженцы — спрева эшелоны, затем машины, а накануне показались обозы на лошадях и, наконец, просто пешие, убегавшие от врага вглубь страны, бросив все свое имущество. Газеты и радиопередачи были переполнены рассказами о жестокости немцев и об издевательствах над мирным населением; русские войска отступали и отступали, и у всех, кто говорил бодрые слова, на сердце было неспокойно.

Валентина Федоровна плакала и опять упрекнула и своего мужа, и Шмелева за то, что они не сумели достать бронь…

Николай держал на руках сына и говорил со всеми: с мальчиком, со Шмелевым, с другими знакомыми и незнакомыми людьми, со всеми, кроме жены… Он был единственным, вероятно, в толпе отъезжающих и провожающих, кто с нетерпением ожидал отправления поезда.

Андрея Новикова провожали мать и маленький брат; мать все время ему что-то толковала, но он слушал ее напутствия очень рассеянно и все время с тоской и надеждой поглядывал то на дверь вокзала, то на дорогу, ведущую с платформы прямо в город…

Паровоз загудел и несколько раз двинул взад и вперед ряд красных товарных вагонов. Все бросились к поезду.

Венецкий, поцеловав Мишу, передал его жене и вскочил в вагон одним из первых, за ним последовали Виктор, Володя и другие.

Андрей прыгнул на подножку вагона последним и повис, держась рукой за дверь и продолжая вглядываться вдаль.

Вдруг его глаза вспыхнули радостью, он спрыгнул вниз и стремительно бросился навстречу стройной женской фигурке в светлом платье.

— Маруся! Все-таки пришла…

— Еле вырвалась с работы… хотела на моего дурака еще раз

посмотреть… — проговорила запыхавшаяся от бега Маруся.

Андрей крепко обнял ее и поцеловал; она наспех ответила на этот поцелуй и сдернула с его головы пилотку.

— Оболванили!.. Ну и чудной же ты стриженный!.. Как галченок!.. Андрей отступил. Его губы по-детски обиженно дрогнули; Маруся это заметила.

— Уже обиделся? Смеху не понимаешь!.. Будто не знаешь, что я всегда шучу… Ты и в самом деле с волосами гораздо лучше был…

Андрей хотел что-то сказать, но в эту минуту поезд тронулся, и он еле успел вскочить на ходу.

— Прощай, Маруся! До свидания! Пиши! — кричал он, махая пилоткой.

Ему хотелось крикнуть, что он ее любит больше всех на свете, и будет любить вечно… но кругом было столько народу… А главное — Маруся могла опять ответить какой-нибудь насмешкой…

А поезд набирал скорость, скрипел на ходу буферами старых, потрепанных вагонов, и уже увозил Андрея вместе с его недосказанным словом любви — навстречу войне и смерти…

Он стоял около широко раскрытой двери вагона, рядом с Венецким и Белкиным; Виктор Щеминский сзади обнял их всез троих на плечи и затянул «Если завтра война». Песню подхватил весь вагон.

Мимо них проплыл приземистый вокзал с надписью «Липня», потом водокачка, багажный склад, ларек. Толпа провожающих слилась в одно пестрое пятно.

Поезд шел все скорее и скорее; замелькали серенькие домики с цветущими картофельными огородами, кирпичный завод, МТС…. Затем потянулись засеянные поля, луга, частью скошенные, частью бело-лиловые от ромашек и колокольчиков… Деревня на пригорке, другая — в лощине… и от горизонта начал надвигаться дремучий старый лес, где водились волки, медведи и лоси… лес, носивший название «Вороний Мох»…

… «Если завтра война, всколыхнется страна, От Кронштадта до Владивостока…»

Пел весь вагон; в общем хоре выделялись два голоса: высокий, заливистый тенор Виктора и звучный, бархатный баритон Венецкого; песня ширилась, подпевали соседние вагоны, аккомпанировал стук колес…

… «Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко…»

Недоезжая леса был переезд и маленькая будка; поезд замедлил ход.

По дороге с горы спустилась к переезду стройная девушка в синем ситцевом платье и белом платочке и остановилась у шлагбаума, пережидая поезд; вагоны один за другим проходили мимо нее.

Венецкий вдруг узнал ее: это была «Леночка из райзо», та самая, которую приводили к нему часовые на игрушечной войне, к которой его приревновала Валя…

Он сорвал с головы непривычную пилотку и махнул несколько раз; другие тоже махали, и Лена в ответ махнула рукой, и Николаю очень хотелось, чтоб это прощальное приветствие было послано именно по его адресу, но он знал, что это маловероятно: гораздо правдоподобнее было считать, что оно относилось к кому-то другому в поезде, или ко всем вместе, а его лично она даже вряд ли узнала…

* * *

Кончился памятный июнь 1941-го года. Наступил июль. Стояло жаркое, но не засушливое лето; хлеба на полях поднялись стеной, ожидался огромный урожай, такой урожай, какого в малоплодородном Липнинском районе самые старые старики не помнили.

Но теперь об урожае почти никто не думал.

В деревне и в городе люди работали, но работали по инерции, потому что не было еще ничего такого, что остановило бы привычную работу, но каждый уже чувствовал, что работает он впустую…

Война с каждым днем подступала все ближе и ближе; нескольким сокрушительным бомбардировкам подвергся областной город Днепровск.

Однажды какой-то немецкий самолет, по-видимому, заблудился и залетел в Липню, в которой отродясь не было никаких военных объектов.

Он минут десять кружил над городом, строчил из пулемета по крышам и сбросил одну небольшую бомбу. Пулеметной очередью убило поросенка, а бомба поломала амбар и разворотила картошку на двух смежных огородах.

В общем, потери были небольшие, но страху с непривычки натерпелись липинцы немало…

* * *

Во дворе райисполкома все служащие, вооружась лопатами, копали траншеи, которые почему-то назывались «щелями»; согласно тоненькой брошюрке о правилах противовоздушной обороны, эти щели полагалось рыть зигзагами.

И зигзаги заняли половину двора, огород уборщицы Степановны и заехали в неогороженный сад соседнего так называемого «Ольховского» дома, где до революции жил помещик Ольховский, а теперь размещались почта, телеграф, телефонная станция и радиоузел.

Около самой стены Ольховского дома копала Маруся, рядом с ней оказалась Лена Соловьева.

Маруся работала торопливо, с ожесточением нажимая на борт лопаты подошвой туфельки с высоким каблуком. Лена копала спокойно, даже как будто медленно, но ее работа продвигалась быстрее Марусиной.

— Как я их ненавижу! — сказала Маруся, с сердцем отбрасывая очередную порцию глины. — Фашисты проклятые!.. Вот так бы и убила фашиста своими руками, если бы подвернулся!..

Лена промолчала.

— Слушай, Лена, как ты можешь так?.. Минск эти мерзавцы взяли, Бобруйск взяли, того и гляди к нам пожалуют!.. А ты спокойна, хоть бы что!..

— Тем, что я стану беспокоиться, я все равно немцев не остановлю… — большая лопаты глины аккуратно легла на край траншеи.

— Не беспокоиться надо, а действовать! — перебила Маруся. — В армию надо идти!..

— Чего же ты не идешь в армию?

— Да я ходила в военкомат, а там толку не добьешься: я хочу в связисты, а меня на курсы медсестер посылают… а мне медицина хуже горькой редьки…

Некоторое время они копали молча; потом Маруся опять заговорила.

— Я бы так хотела на фронт!.. Знаешь, мне кажется, если бы сказать нашим солдатам (она мечтательно улыбнулась), они бы перестали отступать, ринулись бы вперед на немцев и разбили бы их вдребезги….

Лена засмеялась.

— Значит, если ты скажешь солдатам ринуться — они тебя сразу послушают и разобьют немцев?.. А я и не знала, что у нас в Липне имеется такая Жанна д'Арк!

— А почему нет? Жанна д'Арк была простая крестьянка, а стала во главе армии…

— Ну, что же, попробуй!.. К тому же ты можешь с ними говорить по радио, а у Жанны такой возможности не было.

— У тебя, Ленка, не поймешь, когда ты всерьез говоришь, а когда смеешься! — с досадой проговорила Маруся; она забыла, что сама была первой насмешницей.

Снова последовало молчание. Обе подруги усердно копали землю.

— Лена, пойди сюда, посмотри! — вдруг позвала Маруся.

Лена с трудом протиснулась мимо нее в узкой траншее и посмотрела: оказалось, что Маруся, копавшая у самой стены Ольховского дома, углубилась ниже фундамента; потом, из-за своего всегдашнего любопытства, она выгребла из-под этого фундамента землю, и ее лопата неожиданно прошла насквозь в пустоту.

— Как ты думаешь, что там такое?

— Вероятно, подвал… Только почему он ниже фундамента? Странно…

— Давай посмотрим!

И Маруся принялась энергично расширять лопатой отверстие, а когда оно оказалось достаточно большим, полезла исследовать; Лена немного подумала и тоже полезла.

Все остальные в это время копали зигзагообразную траншею на противоположной стороне двора и ничего не видали.

Вскоре исследовательницы вылезли обратно: ничего интересного не оказалось, это был самый обыкновенный подвал, низкий, сырой и темный, а в том месте, где снаружи в стену уперлась траншея, с внутренней стороны у самой стены была вырыта яма для хранения овощей; на дне ее были остатки гнилой картошки.

— А знаешь, — сказала Лена, обчищая юбку от земли. — По-моему, от бомбежек гораздо лучше можно спрятаться в таком подвале, чем в этих канавах.

— В подвале прятаться нельзя! — авторитетным тоном возразила Маруся. — В случае прямого попадания может засыпать!..

— Это в инструкции так написано? А в этом зигзаге что от тебя останется в случае прямого попадания?

Маруся на минуту задумалась, внимательно оглядела «зигзаг», потом лихо тряхнула своими темными кудрями с шестимесячной завивкой и ответила:

— А, вероятно, останутся рожки да ножки, как от бабушкиного козлика.

— Вы кончили? — спросил сверху чей-то голос.

— Сейчас кончим! — откликнулась Маруся и начала

поспешно заделывать глиной лазейку под фундаментом и уничтожать следы своих исследований.

* * *

Дня через три после этих земляных работ, Лена пришла утром на работу и поднялась на второй этаж райисполкомовского дома. Но в помещение райзо, находившееся в конце коридора, она пробралась с большим трудом: коридор был набит битком, толпа осаждала двери Куликовского кабинета.

Женщины, многие из которых привели с собой детей, старики (последние большей частью евреи), требовали предоставить им транспорт для эвакуации.

— Товарищи, не устраивайте паники! — кричал Куликов, стараясь покрыть общий шум. — Машин у нас нет: все машины мобилизованы под военные перевозки!..

Шум усилился.

— Что же нам делать? Пропадать, что ли, с малыми ребятами? — послышались плачущие женские голоса. — Пусть лошадей дают, если нет машин!.. Немцы уже к Днепровску подходят!.. Беженцы оттуда идут… говорят, Днепровск весь разбомбили…

— Товарищ Куликов, нам никак нельзя оставаться! — доказывал мужской голос с сильным еврейским акцентом. — Мы — евреи, а немцы евреев убивают…

— Вы обязаны мне предоставить транспорт! — выделялся из общего крика высокий резкий женский голос, показавшийся Лене знакомым. — Мой муж на фронте, у меня ребенок…

— Вы-то еще почему ко мне явились? — огрызнулся Куликов. — Идите к Шмелеву — у него свой транспорт…

«Ах, это та ревнивая жена…» — вспомнила Лена, узнав по голосу Валентину Венецкую.

Дверь Куликовского кабинета хлопнула; он заперся на ключ.

Крик в коридоре стал еще сильнее.

— Давайте машины!.. Лошадей давайте!.. — слышались голоса. — Уже из Мглинки беженцы поехали — там немцы подходят!.. Что нам делать?… Всех немцы перебьют!.. Не пешком же бежать с малыми детями?!.. Мой муж у вас работал… Мужья на фронт пошли, а нас с детьми немцу оставляют!.. Сами-то начальники уедут, а до нас, до рабочих, им дела нет!.. Они себе машины берегут!..

Тут злосчастный председатель райисполкома не выдержал, распахнул дверь и выскочил в коридор

— Уходите все отсюда! — закричал он срывающимся голосом. — Никаких немцев в Липне никогда не будет!.. Слышите?! Никогда!.. А кто распускает панические слухи, того я отправлю в трибунал!..

Лена отошла от коридорной двери в комнате райзо и подошла к окну; с высоты второго этажа был очень хорошо виден двор соседнего дома, где жил Куликов.

На этом дворе стоял трехтонный грузовик, выше кабинки нагруженный домашними вещами; жена Куликова вскидывала на машину еще и еще какие-то узлы, о чем-то спорила с шофером; потом она села в кабинку, держа на коленях большую сумку, а сын ее, пятнадцатилетний долговязый парень, влез на самый верх и лег ничком на вещи, держась обеими руками за веревки.

Машина тронулась, тяжело переваливаясь, развернулась прямо под окном, в которое глядела Лена, и выехала на улицу; между тюками, чемоданами и мебелью белела кора во все щелки напиханных, мелко нарубленных березовых дров, а выше всего трепетали по ветру широкие листья огромного фикуса.

Когда машина с семьей и имуществом председателя райисполкома скрылась из виду, Лена снова вышла в коридор.

Куликов уже не кричал и не шумел, в коридоре его не было; дверь в его кабинет была закрыта.

Все посетители столпились вокруг худощавой женщины средних лет, с тонким, уже увядшим лицом и добрами лучистыми глазами; на ее поношенной жакетке блестел орден — Знак почета. Она всех опрашивала и заносила в список.

Это была Евдокия Николаевна Козловская, директор средней школы и депутат Верховного Совета по Липнинскому избирательному округу.

— Обязательно всех отправим, — слышался ее негромкий, но уверенный голос. — Никто не останется здесь, если придут немцы. В первую очередь эвакуируем тех, кто с маленькими детьми. Первый эшелон я постараюсь организовать завтра утром; на станции мне обещали дать вагоны…

Дверь председательского кабинета распахнулась и Куликов показался на пороге.

— Евдокия Николаевна! Сейчас же прекратите эту панику! — снова зашумел он. — Иначе я обращусь, куда следует: вы мне срываете работу, разлагаете труддисциплину!.. Уже есть случаи побегов с производства… Это возмутительно!.. Люди уезжают, бросают работу, хотя их не уволили!.. А если вы начнете эвакуировать детей, за ними побегут родители и некому будет работать!..

Козловская выпрямилась и посмотрела на него в упор.

— Я буду эвакуировать детей! — сказала она твердо. — Почему вы до сих пор не организуете эвакуацию предприятий? Хотите, чтоб все досталось немцам?

— А вы ждете немцев? Не дождетесь!.. Их сюда никто не пустит!..

— Если в Днепровск пустили, вполне могут и сюда пустить. — послышался голос подошедшего Шмелева. — Я сегодня ночью отправил все оборудование и механизмы, а стройматериалы передал воинской части…

— Кто вам разрешил? Вас судить надо за самовольство!.. В Днепровске нет никаких немцев!.. За такие разговоры!..

— В Днепровске — немцы! — уверенно сказал Шмелев. — И твоя жена, Иван Константинович, лучше тебя осведомлена: я ее на дороге встретил — едет на машине и везет все свое барахло; даже фикус прихватила…

Куликов вспыхнул, схватился за голову и поспешил скрыться в кабинете.

Вечером, в очередной сводке московское радио сообщило, что после ожесточенных боев наши войска оставили города: Днепровск, Родославль и Мглинку.

На очереди была Липня.

Глава 4
Перевал

Семнадцатого июля 1941-го года началась срочная эвакуация, вернее, бегство из города.

Магазины поспешно распродавали товары, которые до последнего дня ревниво хранились на базах и складах. Вдруг появилась возможность купить такие вещи и продукты, каких с самой финской войны нигде нельзя было достать.

Но все эти неожиданные блага уже никому не были нужны; никто не покупал ни одежды, ни продуктов; единственное, чего все искали по всему городу, за что платили все деньги, какие имели, был транспорт: лошади, телеги, велосипеды, даже тачки.

Страх охватил жителей маленького городка, и страх этот, как огонь от ветра, разгорался от рассказов о всевозможных немецких зверствах, которыми были переполнены газеты и радиопередачи. Паника, та самая паника, которую так ревностно преследовали люди, подобные Ивану Константиновичу Куликову, стала в тихой Липне полновластной хозяйкой.

Все документы райисполкома, райкома, райзо и других учреждений были погружены на машину. Грузившие их сотрудники смотрели на эту машину с завистью.

— Немедленно выезжайте в Марково, без задержки! — усаживаясь в кабину, напутствовал остающихся сослуживцев Куликов.

— Константинович! На чем же мы поедем? Пришлите за нами машину! — послышались голоса, но Константинович уже отъехал достаточно далеко, чтоб не слышать, или притвориться, что не слышит.

За эту неделю бесконечные проьбы, требования, вопли, жалобы, — и все на одну тему: об эвакуации — так его измучали, что он рад был удрать из Липни не только в Марково, а куда угодно: на край света, на северный полюс, к чертям на кулички, пожалй, даже к немцам!.. У него еще полные десять километров после выезда из Липни трещала голова и колотилось сердце.

Иван Константинович был неплохой человек, он всей душой рад был бы исполнить все эти просьбы, но разве у него была возможность?

До последнего дня он считал своим священным долгом, предотвращая панику, задерживать всех работающих на месте… А в последний день?… На чем же везти всю эту ораву?… И откуда только взялось в маленькой Липне столько народу?…

Сотрудники, грузившие машину, разошлись по домам, ругая Куликова и другое начальство.

* * *

Лена Соловьева на первом же углу отделилась от остальных и пошла домой тихим шагом, гораздо медленнее, чем она ходила обыкновенно.

Она снимала маленькую комнатку в доме двух стариков, мужа и жены Ложкиных. В Липне, где почти каждый житель имел свой собственный маленький домик, не было особенного квартирного кризиса.

Подойдя к дому, Лена увидела, что Титыч, Матвеевна и живущая по соседству их замужняя дочь Наталья хлопочут у ворот, около запряженной лошади, навьючивая на телегу всякое домашнее имущество. Между подушками и сундуком на телеге хрюкал поросенок, а рядом с ним сидели трехлетний сын и пятилетняя дочь Натальи; сзади была привязана корова.

— Леночка, чего же ты не собираешься? — бросилась навстречу квартирантке Матвеевна. — Все уезжают… Собирайся скорее!..

— А куда вы поедете?

— В Дубово, в Дубово… к Соболихе… Собирайся, собирайся скорее, едем с нами!..

Добродушная Матвеевна, очень любившая Лену, хотела уже помогать ей укладываться, но более практичный Титыч остановил жену:

— Куда, старуха?… Конь же не потянет, и так столько навалили, что по дороге скидывать придется… Конь-то ведь не машина!..

Эти слова сразу отбили у Лены всякое желание собираться: она видела, что ее вещам нет места на Ложкинском возу, как не было этого места вчера и позавчера на возах и машинах, на которых после споров и хлопот уехали некоторые ее знакомые. Каждый думал в первую очередь о самом себе и о своем собственном имуществе.

Она захлопнула открытую было крышку чемодана, села на стул и сложила руки на коленях.

— Никуда я не поеду! Надо было раньше отпустить с работы… А то дотянули до последнего дня… Никуда не пойду!

Говоря по правде, она и раьше не слишком энергично добивалась эвакуации: у ней был «недобойный» характер, она ничего не умела просить и требовать лично для себя; когда люди

за чем-нибудь лезли наперебой, она всегда сторонилась и уступала дорогу.

Все эти дни на ее глазах в здании райисполкома происходили скандалы и ссоры из-за транспорта; она наблюдала, как районное начальство, давно отправившее свои семьи в тыл, метало громы и молнии за «панику» на головы тех, кто просил отправить подальше от фронта их детей, и ей не хотелось и не умелось ввязываться в эту неразбериху.

Она устала за эти дни от волнений, бессонных ночных дежурств, от напряженной и, главное, бестолковой и никому уже не нужной работы. Она отдавала себе отчет, что для нее, с ее неумением хлопотать и добиваться, на сегодняший день возможен только один способ эвакуации — пешком.

Но куда идти? Ложкины, не знающие географии, едут в Дубово, на юго-запад, почти навстречу немцам; районные учреждения перевели свои конторы в Марково — тридцать километров от Липни прямо на восток (Лена прекрасно знала район) и туда, в это Марково, ей сегодня утром не слишком уверенным тоном предложили «как-нибудь добраться»…

Но что значат для вражеской армии тридцать километров, если за двадцать шесть дней ею уже пройдено более трехсот?… Завтра немцы будут в Липне, послезавтра — в Маркове… Стоит ли бежать, если все равно догонят, стоит ли бросать то немногое, что имеешь и с собой не унесешь, только для того, чтоб на несколько дней оттянуть неизбежное?…

А вслед за этими мыслями всплывали другие, неопределенные, смутные мысли и надежды о том, чего Лена никогда и никому не говорила, что было ее заветной тайной…

Телега с тяжелым скрипом сдвинулась с места и отъехала от крыльца, привязанная за рога корова нехотя потащилась следом; вся семья пошла пешком рядом с телегой.

Лена смотрела им вслед, пока они не скрылись за углом, и тогда она пошла обратно в пустой, брошенный хозяевами, чужой дом.

Молчавший с утра репродуктор, про который все забыли, вдруг зашипел, закашлялся и заговорил:

— Внимание, говорит Липня! — послышался срывающийся от волнения знакомый голос Маруси Маковой. — Внимание! Через час от станции отходит последний эшелон (она сделала резкое ударение на слове «последний»)… Матери с детьми должны немедленно явиться на вокзал для эвакуации… — радио поперхнулось и замолчало…

— Поздно спохватились! — усмехнулась Лена, вспомнив, каких нечеловеческих усилий стоило Евдокии Николаевне

Козловской отправить вчера и позавчера два подобных эшелона.

«Может быть, попробовать пойти и мне на вокзал? — пронеслось в голове у Лены, но эта мысль немедленно была вытеснена другой: «Нет, куда уж мне — я не «мать с детьми», меня Маруся не пригласила…. А кстати, сама-то Маруся, оказывается, еще в Липне… Успеет ли она уехать?…

Лена была участницей хора и драмкружка при Доме Культуры и хорошо знала Марусю; людей, более непохожих по характеру, трудно было подобрать, но, вероятно, именно потому, что крайности сходятся, они были почти дружны.

* * *

Издали донесся грохот, напоминавший не то отделенные раскаты грома, не то скрип тысячи немазанных телег по булыжной мостовой.

Лена пошла на свою маленькую полоску огорода, накопала молодой картошки, сварила ее на примусе, но съела только две штуки; потом она взялась было за книгу, но голова не воспринимала смысла читаемого; тогда она достала пар десять рваных чулок (две пары безусловно годились только в утильсырье), села к окну и принялась их тщательно штопать.

Иногда она выглядывала на улицу, но там было тихо и пусто, только бегала и тявкала чья-то, видимо, брошенная хозяевами, белая собачонка.

Под вечер неожиданно вернулся Титыч.

— Отправил своих дальше, а сам воротился, — заявил он. — Гляжу: в Мглинке горит, в Бахметьеве горит — ну, думаю, как бы и у нас не загорелось… А где тебе одной-то тушить?…

Лена молча пожала плечами.

— А и гляди, Михайловна, — продолжал старик. — Прошел я по соседям: Кузьмич дома, Фролова старуха тоже дома, Иголкины, значит, все остались, и с ребятишками… А мне что немцы могут сделать?.. Я с ними не воюю… Думаю так: уж раз ты, Михайловна, можно сказать, девка, и то осталась, что же тогда мне-то бояться?

Титыч храбрился, но в голосе его слышалось явное беспокойство.

Раскаты грома приближались.

По улице быстрым шагом, почти бегом, прошло человек десять красноармейцев с винтовками; двое из них забежали в дом.

— Дай воды попить, папаша! — услыхала Лена через стенку

голос в кухне.

Титыч сказал что-то невнятное, а затем снова донесся отчетливый голос солдата:

— Жмет, как черт!.. Удираем, удираем, а он все жмет… сами не знаем теперь, куда идти… часть свою потеряли… Жмет немец так, что только пух летит!..

Послышался стук хлопнувшей двери.

Темнело. Штопать уже было невозможно. Лена продолжала сидеть у окна.

Грохот приближался. Отдельные взрывы сливались в сплошной гул.

Вблизи послышался какой-то треск; Лена не сразу сообразила, что это пулеметная очередь — таким тихим и нестрашным показался этот звук; право же, у трещотки Володи Белкина голос был гораздо внушительнее…

По улице пробежало еще несколько человек в красноармейской форме.

— … И что из того, что ты помкомвзвод… я должен тебе подчиняться?!.. Иди ты к чертовой матери!.. — донесся визгливый голос.

… Что он хотел, этот помкомвзвод?.. Остановить их, что ли?… Или, наоборот, направить дальше?…

Совсем стемнело.

Солнце давно зашло, но небо на западе сегодня не хотело терять кроваво-красного цвета, напротив, зарево все расширялось, охватывая горизонт уже со всех сторон.

— Горит кругом, Михайловна, — сказал Титыч, входя в комнату квартирантки. — Кузьмич зовет в свой окоп, у него крепкий — пойдем-ка к нему, а то дуже близко стали бухать…

— Убить может и в окопе, — возразила Лена. — По-моему, лучше пусть меня на моей койке убивают: удобнее помирать будет…

— Ну как хочешь!.. Тогда сиди дома, а я к Кузьмичу пойду… А коли загориться что, беги, значит, ко мне, чтоб тушить…

— Ладно!

И Титыч ушел, очень довольный, что ему и в окоп Кузьмича можно спрятаться, и дом не останется без присмотра.

Лена слышала его шаги по шатким половицам, скрип и стук наружной двери… под аккомпанимент приглушенного, но неумолкающего грома орудий эти привычные звуки были слышны особенно отчетливо.

Оставшись снова одна, Лена обошла кругом дома, посмотрела на улицу, на соседние дворы; было темно и пусто; силуэты небольших деревянных домиков чернели на фоне

огромного зарева.

Она вернулась в комнату и, осуществляя свою теорию, что лучше умирать с комфортом на собственной кровати, чем в грязном, переполненном людьми окопе, — действительно легла на койку и накрылась одеялом.

Из приближавшегося грохота стали выделяться отдельные, особенно сильные, взрывы; земля вздрагивала…

— Ого!..

Удар грома потряс Ложкинский дом до основания, койка Лены закачалась, как верхняя полка в вагоне.

Еще один удар, другой, третий, десятый…

— Дзинь! — вдруг жалобно звыкнуло окно в комнате хозяев, и большой кусок стекла вывалился на пол и разбился… Не помогли крестообразные бумажные полоски, которыми Матвеевна самым старательным образом позаклеила все окошки…

Еще удар!..

— Дзинь! — вторично звякнуло стекло, на этот раз уже в комнате Лены, и слышно было, как оно упало на стол; от окна потянуло ночной прохладой…

Что-то там, на улице?

Лена встала, накинула на плечи теплый платок и вышла из дома.

Со всех сторон горело. По Красноармейской улице, по Базарной, по Полянной — пылали кострами дома и сараи… Видно было, как огонь вырывается из окон, охватывает крыши…

И никто не тушил эти дома, нигде не было видно ни одного человека.

Ярче других полыхал большой, новый дом ветврача Калинова, стоявший несколько наискосок, через улицу…

А прямо напротив горевшего дома висел на березе ярко освещенный огнем пожара кусок рельсы, повешенный специально для пожарной тревоги; рядом была врыта в землю бочка с водой и стоял ящик с песком.

Лене стало смешно: до чего непрактичными оказались все эти обязательные противопожарные меры!.. А скольких на той неделе оштрафовали за их несоблюдение!.. И Титыч штраф получил за то, что не запасся песком…

А что, если позвонить в эту рельсу? — Можно с уверенностью сказать, что ни одна живая душа не откликнется: Титычи и Кузьмичи сидят в окопах и вылезут только, если загорится их собственное имущество, да и то сомнительно…

И блестит на рельсе отражение пламени пожара, а из противопожарной бочки поднимается белый пар и смешивается с черным дымом горящего дома…

Над крышами, гремя и визжа, низко пролетел самолет, за ним другой, из них посыпались какие-то темные предметы, послышалось несколько очень сильных ударов, от которых затряслась земля и в разные стороны поднялись столбы дыма и пыли…

— … Это теперь бомбы с самолетов, а не снаряды… — пронеслось в голове у Лены. — А, впрочем, не все ли равно?… Снаряды… бомбы…. фугасные… зажигательные… осколочные… какие еще бывают?…

Она вернулась домой. Ее слегка знобило не то от волнения, не то от прохладного ночного ветерка, тянувшего в разбитые окна; но страха, паники, желания бежать — не было; напротив, было спокойствие, холодное, неподвижное спокойствие…

Она опять легла, натянула на себя одеяло, и даже ухитрилась ненадолго задремать.

Когда она проснулась, короткая летняя ночь уже близилась к утру; канонада стихла, только где-то далеко бухали отдельные артиллерийские выстрелы.

Лена встала и подошла к окну.

В серых предрассветных сумерках догорали и дымились пожарища…

По противоположной стороне улицы цепочкой, один за другим, держа в руках автоматы, медленно проходили люди в синевато-зеленой, непривычного цвета, военной форме и касках. Их было человек пятнадцать.

… Немцы!..

Лена проводила их взглядом, пока они друг за другом не скрылись за соседним домом…

Снова стало пусто…

Маленькая Липня оказалась за пределами Советской России.

* * *

Глава 5
Завоеватели

Послышались тяжелые шаги и в свою кухню ввалился весь белый, перемазанный в муке Титыч.

— Ух, ну и уморился! — воскликнул он, сбрасывая с плеч большой мешок, от которого по всему дому столбом поднялась белая пыль.

— Скорей беги, Михайловна, немцы магазинный склад открыли, что за многолавкой… и мука там, и сахар, и крупа всякая… все оттудова тащут, кому что надо. Бери мешок и беги!

— Как же я пойду? Это же не мое… — нерешительно пробормотала Лена.

— Не дури, Михайловна! Какое там «мое-не мое»?… Теперь все наше!.. Есть-то ведь надо! Теперь не купишь ничего… А раз дают — надо брать!..

Лена задумалась. Титыч был по существу прав: у нее было несколько соток огорода с молодой картошкой, бурачками, огурцами и морковкой; накануне она купила три буханки хлеба и, проходя мимо маслосырзавода, где спешно распродавали готовую продукцию, взяла там две головки сыра и киллограмма полтора масла.

Больше никаких продовольственных ресурсов у нее не было, а купить что-нибудь законным порядком теперь, действительно, возможности не предвиделось.

Через полчаса пришла соседка Паша Иголкина, женщина лет тридцати пяти, большая приятельница Матвеевны; она тоже хотела идти на склад и звала Лену пойти вместе, так как идти одной ей было страшно.

Лена решилась: взяла корзинку, несколько небольших мешков и пошла вместе с Пашей.

Они шли выгоревшей улицей; с обеих сторон чернели свежие пожарища; едкий дым еще поднимался к небу, кое-где вспыхивали и гасли последние языки догоравшего пламени.

Посередине всех черных дымящихся куч из угля, золы и недогоревших бревен, как памятники на кладбище, высились печки, жалобно протягивая к небу трубы, напоминавшие гусиные шеи.

Тут и там, на улицах и огородах виднелись большие и маленькие ямы-воронки, которые за ночь накопала артиллерия; в ногах путались провода от поваленных столбов.

И настороженно, как будто спрашивая прохожих «что это за

беспорядок такой?», смотрели на весь этот разгром белые и лиловатые, с толстыми пестиками, цветы картошки, почти нигде не пострадавшие от огня.

Смерть грозой пронеслась над головами липинских жителей и — отступила; жизнь снова властно вступала в свои права: с пожарищ, из окопов, из уцелевших домиков живые люди, опасливо озираясь по сторонам, пробирались по полусоженному городу добывать средства поддержания своей жизни.

Большие, напоминавшие ворота, двери пощаженного пожаром склада были распахнуты настежь; в середине его копошилось множество людей.

Тащили все, что попадалось под руку; огромные, пятипудовые мешки с мукой почти никто не мог поднять — их пороли, рвали, высыпали муку на пол, кто половину, а кто и три четверти мешка, нагребали эту муку в домашние мешки, в платки, в подолы, в рубахи, ходили по колено в муке, поднимая тучи белой пыли…

Распороли также мешки с сахаром, с крупой, с горохом, тоже рассыпали, тоже топтали… В середине склада уже образовалась большая куча из всех продуктов, смешанных вместе с немалым добавлением грязи и мусора.

Все эти продукты еще со времени финской войны исчезли из магазинов; на полках лежали только пачки кофе и сухого кваса, да раз в день привозили хлеб, который сразу расхватывали; изредка немного чего-нибудь «выбрасывали» в продажу, и тогда — либо распределяли по спискам от производств, либо у магазинов собирались оргомные очереди с давкой, дракой и даже несчастными случаями…

А сегодня те самые продукты, за которыми люди долгими часами стояли в очередях, — валялись на земле и втаптывались в грязь… Царила анархия неожиданного и непривычного изобилия…

А в стороне стояли два немецких солдата с сигаретами в зубах и, обмениваясь ироническими замечаниями, наблюдали эту картину.

Лена сходила на склад три раза, принесла домой пуда полтора ржаной муки, с пуд пшеничной, по несколько килограммов сахара, гороха, овсяной и ячневой круп и решила, что с нее хватит: может быть, завтра опять будет пожар и все сгорит, или наступит смерть, и ничего не будет нужно — стоит ли таскаться со всеми этими узлами и мешками?

Впоследствии, когда анархия изобилия сменилась анархией нищеты и голода, ей пришлось не раз пожалеть, что в этот день она была недостаточно жадной.

* * *

Спрятав принесенные продукты, Лена опять отправилась бродить по выгоревшему городу.

Она дошла до места своей работы; двухэтажное здание райисполкома сгорело, стояли одни закопченые кирпичные стены да куча обгорелого мусора в середине. Ольховский дом тоже сгорел, от него остался только подвал, тот самый, в который они с Марусей лазали, когда копали траншеи.

А сами траншеи стояли нетронутыми; вряд ли ими кто-нибудь воспользовался этой ночью: люди уже наделали себе другие окопы, не по инструкции, а по соображениям удобства: короткие, широкие, с толстым накатом сверху.

Лена вздохнула, взглянув на пепелище своей работы, и пошла дальше.

Вскоре она увидела уцелевший от пожара небольшой промтоварный магазин и зашла в него; здесь все было разграблено: одежда, обувь, материи (кстати, все эти товары появились в продаже только накануне).

Все более или менее ценное уже отсутствовало, а на полу валялось то, что никому не было нужно; кто здесь похозяйничал — немцы или местные жители — определить было трудно.

Лена порылась в брошенных вещах, не представлявших интереса для тех, кто побывал здесь раньше, и выбрала оттуда несколько десятков пуговиц, две столовые ложки, полойник, несколько мотков штопальных ниток, пластмассовую масленку, две круглых гребенки, сверток пестрой тесьмы…

— Это на мою долю осталось, — сказала она самой себе и, подумав, добавила в свою корзинку еще несколько эмалированных брошек с букетами и пейзажами, несколько галстуков и две коробки пудры, хотя сама никогда не пудрилась. Затем она вышла из магазина и отправилась дальше.

— Лена! Лена, ты жива? — послышался знакомый голос.

Лена обернулась: из переулка, навстречу к ней, с протянутыми руками бежала Маруся Макова.

— Ты здесь? Не уехала? — удивленно воскликнула Лена, ожидавшая встретить в развалинах кого угодно, только не Марусю.

— Как видишь, здесь, налицо! Идем к нам!

— А ваш дом цел?

— Цел, цел!.. Пролетарская сгорела почти вся, одни трубы торчат, а до нашего переулка огонь не добрался… Идем! Мама так рада будет!..

И она потащила подругу с собой.

Они пошли на противоположный конец Липни, где находился маленький домик, принадлежавший Марусе и ее матери.

— Но все же, как ты осталась здесь? Я думала, ты уже где-нибудь далеко? — спрашивала Лена.

— Мы хотели уходить, обязательно, — на ходу торопливо рассказывала Маруся. — Третьего дня пришла Тоня…

— Какая Тоня?

— Да сестра моя, которая в Днепровске жила!.. Ее дети были у нас на каникулах… мужа ее в армию забрали, а ее саму с работы не отпускали до последнего дня, пока немцы подошли… А в последнюю минуту приказали на поезд собираться, ехать куда-то в Сибирь, а дети у нее тут, в Липне… Она до Приречной доехала, с поезда спрыгнула, и сюда пешком… Не успела отдохнуть, как немцы и в Липню пожаловали… Мы все надеялись лошадь достать, да ничего не вышло… Тогда собрались идти пешком, и Новиковы с нами вместе пошли… Тоня все торопилась, хотела догнать свою фабрику, очень боялась, что ее будут судить, что она убежала с поезда… А тут мама заболела и говорит, что она нам по дороге только мешать будет… задерживать… что она лучше останется здесь… что ей, старухе, немцы ничего не сделают, а дом и вещи целее будут.

— И ты с ней осталась?

— Да нет, я сначала пошла со всеми: Тоня с детьми, Новиковы, еще Люда, продавщица из раймага и я. Дошли до Жарова, отстановились, смотрим — кругом горит, бомбят, стреляют… Мы с Тоней очень беспокоились за маму… Ну, я и побежала назад, думала, все-таки, уговорить ее пойти с нами… А тут начался такой обстрел, что я еле до дому добежала. Куда уж было назад идти!.. Забрались мы с мамой под печку, там всю ночь и просидели… Вот и наша хата!

Среди сплошных пожарищ, в стороне от магистральной Пролетарской улицы, переводившей в Вяземское шоссе, уцелело в переулке четыре домика, в том числе — Маковский, маленький, приземистый, с красной крышей.

Нашла живого человека! Вот, пожалуйста! — сообщила Маруся своей матери.

— Леночка! Здравствуй!.. Тоже, значит, не ушла? А я-то думала: мы с Марусей одни в городе остались, — говорила, обнимая гостью, худая, изможденная, за одну ночь постаревшая на десять лет Анна Григорьевна Макова.

— Мои-то вчера пошли, — начала она рассказывать, — А я приболела — осталась… лежу, дожидаю, что дальше будет… Тут как пошли стрелять — Ну, думаю, конец мне пришел!.. Вдруг слышу — идет кто-то в дверь… гляжу: моя попрыгунья к матери

назад прибежала!.. И немцев не побоялась!..

— А чего я их буду бояться? — храбро заявила Маруся. — Они на меня даже не смотрят…

Лена раскрыла корзинку и по-братски поделилась с Марусей своими не слишком богатыми магазинными трофеями; потом пошли подробные рассказы о всех событиях прошлой ночи.

— Живы ли там наши? — тихо проговорила Анна Грирорьевна. — Хотя бы скорей вернулись обратно!.. Их, верно, тоже немцы уже захватили…

Слова «немцы захватили», еще вчера бывшие страшнее смертного приговора, сегодея прозвучали совсем спокойно и даже с надеждой.

— Надо пойти в Жарово, узнать, там ли они и что с ними, и привести их обратно. — предложила Лена.

— Пойдем! — загорелась Маруся. — Пойдем вместе! Одна я, все-таки, побаиваюсь, а вдвоем лучше…

— Подстрелят вас! — забеспокоилась мать.

— Не подстрелят! Если вчера не подстрелили, так уж сегодня-то целы будем!

* * *

Поле, через которое вела в деревню Жарово извилистая проселочная дорога, было все изрыто воронками; кругом валялись искореженные машины, орудия, повозки, трупы лошадей; но больше всего было человеческих трупов — мертвецы лежали во всех направлениях, ничком и навзничь, скорчившись и вытянувшись, в одиночку и группами…

Один совсем молодой красноармеец лежал в воронке у самой дороги, свернувшись калачиком и положив голову на кусок дерна, лежал так уютно, что казалось — он просто крепко спит… если бы не толстый слой серой пыли, покрывавшей его лицо…

— Какой славный! — тихо проговорила Маруся, наклоняясь над мертвым и смахивая рукой эту противную пыль с его окостеневшего лица.

— А ведь все наши лежат, русские, — отозвалась Лена, оглядываясь кругом. — Не видно ни одного убитого немца…

— Ну, своих-то они прибрали!..

Девушки пошли дальше.

В деревне Жарово, как и в Липне, половина хат оказалась сгоревшей.

Спрева никого не было видно, потом из одного окопа вылезла баба в желтом платке, затем подошло еще несколько человек.

На расспросы Маруси жаровцы отвечали, что все беженцы ушли из деревни еще до прихода немцев, но в какую сторону они направились, никто не помнил.

— Значит, в Жарове их нет, — проговорила Лена. — Куда же теперь пойдем их искать?

— Пошли домой!.. Может быть, они уже вернулись и дома сидят, а мы их тут ищем по полю брани…

Подруги отправились обратно, через то же самое усыпанное трупами «поле брани». Солнце жгло после полудня все сильнее, и над полем уже поднимался тяжелый, тошнотворный запах тления.

На половине пути им пришлось свернуть с дороги на траву и пойти обочиной: навстречу им по узкому проселку, поднимая тучи пыли, медленно ползла змеей длинная колонна разнокалиберных немецких машин; тут были большие и маленькие, грузовые и легковые, но больше всего мотоциклов; немцы ехали вооруженные, громко разговаривали и кричали.

Но на протяжении всего пути до города, около трех километров, ни один солдат не обратил ни малейшего внимания на двух молодых девушек, шагавших им навстречу.

— Притворяются, будто нас не видят! — заметила Маруся, которую даже обидело такое пренебрежительное невнимание.

Вернувшись на территорию города, подруги увидели, что такие же колонны движутся в разных направлениях по всем главным улицам. Немцы буквально наводнили Липню.

Смешливая Маруся и здесь нашла повод для смеха: пока они с Леной прошли около трех кварталов по Пролетарской улице, мимо них четыре раза вихрем промчался на мотоцикле взад и вперед один немец, внешний вид которого действительно просился на каррикатуру: по случаю жаркой погоды, все его одеяние и снаряжение состояло из пилотки, трусиков, тапочек, очков, автомата и бинокля…

— Лена, ты раньше боялась покойников? — вдруг задала Маруся неожиданный вопрос.

— Покойников? Никогда не боялась, даже не понимаю, как их можно бояться.

— А я раньше ужасно боялась!

— Как же ты трогала того, убитого?

— Не знаю… Теперь я их почему-то не боюсь… вероятно, потому, что их слишком много….

Они уже подходили к дому; Тони и детей там не оказалось.

* * *

На следующий день, девятнадцатого июля, масса продвигающихся немецких войск, запруживавшая улицы Липни, — схлынула.

А еще через день вместо них появились в большом количестве праздношатающиеся немцы, которые по одному, по два бродили по улицам, заходя в уцелевшие дома, одни с целью чем-нибудь поживиться, другие — просто из любопытства.

В Ложкинском доме первый такой непрошенный гость появился рано утром.

— Пан! Млека! — командирским тоном заявил он встретившему его на кухне Титычу.

— Нет млека!.. Корова нет… уехал… понимаешь, пан, нет молока… корова — деревня… — доказывал Титыч, воображая, что для немца перековерканный русский язык понятнее правильного.

— «Понимаешь, понимаешь», — с досадой повторил немец, видимо, уже неоднократно слышанное слово. — Никс понимаешь!.. — и что-то продолжал по-немецки.

Несколько минут русский старик и немецкий солдат пытались объясниться: они коверкали оба языка, усиленно жестикулировали, и взаимно величали друг друга «панами», причем один из них был уверен, что это самое настоящее немецкое слово, а другой считал его самым настоящим русским.

Наконец, немцу эти раговоры надоели и он, слегка отстранив старика, подошел к буфету, открыл его и принялся шарить среди посуды.

— Э!.. Пан, пан!.. ты куда полез? — закричал Титыч, хватая бесцеремонного гостя за рукав.

— Раус! — гаркнул солдат и так пихнул хозяина дома от его собственного буфета, что тот отлетел в угол и еле удержался на ногах.

Неизвестно, что было бы раньше, но в этот момент все слышавшая Лена вышла из своей комнатушки на кухню.

Ее появление сразу отвлекло внимание немца от чашек и плошек.

— О! Паненка! — воскликнул он. — Шён! Шён!.. Гутен таг!.. Айне тохтер? — он показал глазами на Титыча. — Фатер? Папа?

— Найн, нихт фатер, — ответила Лена.

— Паненка шприхт дёйч!..

Буфет Титыча, горшки, чашки, «млеко», «яйки» — все было забыто!. Немец уселся у стола и атаковал Лену целым градом любезных восклицаний, на которые она отвечала с большим трудом.

— Дас ист ди эрсте паненка ам Руссланд, ди зо шён дёйч

шприхт!..

Комплимент был совершенно незаслужен: Лена говорила по-немецки очень плохо, еле подбирая слова, и мучительно рылась в памяти, вспоминая школьные уроки.

Но немца это не смущало: продолжая болтать, он вытащил из кармана большую пачку фотографий и начал показывать своих родителей, жену, детей и всех родных и знакомых, и только, когда «руссише паненка» все пересмотрела, вспомнил, что ему куда-то надо идти, поклонился с видом старого знакомого и ушел. Ложкинский буфет так и остался полуоткрытым.

— Пошел! — облегченно вздохнул Титыч, когда за немцем закрылась дверь. — А ты, Михайловна, оказывается, по ихнему знаешь?… Что он тут рассказывал?

— Я сама почти ничего не поняла, Титыч, — ответила Лена. — Я совсем забыла немецкий язык, я просто так сидела и поддакивала.

— Занять чтоб его, значит? Чтоб по углам не шарил?

— Ну да!..

По коридору послышались шаги; страик выглянул в дверь.

— Два идут! — сообщил полушепотом. — Поговори с ними, а то еще чего-нибудь стащут…

Так выпала на долю агронома Елены Михайловны Соловьевой новая работа: с целью предотвращения грабежа заговаривать зубы немцам.

Надо сказать, что это средство действовало не на всех: часть продовольственных запасов Титыча все-таки уплыла, а также были перестреляны все оставленные Матвеевной курицы и дочиста обобраны в саду вишни и смородина. Но все же большинство немцев после «беседы» стеснялись что-нибудь брать, а у соседей, где не было интересных собеседниц, грабили гораздо бесцеремоннее.

За неделю этих «гостей» перевернулось в Ложкинском доме более сотни; с утра до вечера одни приходили, другие уходили, многие являлись второй и третий раз в качестве старых знакомых, и к ночи Лена так уставала от дипломатической нагрузки, что спала как убитая, и однажды проспала большую бомбежку, во время которой сгорело два соседних дома.

Многие солдаты просили постирать им белье — Лена не стала отказываться: свободного времени было много и не стоило из-за пустяков портить отношения с завоевателями, тем более, что от этой стирки была хоть маленькая, да прибыль: один немец принес за работу полбуханки жесткого серого хлеба, другой — полный котелок густого супу, третий — соленую рыбу явно русского происхождения; все это в военное время было далеко не

лишним.

Однажды ей дали немецкую марку, которую она взяла из любопытства — посмотреть, какие бывают немецкие деньги, хотя никакой торговли в Липне и в помине не было.

Не раз приходилось ей выслушивать объяснения в любви, но она умела от них отшучиваться.

Запомнился Лене один случай.

Это было вечером; уже начинало темнеть; Лена вышла на улицу и увидела около соседнего дома Иголкиных группу людей; она подошла ближе.

В дверях дома стояли две женщины — обе лет тридцати пяти-сорока: одна из них была хозяйка дома Паша — Прасковья Ильинична Иголкина, другая — Катя Степаненкова, поселившаяся у Паши, так как ее дом сгорел.

Напротив них, в узком проходе между двумя скамеечками, по обе стороны низкого, в одну ступеньку, крыльца, стояли два немца и что-то громко говорили и смеялись; один из них был высокий и худой, другой среднего роста и толстый.

Лена прислушалась: немцы хохотали и, насколько она могла понять, дразнили и пугали русских баб, а те тряслись от страха и повторяли:

— Мы боимся, пан!.. Мы боимся!..

Лицо у Паши было серое от страха, из глаз Степаненчихи катились слезы.

— Мы боимся!.. Мы боимся, пан!..

Немцы переглянулись, и толстый схватил Пашу за руку около локтя, она взвизгнула дурным голосом.

— Надо выручать! — подумала Лена.

Она подошла к немцам сзади и, мобилизовав чуть ли не все немецкие слова, которые смогла вспомнить, обратилась к ним с заковыристой фразой, за которую ни один преподаватель немецкого языка не поставил бы ей больше двойки.

Эффект превзошел все ожидания.

Оба немца повернулись, как по команде «кругом»; на обеих физиономиях сиял неподдельный восторг.

— Дас медхен шприхт дёйч!

И оба засыпали Лену кучей восклицаний, из которых она поняла менее четверти, но немцев это не смутило; они усадили «паненку» на скамейку, сами уселись напротив и пустились в разговоры.

Паша и Катя, вытаращив глаза, с опаской наблюдали, как их соседка бойко болтает с солдатами по-немецки; на самом деле эта бойкость была кажущейся: она сочиняла самые несуразные фразы, иногда заменяя одно незнакомое слово целыи десятком

синонимов.

Зато немцы трещали, не стесняясь; особенно старался толстый.

Разговор длился более часа; за это время Лене стало известно, что толстого немца зовут Вилли, а худого — Отто, что у Вилли в Германии есть жена Луиза и дочь Эрика; что он по профессии пекарь; что у него своя пекарня и магазин; что теперь там работает его старый отец; что старому отцу очень трудно без сына; что Вилли воюет пятый год, был в Австрии, Чехословакии, Франции и Польше; что война — гадость; что она скоро кончится — как только немцы возьмут Москву; что тогда Вилли поедет домой и будет печь вкусные булки, а его старый отец будет отдыхать; что Лена — красивая девушка и с ней приятно разговаривать…

Высокий Отто сперва попробовал было тоже что-то рассказать, но Вилли не замолкал ни на минуту, и Отто предпочел сидеть молча и только вставлял короткие реплики в болтовню многоречивого товарища.

Наконец, когда на небе уже давно светили звезды, немцы посмотрели на часы и заторопились; последнее, что Лена поняла из их слов, было опасение, что им влетит от фельдфебеля за позднюю прогулку и глубокое сожаление, что приходится прерывать беседу с очаровательной русской паненкой.

На прощание оба приятеля пожали русской паненке руку, взяли под козырек и пошли восвояси.

— Как ты их не боишься? — воскликнула Паша, высовываясь из дверей.

Лена пожала плечами.

— А чего их бояться? Люди как люди!

Этот случай объяснил Лене тайну ее магического воздействия на немецких солдат: дело было не в немецком языке, которым она владела достаточно плохо; дело было в том, что в то самое время, когда большинство русских девушек и женщин смотрели на пришельцев глазами затравленного зверя, дрожали и прятались, — Лена Соловьева разговаривала с ними без всякого страха, как с любыми другими людьми, и именно это отношение превращало страшных завоевателей в то, чем они были от природы: в самых обыкновенных, простых, часто довольно добродушных парней.

* * *

— Ну, Михайловна, живем! — послышался голос Титыча, и

старик ввалился в комнату квартирантки, еле держась на ногах и размахивая руками. — Гляди, какое богатство!..

Посередине кухни стояли на полу два полных ведра — но не с водой… запах от этих ведер наполнил весь дом.

— Со спиртзавода принес! Чистый спиртик! — восхищался Титыч.

Подумав немного, он вылил содержимое ведер в кадушку, накрыл подносом, подхватил коромысло на плечо и отправился, пошатываясь, за второй порцией своего «богатства».

Спирт носил не один старый Ложкин, а большая часть населения Липни; со всех сторон к полуразрушенному бомбежкой спиртзаводу устремились люди с ведрами, битонами, кувшинами.

Соседка Паша приходила приглашать Лену в поход за спиртом, Но та на этот раз наторез отказалась идти, заявив, что она не пьет, и ей этой дряни не нужно.

Следующую неделю Титыч, его сосед и приятель Кузьмич, беженец-белорусс Иван, жена Ивана Марфа и еще несколько человек собирались вместе и беспробудно пили; напившись — храпели; проспавшись — опять пили, не замечая ни бомбежек, без которых редкий день обходился, ни немцев, по-прежнему усердно посещавших уцелевшие дома.

Как-то немного протрезвившись, Титыч задал своей квартирантке вопрос:

— Михайловна, а Михайловна! С чего это немцы жидов не любят, а сами по жидовску говорят?

Лена начала объяснять, что не немцы говорят по-жидовски, а, напротив, русские евреи говорят на искаженном немецком языке, но старик уже не слушал: он вспомнил, что должен сообщить более важную новость:

— А я теперь, Михайловна, большой человек!.. Меня немцы уважили! Вчера было у нас собрание… одних, значит, мужиков… баб не было… немцы баб не признают… оно и верно: курица не птица, баба не человек… у бабы, говорят, волос долог, да ум короток… все зло, значит, на земле от бабы…

— Чем же вас немцы уважили, Титыч? — спросила Лена, прерывая его рассуждения насчет баб, которые грозили стать бесконечными.

— Старостой поставили!

Старый Ложкин приосанился, задрал кверху свою седую бороденку и принял такой невообразимо важный вид, что Лена еле удержалась, чтобы не расхохотаться.

— Вас? Старостой?

— Да!.. Главный староста будет Розинский Евгений Иваныч, он у них в комендатуре переводчиком… Он главный бур…

бурмис… не помню, как по ихнему… по нашему — староста!.. а я ему помощник… Вот я и пойде, значит, к Евгению Иванычу… У нас с ним дела…

И Титыч вышел на улицу и, пошатываясь, направился к дому, где жил бывший преподаватель немецкого языка Розинский.

Лена не обратила внимание на бессвязную болтовню пьяного старика.

Титыч и до войны любил выпить, но тогда у него были две причины воздерживаться: во-первых, необходимость ежедневно являться на работу в валяльную мастерскую, а, во-вторых, — хозяйственная и, несмотря на все свое добродушие, настойчивая Матвеевна, всегда отбиравшая у него все деньги сразу после получки.

Теперь оба сдерживающих начала отсутствовали.

Не отрезвило его даже несчастье, случившееся с его другом и собутыльником Кузьмичем: ночью была бомбежка, загорелся дом Кузьмича, а хозяин дома лежал мертвецки пьяный и проспал и бомбежку, и пожар, и собственную смерть: он сгорел вместе с домом.

Поутру нашли его обгорелый труп. Титыч попричитал, помог вырыть на огороде могилу для приятеля и… взялся за очередную порцию спирта — за упокой души умершего.

* * *

После одной особенно сильной бомбежки Лена собралась пойти к Маковым узнать, цел ли их дом и целы ли они сами, так как ночью в их стороне сильно горело.

Титыч, как обычно, храпел. Не добудившись его, Лена сперва хотела закрыть дверь во двор на крючок изнутри, а дверь на улицу запереть на замок снаружи, но потом раздумала и раскрыла все двери настежь: замок непременно бы обратил на себя внимание, и немцы не замедлили бы его сорвать, чтоб посмотреть, какие сокровища за ним скрываются.

На всякий случай она написала большими буквами: «Битте, нихтс немен» и положила эту записку на видно место; затем она зашла к Паше Иголкиной попросить ее посмотреть за домом, чтоб туда не забрались воры русской национальности.

Пришла она кстати: Паша усиленно объяснялась с каким-то немцем, принесшим ей в стирку белье.

— Лена, растолкуй ты ему, чтоб он мыла принес, а то как я ему стирать буду без мыла?

Лена растолковала; немец с видимой неохотой дал

маленький кусочек зеленоватого мыла, похожего на глину.

— И еще скажи, чтоб он хлеба принес, а то он сует свои марки… на что мне его марки?…

Лена с любопытством смотрела на соседку: давно ли эта самая Паша тряслась и бледнела, повторяя «пан, мы боимся», когда ее дразнил толстый Вилли, а сегодня она уже так осмелела, что торгуется с завоевателями!.. Ко всему привыкает человек!..

Лена отправилась в путь. По дороге ей пришлось наблюдать каких-то приехавших на лошади деревенских жителей, которые выносили из брошенных домов всевозможные домашние вещи и грузили их на свою подводу.

В этот период затянувшегося междувластия грабежи в Липне достигли высшего уровня — грабили все: завоеватели и завоеванные.

Пожары уничтожили половину города и многие его жители лишились всего своего имущества; купить или достать что-нибудь законным путем было невозможно, потому что никто нигде и ничего не продавал и не выдавал.

С другой стороны, уцелел от огня целый ряд домов, жители которых уехали или ушли, бросив большую часть имущества.

Вещи остались без хозяев, хозяева — без вещей.

Погорельцы поневоле вселились в чужие, брошенные квартиры, брали чужое брошенное имущество, потому что у них не было другого выхода.

Но, вслед за теми, у кого «все сгорело», пошли по чужим домам и те, у которых ничего не горело, кто просто рассуждал так: «Все равно это брошенное, ничье, хозяева неведомо где; если не возьму я, возьмут немцы, или другие соседи…»

И вот уже дело дошло до подвод из деревни!..

В одном месте, где длинная Пролетарская улиуа пересекала Заводскую, дома расходились в разные стороны, образуя небольшую площадь, поросшую травой.

На этой площади Лена увидала немецкое кладбище: десятка три могил, аккуратными рядами, на каждой могиле крест из белой неошкуренной березы, внизу креста — дощечка с именем, фамилией, воинским званием и датой смерти; наверху на кресте — каска; на многих могилах вкопаны вместе с горшками комнатные цветы: герани, фуксии, огоньки…

Еще от этого кладбища, которое расположилось на совсем неподходящем месте, в центре города, Лена увидела, что Маковский дом цел и невредим.

— Здавствуйте! Все ли у вас живы? — спросила она, переступая порог.

Хотя этот вопрос звучал полушутливо, но в те дни далеко не

всегда можно было получить на него положительный ответ.

— Живы, все живы, Леночка, заходи! — с улыбкой отвечала хлопотавшая у печки Анна Григорьевна и добавила: — Чуть-чуть нас не убило ночью, да все-таки, целы остались; только нашу картошку сильно распахали.

Из соседней комнаты послышались голоса и смех; Лена прошла туда и увидела Марусю в компании трех немецких солдат.

— Мои друзья: Август, Пауль и Франц! — прошу любить и жаловать! — представила Маруся немцев. — Унд дас ист майне бесте фрёйндин!..

Лену вовлекли в общий оживленный разговор; она прислушалась и убедилась, что в деле заговаривания немецких зубов Маруся ее далеко превзошла: она так и сыпала немецкими фразами; конечно, грамматика у нее тоже хромала на обе ноги, но на войне грамматика была наукой необязательной.

Немцы держали себя, как старые друзья дома; оказалось, что они в Липне уже давно, около двух недель, живут в брошенном доме через улицу и каждый день все свободное время проводят в Маковском маленьком домике с красной крышей.

— Мариа, зинг маль! — попросил Август, доставая губную гармошку.

— Лена, давай петь! — обратилась Маруся к подруге. — Они все время ко мне пристают, чтоб я пела, а одной мне уже надоело — давай вместе!

Лена не заставила себя просить:

— Давай!

К ее удивлению, Август заиграл на губной гармошке мотив «Стеньки Разина».

— У них на этот мотив какой-то сердцещипательный романс есть, — пояснила Маруся. — Слова совсем другие, ничего похожего…

— Ну, Стеньку, так Стеньку!..

За «Стенькой Разиным» последовали «Коробушка», «Метелица», «Рябина», «Любушка-голубушка» и несколько украинских песен.

Голоса подруг прекрасно дополняли друг друга; Август при каждой новой песне внимательно вслушивался, и со второго куплета начинал подыгрывать на гармошке.

На это импровизированный концерт собралось еще несколько человек немецких солдат.

Вдруг Маруся сверкнула своими черными глазами, лихо тряхнула кудрями и затянула «По долинам и по взгорьям…»

Лена усмехнулась и поддержала.

Анна Григоьевна забеспокоилась:

— Девочки, может, лучше таких песен не надо?… — тихо проговорила она.

— А что они мне сделают? — бросила Маруся в паузе между куплетами и продолжала во весь голос петь дальше.

— Они, конечно, не понимают, но все-таки… — пробормотала Анна Григорьевна и ушла на кухню, подальше от греха.

А певицы разыгрались и спели «По военной дороге…», «В путь-дорожку дальнюю», «Орленка» и неизвестно, что еще оказалось бы в их репертуаре, но слушателей позвали на обед.

— Ну, что же ты, Жанна д'Арк, фашистов уже не собираешься убивать? — спросила Лена, когда немцы ушли.

Маруся удивленно вытаращила глаза, потом вспомнила и рассмеялась:

— Какая я была дура!.. А знаешь, я ведь уверена была, что если немцы, то они обязательно должны быть чудовищами — а они самые обыкновенные люди…

— Они хорошие мальчики, — сказала Анна Григорьевна. — Такие тихие, вежливые… жалко, что их опять скоро на фронт отправят…

Пока через Липню шли отступавшие русские части, добросердечная Анна Григорьевна постоянно зазывала к себе «солдатиков», кормила, поила, зашивала на них дырки и от всей души сочувствовала их невзгодам; теперь она так же привечала немецких «мальчиков» и горевала, что их могут убить или ранить.

Немцы в долгу не оставались: они таскали в дом всякие продукты, величали Анну Григорьевну «мутти» и наперебой ухаживали за Марусей, хотя признанным ее кавалером считался красивый Август.

— Очень хорошо, что у нас есть теперь эти немцы, свои, — продолжала Анна Григорьевна. — Теперь другие немцы, если и заходят, то ничего не берут.

— Ну, да! — рассмеялась Маруся. — Домашние, ручные немцы — лучшая защита от диких!.. Ты, Лена, тоже непременно заведи себе домашних немцев, тогда дикие не будут безобразничать… Да, вот уже идут с котелками наши домашние…

По переулку большой компанией шли недавние слушатели концерта; в кухонном окне мелькнула рука, и на подоконнике оказался полный котелок супа.

— Опять принесли!.. Который это поставил?.. Ну, зачем это?… — захлопотала Анна Григорьевна.

— Спрячь, мама, а то им за это влетит от фельфебеля, — сказала Маруся и продолжала, обращаясь к Лене:

— Они уже ездили отсюда на фронт два или три раза, и приезжают обратно… Их меняют через каждые четыре-пять дней: одних на фронт, других в Липню отдыхать.

— С комфортом воюют! — заметила Лена.

Она вспомнила, что и к ней несколько раз повторно заходили посетители первых дней и тоже говорили, что вернулись с фронта…

— Но где же, все-таки, фронт? Неужели так близко?

— А у них не поймешь, — ответила Маруся. — То они в Москву вот-вот собираются, то говорят, что фронт в Прошкине, то в Климашеве… Ты не знаешь точно, где это?

— Конечно, знаю! Климашево в моем сельсовете, в Молотиловском, восемь километров от Липни по Вяземскому большаку… А прошкино — по Калужскому большаку километров десять или одиннадцать…

— Странно, я думала — это гораздо дальше…

С этого дня обе подруги при каждом удобном случае спрашивали немцев о фронте и о названии деревень, где этот фронт проходит.

Немецкие солдаты имели самое смутное понятие о русской географии; многие из них любили прихвастнуть и приврать, но все же из разговоров с ними вскоре удалось установить неопровержимый и неожиданный факт.

Фронт, докатившийся за четыре недели от границы до Липни, — остановился. Остановился в Липнинском районе, в восьми-десяти километрах от районного центра, и стоял там уже более месяца, не двигаясь ни взад, ни вперед.

* * *

Глава 6
Месяц Советской власти

— И чего это немцы разъездились? — говорил Марк Захарович Иголкин, свекор Паши. — То туда, то сюда… едет и едут, днем и ночью…

Он стоял в дверях своего дома и смотрел на улицу, по которой грохотали тяжелые немецкие повозки, запряженные крупными лошадьми с короткими хвостами.

Последние дни августа войска оживленно двигались через Липню взад и вперед; местные жители не придавали этому особого значения: ездят немцы — ну, и пусть ездят, лишь бы не трогали никого и ничего.

Днем прилетели два русских самолета и сбросили несколько бомб — это тоже было в порядке вещей: за время полуторомесячного немецкого владычества «русский Иван» не раз и не два наведывался в Липню.

Тридцать первого августа на улицах городка было непривычно тихо; немцев нигде не было видно. К вечеру на город посыпались артиллерийские снаряды, но и это никого не удивило и мало кого испугало: липнинцы уже по опыту знали, что из двадцати снарядов только один причиняет вред, а девятнадцать «копают картошку»…

Обстрел продолжался всего полчаса, затем все стихло. Ночь прошла спокойно — спокойнее, чем многие предыдущие ночи…

Утром Лена вышла на крыльцо. Мимо дома посередине пыльной улицы шли два мальчика лет тринадцати: сын Паши, Володя Иголкин и еще какой-то незнакомый.

— Тетя Лена! — сообщил Володя. — Наши пришли, красные — я их сам видел!..

Это было первого сентября 1941-го года.

* * *

Через несколько дней после возвращения в Липню советских войск Титыч, против обыкновения совершенно трезвый, рассказывал своей квартирантке:

— А знаешь, Михайловна, беженцы-то возвращаться начали: Самуйленчиха с мальцом приехала, солдаты наши, русские подвезли на машине… приехала, а от ихней, значит, хаты одна печка торчит… Назад, говорит, поедем, только здесь свою

картошку, значит, выроем…

— А где она была, Самуйленкова? — спросила Лена.

— А в Марковском сельсовете, деревня Бобры… Ты не знаешь такую?

— Знаю!

Лена Соловьева, работая агрономом, часто бывала в командировках по колхозам и хорошо знала весь район.

— Ну, вот, там они в Бобрах и живут, в колхозе работают, там у них, говорят, тихо было, даже не бомбили… и колхозы, по-старому… только военных много… И наших, с Липни, там полная деревня… а в самом Маркове, говорят, все наше начальство собралось, липнинское, райкомы и райисполкомы… все там…

Старик посидел молча, потом вытащил из кармана пачку папирос.

— Вот!.. Наш солдат дал… почти полная пачка была… настоящие русские, «Беломор»… А то при немцах насиделся без курева…

Лена чуть заметно улыбнулась, вспомнив, как Титыч, если только бывал в сознании, не пропускал ни одного немца, чтоб не выпросить у него сигарету, а после ухода посетителей тщательно собирал окурки и потрошил их в «козьи ножки».

Затянувшись, Ложкин снова заговорил:

— Скоро, может быть, и моя Матрена придет; чего ей с Наташкой теперь в деревне сидеть?… Можно и домой… наш-то дом цел…

— А Самуйленкова не знает, где они?

— Спрашивал — не слыхала… Они тогда, значит, в Дубово поехали, а оттудова как раз немцы шли и бой был… Так может, они куда-нибудь в другую сторону повернули… Ну, да приедут, нигде денутся!..

— Конечно, приедут! — подтвердила Лена.

Титыч встал со стула и направился к двери, но вдруг остановился.

— Михайловна, а Розинского-то Евгения Иваныча немцы с собой увезли, и с женой вместе… Ты, если про меня спрашивать будут, чего я к нему ходил — не говори!.. Скажи: ничего, мол, не знаю, и все…

— Хорошо, Титыч. А вы сейчас дома будете?

— Да, посижу пока… А что?

— Я схожу к Маковым, узнаю, какие там новости?

— Сходи, сходи!..

* * *

Лена шла по знакомой, многократно за это лето проторенной дороге.

Уже на Пролетарской улице она услышала сзади себя крик:

— Товарищ!.. Девушка!.. Одну минуту… Постойте… — Лена обернулась: ее почти бегом догонял небольшого роста чернявенький лейтенант с полевой сумкой в руках.

Она остановилась, подумав, что этот человек хочет у неес спросить куда-нибудь дорогу.

— Одну минуточку!.. — лейтенант вытащил из сумки блокнот и авторучку. — Скажите, вы здешняя коренная жительница? Жили здесь до войны?

— Да, жила, — отвечала Лена, все еще недоумевая, зачем это нужно знать незнакомому человеку.

— Вы извините меня! Я корреспондент. Теперь многие жители Липни… (он произнес название города особенно значительным тоном, как говорят всякие знаменитые слова) жители Липни возвращаются в свои дома; многие из них находят на месте родного дома груду развалин, пожарище, но все же они радуются, что могут, наконец, вернуться в родной город… (он говорил, как будто читал или выступал на собрании)… Я бы хотел и вас просить рассказать о себе: куда вы отступали? Давно ли вы вернулись? Цело ли ваше жилище? Что вы намерены делать дальше?

— Боюсь, что вы не по адресу попали, — сказала Лена с улыбкой, которая несколько смягчила ее резковатые слова. — Я никуда не отступала и ниоткуда не возвращалась: я все время была здесь.

— Как, вы были в плену?! — воскликнул корреспондент и смерил удивленным взглядом всю фигуру своей собеседницы, точно не мог поверить, что молодая, красивая девушка, в простом, но совершенно целом и чистом платье была «в плену».

— Тогда, тем более расскажите!.. Мне кое-кто уже рассказывал, но нужно как можно больше сведений!.. Здесь творились такие ужасы!..

Лена пожала плечами.

— Мы здесь привыкли к этим ужасам, — сказала она. — Бомбили нас часто, это верно; но самая большая бомбежка или, вернее, артиллерийский обстрел, был в первый день, накануне прихода немцев; тогда полгорода выгорело… Нас тогда сразу приучили, а потом, когда били понемножку, уже не страшно было…

— Но здесь же были немцы!.. Они так издевались над мирным населением!.. Расскажите, пожалуйста, это должно быть известно всему миру!..

Лена немного помолчала.

— Ну, что ж, если хотите, Расскажу и про немцев…

Корреспондент сел на крыльцо пустого полуразрушенного дома и приготовился записывать.

Лена рассказала о том, как немцы ходили по домам, как приходилось им заговаривать зубы в целях сбережения имущества; со всеми подробностями описала сцену разговора с толстым Вилли и длинным Отто, когда ее соседки повторяли «пан, мы боимся!..

Но, хотя рассказывала она очень живо и образно, воодушевление ее собеседника сникло, блестящие глаза потускнели, и авторучка перестала бегать по бумаге: он ждал не таких сведений.

— Вы все в комическом виде представляете, — сказал он свкозь зубы. — Но ведь тут были настоящие зверства: здесь убивали стариков, насиловали женщин, сжигали детей… Вы рассказывайте правду, не бойтесь!

Тут настала очередь Лены смерять взглядом корреспондента с головы до ног.

— «Не бойтесь!» — повторила она. — Знаете что, товарищ корреспондент, я вам не советую говорить эти слова липнинцам: люди, которые здесь все лето прожили, давно разучились бояться — и немцев, и бомбежек, да и вас никто бояться не собирается! А в отношении «правды» — я рассказала то, что было на самом деле, а чего не видела и даже не слышала от других, того я не могу рассказывать!. Я вижу, что мои сведения вам не подходят — вам нужны ужасы и зверства — я их не видела, а придумывать считаю лишним!..

Она пошла дальше, а корреспондент остался сидеть на крыльце, провожая глазами стройную фигуру строптивой жительницы разоренного городка.

Впереди по дороге показался столб дыма. Сперва Лена подумала, что это опять горит какой-нибудь дом, но подойдя ближе, она увидела, что это не пожар: на площали, на развилке Пролетарской и Заводской улиц пылал большой костер — горели белые березовые кресты с немецких могил, а неподалеку от костра несколько красноармейцев саперными лопатками старательно разравнивали могильные холмики.

У Маковых оказалась гостья — Евдокия Николаевна Козловская; она была в платье Анны Григорьевны и с мокрой головой, которую, видимо, только что вымыла.

— Все наши возвращаются! — радостно воскликнула она при виде Лены. — Где же вы пробыли это время? Я вас в Маркове ни разу не видела…

— Я здесь была, — ответила Лена. — С ними вместе! — Она показала глазами на Марусю и Анну Григорьевну.

— Здесь, в плену? Значит, и вам пришлось пережить весь этот ужас? Как вы только живы отсались? Я ведь тоже чуть-чуть не попала в плен, еле успела убежать!..

Евдокия Николаевна, которая с великим трудом и хлопотами отправила из Липни и окрестных деревень три эшелона с детьми и матерями, сама оставалась в городе до последней минуты, и ушла пешком вечером семнадцатого июля, когда уже весь город горел. Школьный дом, где она жила, загорелся одним из первых, она даже не смогла зайти в свою квартиру и что-нибудь взять, и ушла в одном платье и жакетке, подгоняемая немецкими снарядами.

Странствуя по лесам и деревням, без теплой одежды, без пищи и без денег, она наверняка пережила не меньше, а больше ужаса, чем те, кто оставался в Липне, но о своих личных невзгодах она вообще никогда не думала и не говорила.

— Как много народа, оказывается, было в плену! И какое счастье, что наконец вас освободили! — говорила она, восторженно блестя глазами. — Только, как подумаешь, что и Днепровск, и Мглинка, и вся Белоруссия и Украина — все ще занято фашистами — страшно становиться!.. Пока удастся освободить, там все могут погибнуть!..

— Це-елы будут! — протянула Анна Григорьевна и осеклась, поймав быстрый взгляд Маруси.

— Как, уже второй час! — воскликнула вдруг Евдокия Николаевна, взглянув на висевшие на стене ходики (свои ручные часы она променяла в деревне на картошку). — Мне надо бежать: в два часа назначено партсобрание…

— У вас же голова мокрая!

— Что же поделаешь? Нельзя же не пойти!

Она натянула на плечи свою выгоревшую и уже заплатанную жакетку со «Знаком почета», повязала мокрые волосы косынкой, которую ей сунула в руки Маруся, и ушла на собрание.

— Ночевать к нам приходите! — крикнула ей вдогонку Анна Григорьевна.

— Золотой человек! — задумчиво проговорила Маруся, глядя вслед Козловской. — Лучше ее я никого на свете не втречала и, наверное, никогда не встречу!.. Святая!.. если только могут быть святые коммунисты… Но нам с ней приходится держать язык за зубами, а то мама ей тут брякнула про немцев, про тех — помнишь? — наших домашних, что они были хорошие люди… она так и вздрогнула вся, будто обожглась… Правда, промолчала, но ведь она у нас ночевала и ела, и мамино платье на ней было

надето, а то, может быть, она и сказала бы что-нибудь…

— Маруся! — крикнула Анна Григорьевна, выглянув в окно. — Сережа идет, газеты тащит, целую кипу…

— Что это за Сережа? — поинтересовалась Лена.

— Содат один, обещал нам газет принести…

— Не солдат, мама, а младший сержант!.. Не понижай его в чине — он очень гордится своим сержантством.

— Хороший мальчик! Добрый такой, внимательный!.. — у Анны Григорьевны все мальчики были хорошими, без различия национальностей.

— Здравствуйте! Вот вам газеты, и новые, и старые, все, какие нашлись, — с этими словами вошел в дом небольшого роста рыжеватый младший сержант с большой кипой газет в руках.

— Вот, спасибо, Сережа; а то мы тут от жизни отстали, ничего не знаем, что на свете делается.

Маруся и Лена принялись разбирать газеты, а младший сержант Сережа на кухне сунул Анне Григорьевне полбуханки хлеба и маленькую баночку консервов.

— Это вам, а то ведь у вас тут ничего не достанешь…

— Сереженька, ну зачем ты? Спасибо, милый! Да ты садись!.. Хочешь картошечки?… теплая…

— Некогда, некогда!.. Мне надо бежать… Я только газеты принес, потому, что непременно обещал…

И он убежал.

— Так!.. «Ожесточенные бои на Липнинском направлении»… — перебирала газеты Маруся. — Когда это?… пятого августа… восьмого августа опять «на Липнинском направлении»…

— Давай сначала подберем их по числам, — предложила Лена.

Подобрали. Почти во всех разрозненных августовских номерах различных газет упоминались — когда «ожесточенные», когда простые «бои на Липнинском направлении», перечислялись подбитые танки и орудия, сбитые самолеты и убитые солдаты противника; о числе своих убитых умалчивалось.

В последних числах августа «Липнинское направление» не упоминалось, зато в новых, сентябрьских газетах название маленького городка, которое ранее и в областной-то печати появлялось редко, — красовалось огромными буквами на первых страницах всех центральных газет.

«Победа под Липней!»

«Освобожден старинный русский город Липня!»

«Враги отступили от Липни, будучи не в силах удержать этот коренной русский город!»

«Освобождение Липни — залог победы над врагом!»

«Герои великой битвы под Липней!»

… «Липня! Липня! Липня!»…

— Чего это им вздумалось так Липню прославлять? Будто невесть какой важный стратегический пункт, — пробормотала Маруся.

— Вероятно, этот стратегический пункт — первый, который удалось у немцев назад отбить, — предположила Лена.

Судя по отрывочным данным разрозненных газет, это предположение походило на правду.

Липню прославляли на все лады, сравнивали ее с Бородиным, с Полтавой; в одной газете оказалась даже статья под заголовком «Новый Грюнвальд».

— А, все-таки, Грюнвальд Грюнвальдом, а почему это немцы отступили так тихо?… Что-то подозрительно… — ворчала Маруся.

— А меня больше интересует, почему это русских вздумали вдруг «славянами» величать, и вообще взялись за историю: и Грюнвальд, и Бородино, и Полтава…

— Подюбуйся! — вдруг воскликнула Маруся. — Это моя физиономия в газету попала! Значит, он, все-таки, меня сфотографировал!..

— Кто?

— Да корреспондент какой-то пристал на улице!..

На снимке был кусок Советской улицы, обгорелая коробка дома, где раньше помещался раймаг, и три человеческих фигуры; одна из них, без всякого сомнения, была Марусей Маковой.

— Уж не тот ли это самый корреспондент, с которым я сегодня чуть не поругалась?

И Лена рассказала про свою встречу с корреспондентом. Маруся слушала и одновременно продолжала просматривать газеты.

— … «Рассказывают освобожденные»… что они тут рассказывают?… Слушай! «Слов нет, чтобы передать мою радость, когда я снова увидела на улицах моего родного города, разоренного фашистами, нашу родную Красную Армию!» — говорит жительница Липни Фруза Катковская»… (вот нашел-таки корреспондент себе рассказчицу!)… Слушай: «Целые сорок пять дней мы жили под страшным гнетом жестого врага. Мы не смели выйти на улицу, не смели громко говорить, смеяться. Каждую минуту могли ворваться к нам в дом проклятые фашисты, а от них можно было ожидать самого худшего: они убивали ни в чем неповинных мирных жителей, стариков и маленьких детей, издевались над женщинами для своего развлечения. Мы сидели день и ночь в окопах и боялись выйти, как бы не встретиться с

немцами…»

— Это Фрузка Катковская боялась выйти, как бы не встретиться с немцами? — перебила Анна Григорьевна. — Хот бы уж не врала! Кто-кто, а уж Фрузка-то с немцами встречаться не боялась! К ней фельдфебель наших немцев ночевать ходил и таскал ей всякую всячину, и из-за нее с каким-то Куртом подрался… помнишь, Пауль рассказывал?… У нее каждый день гулянка была, полный бардак!.. От нее немцы не вылазили!

— Мама! Но ведь от нас тоже «немцы не вылазили»!

— По-разному можно не вылазить! У немцев на это нюх тонкий!.. А Фрузка и до войны со всеми крутилась!.. Муж ее — хороший был человек, а она беспутная баба!.. Что там еще про нее написали?

— … «Я не смогла уйти из города…»- продолжала читать Маруся. — «… потому что перед самым приходом немцев вывихнула ногу»…

— Что?!.. Ногу вывихнула?… Фрузка? Да я же ее в первый день, когда немцы пришли, видела, как она муку со склада тащила — мешок пуда на четыре!.. Я еще подумала — как она не надорвется!.. Ну, и горазда врать!

Возмущенная Анна Григорьевна ушла из комнаты.

— Мама рассердилась… это с ней редко бывает… Ну, слушай дальше: «Эти ужасные сорок пять дней показались мне целой вечностью. Но, к счастью, все это позади. Теперь у нас опять наша родная и любимая советская власть! И никогда больше фашистам не бывать в нашей родной Липне!»

— Вот так надо говорить корреспондентам!.. А ты вздумала рассказывать, как мы с немцами тары-бары разводили да песни пели… Эх ты, Аленушка!

Аленушка должна была согласиться, что действительно сваляла дурака с корреспондентом.

Обе погрузились в чтение.

Вскоре вернулась Евдокия Николаевна и сказала, что партсобрание не состоялось.

— А ведь фронт недалеко, — заметила Лена. — Смотрите, вчерашняя газета — бои на Мглинковском направлении.

— Теперь, девочки, недолго ждать! — сказала Козловская. — Наши войска направляются к Днепровску; скоро освободят всю нашу область. А там и до конца войны недалеко…

Как бы отвечая на эти слова, послышался слишком знакомый гул.

— Это немцы летят…

— Нет, нет, это наши, не беспокойтесь!

Евдокия Николаевна пристально вглядывалась в небо,

стараясь убедить себя и других, что летят «наши»…

— Какие там наши!..

Четыре удара подряд заставили домик танцевать, четыре столба дыма и пыли поднялись к небу с соседних огородов…

— Вот тебе и Грюнвальд!..

Когда Лена уже в сумерках возвращалась домой, ее остановили два красноармейца.

— Гражданочка, вы не знаете, где здесь живут такие, что не отступали, а с немцами оставались?

… Не опять ли корреспонденты?…

— Ну, я была здесь при немцах, а что?

— Как бы нам спиртику разжиться?

* * *

Пролетела еще неделя.

За это время Маруся Макова и Лена Соловьева побывали в новом центре района, большом и красивом селе Маркове, куда «отступило» все Липнинское начальство.

Они виделись с начальниками и сослуживцами и восстановились на работе.

Немало пришлось им встретить сочувственных взглядов, и еще больше — косых, и все по поводу их пребывания в «немецком плену». Им разрешили вернуться домой в Липню, куда на днях собиралось перебраться и начальство; но на прощание секретарь райкома Трофимов проводил их словами:

— Если что-нибудь опять будет, не оставайтесь в Липне! Прямо в Марково приезжайте!

Видно, не было у него уверенности в окончательном освобождении Липни, зато Марково казалось крепостью, неприкосновенной для немцев.

Подруги возвращались на попутной машине по Вяземскому большаку. Туда они ехали другой дорогой, через Коробово.

Шоферу-красноармейцу Маруся сказала, что они все лето прожили в Маркове и только теперь едут в Липню.

— Все небось там у вас погорело? — сочувственно проговорил шофер. — Я в Липне был — там одни развалины.

— Нет, наш дом цел! — возразила Маруся. — Мы уже ездили смотреть…

— Ну, что ты врешь? — шепнула ей Лена, когда они уселись в кузове на каких-то ящиках.

— Надоело каждому исповедоваться: «были в плену» да «были у немца»… и смотрят на тебя тогда, как будто съесть

хотят… Этот шофер, может быть, и везти-то нас не захотел бы, если бы мы ему правду сказали…

Лена ничего не ответила.

— На днях мне один капитан опять сообщил, что я «была в плену», — продолжала Маруся, усаживаясь поудобнее на прыгающей по проселочным ухабам машине. — А меня зло взяло, я ему и сказала: не «в плену», а «заграницей»!.. Ну и досталось же мне за эту «заграницу»!.. Еле от него отделалась!..

Деревни Мраковского, Ковалевского и других восточных сельсоветов, мимо которых они проезжали, были в совершенной целости и сохранности: тут стояли дома, жили люди, убирались поля — война еще до этих мест не добралась.

Но вот потянулся хорошо знакомый Лене, когда-то за ней закрепленный Молотиловский сельсовет…

Здесь вместо деревень были пожарища, вместо хат — печные трубы, сиротливо глядевшие в небо…

На самом большаке стояла до войны исключительно красивая по своему местоположению — на горах, под тенистыми старыми деревьями — деревня Климашево.

От этой деревни не осталось не только домов, но даже печных труб: они были превращены в щебенку; вся земля была перекопана траншеями и воронками, завалена железом, таким покореженным, что трудно было догадаться, чем именно первоначально было это железо; от деревьев кое-где остались расщепленные в мочалку пни…

А внизу, у самой дороги, стоял небольшой, метра три длиной, кусок забора из штакетника и запертая на маленький замок калитка; по какой неизъяснимой прихоти войны они уцелели, трудно было сказать.

Так вот он где был — фронт.

Машина миновала несколько выжженных деревень и въехала в город.

Маруся застучала кулаками по кабинке; шофер затормозил, девушки спрыгнули, поблагодарили его и пошли.

Около переулка, где находился Маковский домик, Лена хотела было проститься и идти дальше, но Маруся и слушать не стала.

— Пожалуйста, не выдумывай! Кто там тебя дожидается? Пьяный Титыч? Пожаров за это время не было; немцев нет, по хатам никто не шарит, так что твое барахло цело, никуда не денется… Идем к нам!

Анна Григорьевна была дома одна.

— Вот и дочки мои приехали! (она уже и Лену зачислила к себе в дочки). А я как чувствовала, щей свежих наварила полный

котел, картошки… Садитесь обедать!..

После обеда и долгих рассказов Лена опять стала собираться домой.

— Я тебя провожу до почты, — сказала Маруся, которая никак не могла расстаться с подругой. — Может быть, письма есть от наших, а то мама все о них беспокоится.

Дощечка с надписью «почта» была прибита к дверям маленького домика напротив обгорелой коробки «Ольховского дома», где раньше помещались почта, телеграф и радиоузел, в котором до войны работала Маруся.

Подруги зашли в помещение новой почты. Там на двух сдвинутых столах навалена была большая куча писем с адресами «Липня» или «Липнинский район»; большинство из них было месячной давности; их привезли из Маркова, потом еще привозили, и все вместе сваливали на эти столы, так как разнести их по адресам было невозможно: в Липне слишком мало людей жило теперь по довоенному адресу.

В этой куче копалось человек десять.

Нашлось письмо Анне Григорьевне Маковой от ее старшей дочери Тони, но письмо это было написано еще четырнадцатого июля в Днепровске; после того сама Тоня побывала в Липне и ушла из нее, и Маруся с Леной безуспешно искали ее в Жарове; с тех пор прошло полтора месяца немецкой власти, и уже третью неделю снова была советская власть, а письмо только теперь прибыло по адресу.

— Пойдем, кажется ничего больше нет!

— Постой! Вот это письмо я возьму! — и Лена протянула руку к желтоватому конверту, на котором стоял адрес: «Днепровская область, г. Липня, Красноармейская 21, Ложкину Афанасию Титовичу».

Девушки вышли из почты и пошли на Красноармейскую, где жила Лена.

— Стой! Ведь Фруза Катковская в этом доме живет!.. Пойдем посмотрим! — и Маруся увлекла Лену на другую сторону улицы.

Они прошли мимо хорошо сохранившегося дома; в открытое окно слышались громкие пьяные голоса: «Фруза Константиновна» Катковская угощала гостей даровым спиртом.

Окно было низкое и через него подруги увидели за столом несколько человек в военной форме и среди них разряженную хозяйку.

— Тот самый корреспондент сидит за столом, — сказала Лена, ускоряя шаг.

— Тот самый? Ну, значит, эта статья — его работа!

Они свернули за угол.

— А!..Михайловна!.. Приехала?… Здравствуй, Владимировна!.. Как съездили? — приветствовал подруг сидевший на своем крыльце Титыч.

После прихода русских он почти перестал пить и со дня на день ждал приезда своей Матвеевны.

— И чего это моя Матрена запропала? — не раз ворчал он. — Пальченковы вернулись, Семеновы тоже приехали… Огурцовы приезжали — видят: хата ихняя сгорела, жить негде, они обратно в деревню подались… а моя все где-то сидит…

— Ну, Титыч, радуйтесь — вам письмо! — сказала Лена, подавая старику конверт.

— Чего пишут-то? Живы?

— Не знаю, — читайте!

— Чего ж ты, Михайловна, не поглядела?

Он разорвал конверт, вынул письмо, отнес его подальше от глаз и покачал головой.

— Не разберу!.. Читай ты, Михайловна, у тебя глаза молодые… Ничего не вижу без очков, а очки-то, видать, старуха с собой увезла: нигде их найти не могу… Читай!

Началось чтение.

… «На первых строках моего письма», — писала дочь Титыча Наталья Афанасьевна. — «спешу сообщить вам, папаша, что мы все здоровые: и я, и мама, и Леньчик, и Любочка, и шлем вам наш сердечный привет. Также привет Леночке, и Андреевне, и Кузьмичу, и Захарычу, и Паше, и Насте и всем соседям: желаем вам здоровья и всего наилучшего. Живем мы в колхозе 1-го Мая в Куйбышевской области; живем хорошо, работаем в колхозе. Живут здесь еще Коротченковы и Стригуновы, а еще из Липни тут живет Фарман еврей, что в аптеке у нас работал. Леньчик болел гриппом, но теперь поправляется»…

— Где они живут-то? В какой области? — перебил Титыч.

— В Куйбышевской.

— А далеко это Куйбышевская область?

— Далеко! На Волге.

— Ближе Москвы или дальше?

— Дальше, много дальше, раза в три…

— Чего ж их туда занесло?

— Да вот она пишет дальше: «Приехали мы сюда поездом-эшелоном из Коробова; ехали мы тогда в Дубово, к Соболихе, но нас военные повернули, сказали, что там сильно бьют, и фронт, и немцы подходят, и ехать туда нельзя, мы и поворотились, а у Коробова стали нас бомбить, и коню ногу поранили, и колесо переднее поломали, и очень мы напугались»…

— Ишь ты, напугались! — вставил реплику старик. — А как

нас тут кажинный день гвоздили — это ничего?

… «А в Коробове стоял поезд-эшелон, — продолжала читать Лена. — Там наши были, Липнинские, и Мглиновские, и с Коробова три вагона прицепили, и нас взяли, потому как мы с малыми детьми… А корову мы отдали в колхоз Сталина и бумажку получили, и нам сказали, что если мы вернемся, нам корову дадут»…

— Куда-куда корову отдали? — снова перебил Титыч. — Где это колхоз Сталина?

— Если около Коробова, то это Ракитовка, — ответила Лена. — Всего у нас в районе колхозов имени Сталина целых девять, но в Коробовском сельсовете — одна Ракитовка.

— Отдадут они корову!.. Держи карман!.. Догонят и добавят!..Скоро же они приехать собираются?

… «А вчера нам передали по радио, — продолжала читать Лена. — Что освободили нашу Липню, и что теперь скоро будет наша победа, и фашистов прогонят с нашей родины за границу… Мы приедем домой, как только получим на трудодни, что заработали, а то жалко бросать, все лето работали.»

Далее опять следовали приветы и поклоны всем родным и знакомым, но Титыч уже не слушал.

— Чего они туда заехали? — ворчал он. — Когда им те трудодни отдадут? Не дождешься и до белых мух!.. Корову не пожалели, а трудодни жалеют!.. Это все Наташка: корова-то не ее, ей и не жалко, а моя дура послушала… Раз доехали до Коробова, и сидели бы себе в Коробове, или в Ракитовке в той… А то в Марково подались бы — сколько там наших было! А их понесло к черту на рога!.. Сидели бы тут, и корова была бы цела….

Вечером Титыч опять был мертвецки пьян.

* * *

В двадцатых числах сентября в Липне начались аресты среди тех, кто оставался при немцах. Одним из первых взяли Титыча: старика подвела его пьяная похвальба, что он — помощник бургомистра Розинского.

На следующий день вызвали Лену. Уполномоченный НКВД принял ее в небольшом домике со свежевставленными стеклами.

После установления личности агронома Райзо Елены Михайловны Соловьевой произошел следующий разговор:

— Вы проживали в доме Ложкина Афанасия Титовича? — задал вопрос сотрудник НКВД.

— Да!

— Вы его родственница?

— Нет! Я просто у них квартиру снимала.

— Так!.. Где находится семья Ложкина, вы знаете?

— В Куйбышевской области. От них на днях письмо было.

— Значит, они эвакуировались? А он почему здесь остался?

— Он сперва тоже пошел — они сперва хотели просто в деревню поехать; но потом он вернулся в тот же день, потому что начались пожары: он боялся, что дом сгорит.

— Но его же дом не сгорел!

— Он же не мог знать заранее, загорится дом или нет. Тогда полгорода сгорело.

— А, может быть, он по какой-нибудь другой причине остался?

Лена пожала плечами.

— По-моему, именно по этой: он остался, чтобы охранять свой дом.

— Подумайте!

— Насчет чего?

— Подумайте хорошенько, вспомните, не говорил ли он еще чего-нибудь? — произнес следователь многозначительно.

— Мне он говорил только это.

— Больше ничего не можете вспомнить?

Лена отрицательно покачала головой.

Следователь посмотрел на нее неодобрительно, встал с места, потом опять сел, глядя на допрашиваемую сверлящим взглядом, и сказал неожиданно резки и быстро, слово желая ее ошеломить:

— Ваш Ложкин был старостой!

Но к его удивлению, Лена рассмеялась.

— Ах, вы вот про что? Так он же с пьяных глаз эту чепуху говорил; он все это время ни разу не был трезвым.

— Где же он мог достать водку? Ведь здесь ни один магазин не работал.

— Как где? Со спиртзавода натаскал полную кадушку, и приятели его натаскали, и пили без просыпа; они говорили, что им тогда не слышно бомбежек и не страшно.

— Так, так! Значит, кто же был, по-вашему, старостой?

— Розинский! — смело ответила Лена, знавшая, что Розинский уехал с немцами и его она подвести не может.

— А Розинского вы знаете?

— Только в лицо.

— Почему его назначили старостой?

— Вероятно, потому, что он говорил по-немецки, он был учитель немецкого языка.

Следователь повертел в руке карандаш, немного помолчал, вынул пачку папирос, закурил и протянул папиросы Лене.

— Закуривайте!

— Я не курю! — возразила она.

— Но, может быть, все-таки, закурите?

— Никогда не курила, а теперь, в честь нашего знакомства, закурить? Нет, по-моеиу, ради этого — не стоит…

— Значит, вы говорите, что Ложкин не был старостой?

— Какой из него староста? Разве только над кадушкой со спиртом…

Следователь записал показания Лены довольно правильно, дал ей подписать, поднялся и, видимо, хотел уже ее отпустить, как вспомнил, что не спросил самого главного.

— А вы, гражданка Соловьева, почему не уехали из Липни, когда подходили немцы?

— Не на чем было ехать.

— Но семья Ложкиных уехала? И вы могли уехать с ними.

— Их лошадь и так была перегружена.

— Но вы могли пешком уйти! Многие здешние жители отступали в Марково, в Коробово…

— Знаете, что? — проговорила Лена, глядя ему прямо в глаза. — Я тоже, вроде Ложкина, не хотела свое имущество бросать; хотя я и небогата, я в одном платье оставаться не хотела, как остались те, кто пешком отступал в Марково и Коробово; они теперь по Липне ходят и у нас, неотступивших, старые тряпки выпрашивают, потому что холода приходят, а они голые и босые… А кроме того, я не могла знать, что немцев задержат именно здесь, между Липней и Марковым — я думала, что немцы меня и в Маркове догонят…

— Как видите, не только задержали, но и прогнали немцев обратно и освободили Липню!..

— Вот и прекрасно! Значит, незачем было бегать по Марковым и Коробовым! Можно было дождаться освобождения Липни на месте, что я и сделала.

Следователь не сразу нашелся, что ответить на такой неожиданный аргумент.

В эту минуту над самой крышей с ревом пронесся самолет, раздался свист, затем взрыв, и новенькие стекла со звоном посыпались из окошек на пол.

Следователь вскочил. Привычная Лена продолжала сидеть.

— Ах, черт возьми!.. Тут и убежища-то нет!.. Куда вы здесь прятались? — спросил он Лену совсем другим тоном, чем во время допроса.

— Да, никуда… Некоторые в окопы лазили… а я окопов не

люблю… предпочитаю оставаться на месте.

— Как?.. В доме?.. Ну, что вы, разве можно?!..

Опять раздался взрыв, потом снова послышалось гудение самолета.

— Надо уходить хоть в окоп!.. — он быстро засунул в ящик стола свои протоколы, щелкнул ключом и поспешно пошел к двери.

— Мне подождать вас здесь? — спросила Лена нарочито спокойным тоном.

Он обернулся с непонимающим выражением лица.

— Да!.. Нет, нет, что вы?!.. Идите, спасайтесь, спрячтесь!..

И он выбежал из комнаты.

Лена тоже вышла и пошла домой своим обычным мерным шагом, никуда не прячась и не обращая на бомбежку никакого внимания, даже желая, чтоб она на этот раз протянулась подольше, чтоб необстрелянный, присланный откуда-то из глубокого тыла работник НКВД не передумал и не задержал ее снова.

Несколько дней она ожидала вторичного вызова, но его не последовало. Может быть, следователю было немного совестно за свой страх перед бомбежкой, а, может быть, обстоятельства сложились так, что ему не осталось времени заняться райзовской агрономшей, которая не захотела отступать в Марково.

Титыч исчез бесследно.

* * *

— Маруся! Опять уходят! — тревожилась Анна Григорьевна.

— А что, я могу их удержать? — огрызнулась Маруся. — Пускай идут!.. Хоть не будут со «спиртиком» приставать, да отчеты спрашивать, почему да отчего мы у немца оставались… А то надоело!.. Немцы по кладовкам лазили, а эти в душу лезут!..

— Может быть, и ты пошла бы? — нерешительно проговорила мать. — Тот капитан вчерашний предлагал устроить в госпиталь…

Но Маруся с досадой отмахнулась:

— Чего меня понесет нелегкая?.. Тогда, первый раз, когда про немцев всякие страхи рассказывали, и то я не ушла… А теперь, если немцы опять придут — они, можно сказать, наши старые знакомые… Правда, Аленушка? — обратилась она к Лене, которая сидела в этот день у Маковых с самого обеда.

— Правда-то правда, а у тебя, все-таки, сердце не на месте: злишься чего-то…

— А оттого, что зло берет! Кричали, кричали: «Освободили Липню!», «Победа под Липней!», «Новый Грюнвальд!», «Погонят немцев до самой границы!»… По всему свету раструбили про победу, а сами — пожалуйста!..

Она указала рукой в открытое окно, через которое в надвигавшихся сумерках еще хорошо были видны с горки запрудившие Вяземский большак отступавшие воинские части.

Помолчав, Маруся насмешливо спросила:

— Ведь и тебе Трофимов говорил «не оставаться в Липне, а приезжать в Марково»?… А ты не очень-то торопишься догонять советскую власть…

Лена чуть заметно улыбнулась.

— Мне-то догонять советскую власть, пожалуй, не стоит: я — поповна!..

Маруся вытаращила глаза.

— Какая поповна?

— Самая настоящая! Мой отец был священником в Днепровске, а потом в Родославльском районе.

— Где же он теперь?

— Был выслан в лагерь и там умер.

— Но ведь ты же говорила, что воспитывалась в детдоме?

— Это было позднее. Я даже в двух детдомах была, благодаря этому удалось замести следы, а то… Вот ты, Маруся, только теперь столкнулась с людьми, которые на тебя косо смотрят и в душу лазают, а ко мне еще в детстве в душу лазали и перевоспитывать пробовали… И немало мне пришлось врать и притворяться, и всякую дипломатию разводить… Я была при советской власти наполовину вне закона, потому и не стану ее догонять!.. А ты — активистка, комсомолка…

— Бывшая комсомолка!.. Теперь я тоже вне закона — убедилась за этот месяц!.. Да, видно, и комсомолка-то я была липовая… Раньше я верила во все — и в коммунизм, и в Сталина… А теперь…

Она замолчала, потом вдруг совершенно неожиданно запела:

— «Сталин — наша слава боевая…»

— Ну, еще петь вздумала! Перестань! — завочала Анна Григорьевна, но Маруся не перестала, а, напротив, повысила голос, и на второй строфе к пенью присоединилась и Лена.

… — «Нам даны сверкающие крылья,
Смелость нам могучая дана…»

Подруги пели во всю силу звонких молодых голосов. На западе горела заря, а на востоке клубились по небу тучи, и

сливаясь в сумерках с этими тучами, уходили в даль по пыльной дороге машины, танки, пушки, повозки и — пехота, пехота без конца…

Уходила советская армия, девиз которой был: «За Родину, за Сталина!» и, провожая эту армию, неслись из маленького домика два звонких девичьих голоса:

… — «Сталин наша слава боевая!»…

Окончив одну песню, запели другую, тоже о Сталине:

… — «От края до края, по снежным вершинам,
Где горный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню слагает народ»….

Потом начали вспоминать все песни о Сталине, которые только знали, а их в те годы пелось немало. Они сами не знали, что их заставило петь, может быть, хотелось попрощаться с прошлым, со всем, что было в этом прошлом и хорошего, и горького?..

В их голосах звенела и тоска, и чуть заметная насмешка не то над жизнью, не то над самими собой… Маруся раза два даже выговорила на немецкий манер «Шталин», но потом перестала…

Совсем стемнело. Света не зажигали. В комнате ничего не было видно.

По дороге громыхали последние запоздалые машины; слышалась редкая перестрелка и далекий, далекий грохот артиллерии…

… «Сталин наша слава боевая!»….

На следующий день, первого октября 1941-го года, ровно через месяц после своего отступления, немцы снова вошли в Липню — на этот раз без боя.

Глава 7
Самое страшное

Октябрьский ветер сдул с деревьев листья и прикрыл ими пожарища. Осень была холодная, но сухая, даже пыльная.

В один из ясных ветренных дней, вскоре после того, как советская власть вторично ушла из Липни, Лена, проходя по улице, увидела большую группу людей, которые напряженно всматривались вдаль, в сторону Вяземского большака, уходившего на восток. Заметив среди этих людей Пашу, Самуйленчиху и еще нескольких знакомых женщин, Лена подошла к ним.

— Не разглядишь, немцы идут или еще что… — проговорила, заслоняя глаза от солнца, высокая старуха.

— Может, скот гонют? — предположила другая, маленькая и толстая.

— Да, какой там скот!.. Люди идут…

— А шинели-то как у наших, не немецкие… У немцев шинели зеленые, а эти рыжие…

— Пленных гонют, бабочки, пленных! — в толпу штопором ввинтилась маленькая, кругленькая, еще молодая «бабочка» со вздернутым носом, несмотря на осень густо покрытым веснушками. — У нас в Завьялове вчера гнали тысяч, наверное, десять… или двадцать… страшные, черные… говорят, их вторую неделю гонют, и ничего есть не дают…

— Как можно, чтобы есть не давали?… Немцы добрые, они и нам супу дают и хлеба, — заспорила худая баба с ребенком на руках.

В ответ послышались голоса:

— Добрые они, когда спят!..

— Дадут они хлеба, дожидай!..

— Догонят и добавят!..

— Сами по дворам ходят: «млека, млека, яйки, яйки»…

— А вот же дают! — доказывала баба с ребенком. — У меня все погорело, живу у людей… у нас по соседству кухня немецкая… я туда кажный день хожу… пойду с котелком, повар и нальет… суп у них густой, хороший… и хлебца давали, и конфет детям…

Но ее никто не слушал; все смотрели на медленно приближавшуюся огромную толпу.

Вскоре не осталось никаких сомнений в том, что Завьяловская бабенка была права: через город гнали пленных,

именно «гнали», а не вели…

По бокам шли немногочисленные немецкие солдаты, с автоматами за плечами и толстыми палками в руках, а в середине — темная туча людей, оборванных, грязных, страшных…

Почерневшие лица, покрытые толстым слоем грязи, глаза, сверкающие голодным волчьим блеском, у многих — повязки, бурые от засохшей крови… Кто в шинели, кто в гимнастерке, кто в одном белье, большинство босые; шли они, шатаясь от слабости, как пьяные, некоторые держались под руки, поддерживая друг друга…

— Лос!.. Лос!.. Раус!.. Аб!.. Цурюк!.. — резкими голосами кричали конвоиры, замахиваясь палками то на пленных, то на подходивших к ним слишком близко женщин…

— Тетеньки!.. Мамаши!.. Хлебушка!.. Десятый день не евши!.. Хотя бы напиться!.. Воды дайте!.. — послышались из колонны хриплые голоса.

Высокая девушка в пестром платочке, с двумя полными ведрами воды на коромысле, решительно подошла к пленным.

— Эй, пан! — обратилась она к ближайшему немцу. — Пустика, я им воды дам!.. Воды… пить…

И она знаками показала, что она хочет сделать.

Невысокий рыжеватый солдат остановился, как бы раздумывая; потом посторонился и подпустил ее к колонне.

Тут началось нечто невообразимое.

Пленные бросились к воде; несколько человек припали к ведрам, другие полезли через их головы с кружками и котелками, третьи наперли сзади. Обезумевшие от голода и жажды люди с хриплыми криками и руганью лезли друг на друга, били своих же товарищей, боясь, что им не достанется воды… Одно ведро опрокинули, разлили и затоптали ногами, другое подняли над головами и пили из него, толкаясь, вырывая из рук, расплескивая драгоценную воду… Один красноармеец лизал языком мокрое дно ведра, другой сосал облитый в свалке рукав собственной шинели, третий упал на колени и ладонями пытался собрать с земли вылитую воду сместе с грязью…

Вся это неразбериха длилась всего одну минуту — во вторую налетели немцы.

Криками, ударами палок по головам они хотели заставить сбившихся в кучу пленных идти дальше, но безуспешно: свалка продолжалась, хотя воды уже не было ни капли.

Тогда высокий худой немец с погонами фельдфебеля крикнул что-то, конвоиры быстро отскочили в сторону, и высокий дал в упор из автомата три очереди подряд…

Два немца с палками встали около бесформенной кучи тел,

не подпуская к ней никого, пока пленные медленно двинулись дальше.

Колонна шла или, вернее, ползла по городу, и конца ей не было видно; вероятно, прошло более десяти тысяч человек…

Один из пленных, обессилев, упал ничком, и конвоир тут же прострелил ему затылок; через несколько минут упал другой, и тоже был застрелен…

Потом послышались крики и выстрелы на другой стороне улицы: двое пленных, видимо, более сильные, чем их товарищи, бросились через поваленный забор в разросшийся сад; обоих пристрелили в кустах смородины…

Наконец, показался хвост колонны; последние, самые слабые, еле тащились, держась друг за друга. Немец, замыкавший колонну, был без палки; он с деловитым видом держал нагатове автомат, и почти ежеминутно короткий сухой треск извещал, что еще один человек упал в изнеможении на пыльную землю, и уже никогда больше не встанет…

Колонна прошла.

На всем ее пути, через каждые двадцать-тридцать шагов как мешки лежали тела, почти все ничком, уткнувшись лицом в землю, а на углу Красноармейской и Пролетарской улиц лежало друг на друге одиннадцать русских солдат и красивая девушка в пестром платочке, которая хотела своими двумя ведрами напоить десять тысяч изнемогших от жажды и голода людей. Одно из ведер было раздавлено в лепешку, другое откатилось в сторону и лежало на придорожной траве; последняя струйка воды, вытекая из него, провела в пыли темную дорожку к буро-красной луже крови из-под мертвых тел…

Лена стояла на пригорке, притиснутая к забору, и через головы женщин смотрела; глаза ее были широко раскрыты, и в них в первый раз за четыре месяца войны отразился ужас…

Она умела шутить, смеяться, работать и даже спать, когда кругом грохотали разрывы бомб и пылали пожары, но то, что пришлось ей увидеть сегодня, было самым страшным…

Через два дня к Липне опять подошла большая колонна пленных. Уже темнело. Пленных загнали ночевать на территорию полуразрушенного кирпичного завода.

Утром колонна ушла дальше, сильно поредевшая; заметив это, несколько конвойных вернулись на место ночевки…

В развалинах обжигательной печи, в кладках кирпича, в глиняных ямах, в кучах угля и шлака они нашли спрятавшихся более ста человек…

Их окружили и под конвоем привели на Красноармейскую улицу, на пожарище, напротив дома Ложкиных.

Лена, услышав шум, подошла к окну и не уходила от него, смотря теми же расширенными глазами, какими она смотрела на растрелянную девушку с ведрами и тех, кого эта девушка хотела напоить.

На пожарище стоял большой сарай. Прежде здесь был дом ветврача Калинова; ветврач с семьей уехал, дом сгорел при первом обстреле, а сарай уцелел.

В этот-то сарай и загнали немцы своих пленных беглецов и, став в дверях, строчили из автоматов в темную внутренность сарая до тех пор, пока стиснутая в нем толпа не затихла и не перестала шевелиться.

Покончив с этим делом, конвоиры посидели на уцелевшей в Калиновском саду скамеечке, отдохнули, выкурили по сигарете, нарвали большие букеты отцветающих, но все еще пышных ярко-розовых флоксов и отправились скорым шагом здоровых и сытых людей догонять свою еле ползущую колонну.

Лена тихо отошла от окна.

После этого прошло несколько дней. Стояла теплая погода бабьего лета, и запах гари с угаснувших пожарищ отступил перед другим — тяжелым запахом разлагающихся трупов.

Несколько пожилых немцев из какой-то хозяйственной части пошли по домам собирать местных жителей на «работу».

На Калиновском огороде была вырыта огромная яма; в нее бросали друг на друга собранных со всего города, начинающих разлагаться мертвецов…

Когда среди многих живых людей появляется один мертвый, ему уделяют много внимания: его оплакивают, его убирают и наряжают, укладывают в гроб, торжественно провожают на кладбище — иногда с молитвой, иногда со знаменами и музыкой… некоторые даже бояться его…

Но когда мертвых оказывается слишком много — порою больше, чем живых — страху и почтению не остается места; покойников уже нет — есть трупы, их тащат за ноги, швыряют в ямы, стараются как-нибудь поскорее от них избавиться, чтоб они не отравляли воздух…

Когда сарай опустел, под горой трупов были обнаружены два живых человека.

— Вег!.. Нах хаузе!.. — крикнул наблюдавший за работой седой немец, показывая знаком «уходи!».

Один из живых, более сильный, смог пойти и скрыться за первым же углом, другой, раненый и истощенный, сделал несколько шагов, зашатался и упал; к нему подошел Марк Захарович Иголкин, поднял его и повел в свой дом. Немец отвернулся.

Пленные шли каждые два-три дня, все такие же голодные и измученные, их гнали без пищи, они падали без сил, их пристреливали…

Некоторые падали нарочно, притворяясь вконец обессиленными, чтоб их пристрелили и избавили от этой муки; многие пробовали бежать в кусты, огороды, развалины — их преследовали, и мало кому удавалось уйти…

И конца не было видно страшным колоннам голодной смерти…

В народе говорили, что сдалась в плен полностью армия маршала Тимошенко, но никто и ничего не знал достоверно…

Многоликая война повернулась своим самым страшным ликом…

Но в самую темную ночь привыкший глаз начинает различать предметы, у самых отъявленных негодяев бывают добрые минуты, в самом безвыходном положении человеку свойственно искать и находить выход…

Для многих обреченных нашелся выход, причем самый неожиданный.

Началось это где-то в деревне: одна из местных женщин узнала среди пленных своего мужа и бросилась к конвоирам, доказывая, что «это мой»…

Немцы отдали ей мужа.

И вот быстроногая молва, опережая медленно двигающиеся колонны, возвестила матерям и женам, что «своих» отдают…

И сотни баб встречали пленных в надежде найти мужей, сыновей, братьев; а когда своих не оказывалось, они нередко опознавали первого попавшегося и уводили домой к себе…

Некоторые конвоиры, более добросердечные, воспользовавшись каким-то мимолетным указом не слишком высого начальства, распускали по домам уроженцев той местности, через которую они проходили, и нередко под видом местных ухитрялись уйти из колонн уроженцы Сибири и Кавказа, Москвы и Дальнего Востока.

* * *

Снова шла колонна пленных.

На это раз был дождь; полураздетые, мокрые, босые пленные шлепали по холодным лужам.

Лена Соловьева не раз за эти дни слышала от соседок рассказы о том, как многие женщины выручали из плена совершенно незнакомых людей, выдавая за своих родных.

И в этот день она вышла на улицу, навстречу колонне, со смутным намерением тоже кого-нибудь выручить.

Но когда перед ней опять замелькали почерневшие лица и сверкающие голодные глаза, она растерялась: можно взять только одного, но кого выбрать из тысячи?

Некоторые пленные, как только отдалялись конвоиры, сами просили всех встречных женщин: «тетенька, сестрица, помоги — скажи, что «мой», что тебе стоит?»…

Но Лена подумала, что этих возьмут и без нее — надо спасать того, кто не просит, не набивается: таким труднее…

Но пока она раздумывала, из толпы послышался голос, показавшийся ей знакомым:

— Леночка!

Она обернулась.

Прямо к ней, поперек движения колонны бросился человек, вернее, хотел броситься: его слабость была так велика, что, изменив механическое движение вперед и свернув вбок, он чуть не упал и удержался на ногах, только ухватившись за шинель товарища; на него коршуном налетел немец с палкой.

Но Лена уже узнала пленного и, не теряя времени, подбежала к нему, крепко обняла и поцеловала, стараясь возможно естественнее разыграть встречу с близким человеком; она почувствовала, что он, чтоб не упасть, всей тяжестью оперся на ее плечо.

Немец опустил палку.

— Дас ист майн манн, — сказала Лена твердо.

— Ди фрау канн дейч шпрехен? — улыбнулся конвоир.

— Я, я! Дас ист унзер хауз! — она показала на Ложкинский дом.

— Гут, гут!.. Аб!.. Нах хаузе! — весело крикнул немец и, послав Лене воздушный поцелуй, пошел дальше.

Под огнем завистливых взглядов его товарищей Лена оттащила обессиленного пленного на тротуар.

— Прощай!.. Теперь цел останешься!.. Повезло человеку!.. — послышались ему вдогонку голоса.

Лена ввела неожиданного гостя в свою квартиру и, закрыв дверь на щеколду, бросилась к окну, за которым слышалось резкое лающее «Аб! Аб!».

Ей хотелось теперь, чтоб колонна обреченных скорей прошла мимо; ей казалось, что, хотя один конвоир и отпустил пленного, но какой-нибудь другой, выше его чином, может ввалиться в дом и выгнать обратно или попросту пристрелить отпущенного. Но, как на зло, пленные все шли и шли, и конца им не было видно.

Наконец, хромая, держась друг за друга проковыляли

последние, самые слабые — те, которым суждено было вскоре валяться на обочине дороги…

Промелькнула за окном пилотка последнего конвоира.

Тогда Лена со вздохом облегчения отвернулась от окна и взглянула на человека, которого она только что выручила.

Он сидел на самом краю большого горбатого сундука, опершись кулаками в колени, в неловкой напряженной позе, которую ему, видимо, не под силу было переменить; глаза его смотрели прямо перед собой в одну точку.

Этот невероятно худой, грязный, оборванный, обросший темной бородой, еле державшийся на ногах человек был — Николай Сергеевич Венецкий.

Лене вдруг стало неловко: она вспомнила, что по существу была с ним почти незнакома… Она тряхнула головой, стараясь отогнать эту неловкость — не все ли равно?.. Ведь другие женщины брали из колонн совершенно незнакомых людей, а комедия, разыгранная ею перед немецкими солдатами, ни к чему не обязывала.

— Я сейчас затоплю плиту, сварю картошки, — сказала она и принялась за хлопоты: сперва побежала в сарай за дровами, потом полезла под пол за картошкой, затем оказалось, что мало воды, и она пошла с ведрами к колодцу.

Только, когда в плите уже пылал огонь, а на ней стояли два чугунных котелка — поменьше с картошкой и побольше с водой для мытья, она снова подошла к своему гостю, который по-прежнему сидел на сундуке.

— Сейчас картошка сварится, вода нагреется — помоетесь и покушаете, — сказала она, чтобы как-нибудь начать разговор.

Николай медленно перевел на нее свой оцепеневший взгляд и, в первый раз после прихода в дом, пошевелился и приподнял руку.

— Простите меня, Елена Михайловна! — тихо проговорил он виноватым тоном и попытался улыбнуться. — Я вам… столько хлопот наделал… Я даже не знал, куда они нас ведут… привели в какой-то погорелый город…. я не сразу узнал его… вдруг увидел нашу стройку… льнокомбинат… и понял, что это Липня… я стал смотреть по сторонам, искать знакомых… никого не было… Я подумал, что Липня — это последняя надежда… если здесь не удастся уйти — тогда конец… А тут вы стояли на улице… я позвал… Простите меня!..

— Очень, очень хорошо сделали, что позвали! Я вас могла не узнать, — сказала Лена. — Уйти удалось, теперь надо вас переодеть, только я не знаю, во что…

— Не надо!.. Не затрудняйтесь!.. Спасибо!.. За все спасибо!..

Что не побоялись сказать немцам, что я… Больше ничего не надо!..Я постараюсь добраться домой…

Он встал, сделал два шага, пошатнулся и схватился за стену, чтоб не упасть.

Лена подбежала, подхватила его и с силой посадила опять, на этот раз на стул.

— Никуда вы не пойдете!.. Вас в этой шинели, да еще такого страшного, первый же встречный немец стащит в комендатуру… Вас надо переодеть, превратить в гражданского человека.

— Тогда… может быть, вы сможете дать знать моей жене… она принесет мне, во что переодеться… мы жили на Второй Зареченской, дом двенадцать…

— Все три Зареченские улицы почти полностью выгорели — не думаю, что ваш дом уцелел. А ваша жена, насколько я знаю, эвакуировалась еще в июле… Я сама поищу, во что вас переодеть. А пока — мыться, есть и спать!.. А там — утро вечера мудренее!

Венецкому пришлось подчиниться столь категорическому приказу своей избавительницы.

— Сразу не отмоешь всю гефангенскую грязь! — попробовал пошутить он, садясь за стол после мытья, в старых брюках Титыча, извлеченных со дна горбатого сундука, и в собственной Лениной трикотажной майке, сиреневой, с черными рукавками и воротником.

Ужин состоял из горячей вареной картошки с толченым льняным семенем: анархия изобилия в Липне давно кончилась, наступала анархия нужды и нищеты; но Николаю казалось, что он никогда в жизни не ел ничего вкуснее этой картошки….

Через час он уже крепко спал.

Лена в сумерках несколько раз подходила к спящему и вглядывалась в его исхудавшее, измученное лицо.

Этот мало знакомый человек, сегодня спасенный ею, неожиданно сделался ей особенно дорогим и близким, хотя еще накануне она даже не вспоминала о его существовании.

Потом она легла и вскоре тоже заснула.

Ночь прошла спокойно.

Утром следующего дня шинель пленника, при содействии оборотистой Паши и ее свекра Захарыча, была обменена на старый ватный пиджак и кепку.

Венецкий после картошки и спокойного сна в теплой комнате почувствовал себя гораздо крепче и решил пойти на Заречье, выяснить судьбу своей семьи и квартиры.

Лена отправилась с ним вместе, что оказалось очень кстати, так как на мосту пришлось объясняться с патрульным немцем, которому вздумалось их остановить.

— Ведь учил же я в школе немецкий язык — а хоть бы что-нибудь в голове осталось! — с досадой проговорил Венецкий, когда мост и немецкий часовой остались позади. — Что он у вас спрашивал?

— Да так, всякую ерунду!

— Нет, не еренду!.. «Кригсгефангене» — это и я понимаю, «манн» — тоже… Он догадался, что я — пленный, и вам опять пришлось меня в мужья записать?

— Ну, и записала!.. Он же не будет проверять… Лишь бы отвязался!..

Они свернули на Вторую Зареченскую.

Улица выгорела вся целиком. От дома, где раньше жил Венецкий, оставалась только печка с трубой.

Николай прошел на пожарище, обошел вокруг печки, зачем-то заглянул в черную топку, копнул ногой кучу золы, из которой торчал искривившийся остов железной кровати, и медленным шагом вернулся к своей спутнице.

— Вот и дом! — сказал он, низко опустив голову. — Не у кого даже спросить, живы ли мои…

— Пойдем в те хаты: может быть там соседи что-нибудь знают.

Лена указала рукой на три уцелевших домика в переулке.

Не успел Венецкий переступить порог первого из домиков, как его встретила маленькая толстая старушка.

— Сергеич!.. Голубчик!.. Да вы живой!.. Худой-то какой, страх глядеть!.. Садитесь!..

Это была его бывшая квартирная хозяйка Васильевна.

— Не знаете, где мои? — спросил Николай.

Васильевна вдруг смутилась.

— Уехали они… с эшелоном уехали… и мы ехали тогда с ними… только…

— Что только?

— Разбило наш эшелон бомбежкой за Коробовым… Мы-то в заднем вагоне ехали, мы целы остались… жили в деревне… а как и туда немцы пришли, мы в Липню обратно и воротились… а тут все погорело без нас… ни дома, ничего нет… хорошо еще, что Пахомовы нас пустили…

— А мои где?… Миша?…

Васильевна молчала.

— Да говорите же, не тяните! — взмолился Венецкий. — Что с ними случилось?

— Убило Мишеньку вашего, — тихо сказала старуха. — Головку ему оторвало и ручку… а сам был в синенькой рубашечке…. так тельце отдельно лежало… Такой мальчик был

хороший!..

Она вытерла слезы передником.

Лицо Венецкого окаменело.

— А Валентина? — спросил он глухо и равнодушно.

— Уехала она, уехала на машине с военными… Сперва все плакала, а потом подхватила чемодан — и на машину!.. и Мишеньку хоронить не осталась… торопилась очень… боялась… мы Мишеньку уж без нее закопали…

— Спасибо, Васильевна! Прощайте!..

Он вышел на улицу. Лена, стоявшая у двери во время всего разговора, последовала за ним.

— Куда же теперь деваться? — сквозь зубы проговорил Николай.

Лена взяла его за руку.

— Идемте назад! Пока побудете у меня, а после придумаем, что делать дальше.

— Вас потянут в комендатуру за то, что вы прячете пленного!

— Чепуха! — Лена махнула рукой. — А если и потянут — я их не боюсь!.. К тому же, вы здешний гражданин и имеете все права на проживание в Липне…

Идем!

Когда они шли обратно через мост, немец приветствовал их, как старых знакомых, трудно переводимым выражением:

— Маль цайт!

* * *

Глава 8
Гражданские дела военного времени

.

По Липне прошел слух: агрономша Ленка Соловьева приняла к себе «в зятья» Венецкого.

Никто этому не удивлялся: очень многие женщины в городе и в деревнях принимали пленных «в зятья» или, вернее, в мужья.

Среди этих «зятьев» бывали люди всех национальностей и областей: сибиряки, москвичи, украинцы, грузины, татары…

В данном случае разница была только в том, что Венецкий жил в Липне еще до войны, и все знали и его самого, и его прежнюю жену.

Но знали так же, что эта жена уехала из Липни и не возвращалась, и все считали вполне в порядке вещей, что теперь у Венецкого другая жена, раз эта другая сумела его взять из колонны пленных.

У других зятьев тоже в большинстве случаев были, как говорилось, «родные» жены, а у принявших их женщин были в Красной Армии или еще где-нибудь «родные» мужья — но все это было за границей фронта, в другом мире.

В маленькой, отрезанной от всего света Липне почта не работала, газет не было, радио молчало; и что творится на свете, как развертывается война, где фронт, где русские, где немцы — никто ничего не знал.

Знали только, что фронт откатился далеко на восток, бомбежки прекратились, артиллерии не было слышно; колонны пленных тоже больше не появлялись.

Лена и Маруся не раз пробовали что-нибудь узнать у немцев, но те давали самые противоречивые сведения.

В городе ни одно предприятие не работало; торговли не было с самого июля. Люди жили тем, что копали свою и чужую картошку; у некоторых еще сохранились запасы времен первого фронта, к другим уже подбирался голод.

В двадцатых числах октября в притихшей Липне, через которую за три месяца прокатилось три фронта, наконец были сделаны первые попытки отрегулировать гражданскую жизнь.

Немцы ходили по домам и приказывали всем мужчинам явиться на собрание к комендатуре, которая помещалась в здании школы-десятилетки. Многие женщины тоже пошли, хотя их и не приглашали, некоторые — именно потому, что не приглашали, из

духа противоречия.

Когда на улице перед школой собралась большая толпа, на крыльцо вышел немецкий офицер, рыжеватый блондин средних лет и среднего роста, в сопровождении чернявого парня в немецком солдатском кителе без всяких нашивок; парень оказался переводчиком.

— В городе установлена германская власть!.. Все жители должны подчиниться комендатуре!.. — немец говорил высоким резким голосом отрывистые фразы, переводчик повторял их на плохом русском языке, без всякого выражения, по-видимому, совершенно не думая о смысле слов.

— Все жители, имеющие оружие, должны немедленно сдать его в комендатуру!..Кто будет хранить оружие, будет расстрелян!.. Население должно содействовать германской армии!.. Кто окажет сопротивление германской армии, будет расстрелян!..Кто будет скрывать советских солдат, будет расстрелян!.. Кто будет скрывать евреев, будет расстрелян!..

— Вирд эршоссен, вирд эршоссен! — шепнула на ухо Лене оказавшаяся с ней рядом Маруся Макова. — Я уже вызубрила, как по-немецки «будет расстрелян»…

— Обогащаешь словарь?

— А что? Теперь время военное, как раз такое слово может понадобиться… Постой, что он говорит?

— Все жители должны явиться в комендатуру со своими документами, чтоб получить аусвайс… это… — переводчик замялся, подыскивая нужное слово. — Ну… паспорт… кто не будет иметь немецкий паспорт…

— Вирд эршоссен! — шепотом подсказала Маруся.

— … Будет расстрелян!..

— Патронов не хватит всех расстреливать! — буркнул кто-то в толпе.

— Кабы такая гроза да к ночи! — добавил местную поговорку другой.

— За паспорта взялись, а то мы уже позабыли, какие они бывают — паспорта…

Комендант и переводчик продолжали:

— Выдача паспортов начнется завтра в восемь часов утра. В городе должен быть наведен порядок… Вечером ходить по улицам воспрещается!..Кто будет ходить по улицам вечером, будет расстрелян!.. Жители должны выбрать бургомистра… Комендант спрашивает, кого вы выбираете бургомистром?

После целого града громовых указов, кончавшихся словами «будет расстрелян», этот демократический вопрос прозвучал так неожиданно, что его не сразу поняли; только, когда комендант,

уже с некоторым раздражением, задал его вторично, в толпе произошло движение.

— Бургомистра?… Это старосту, значит?.. Был же Розинский… Да Розинский уехал… Все равно кого… Пан комендант, вы сами назначайте!..

— Кого вы избираете бургомистром? — в третий раз повторил комендант, в упор обращаясь к группе стариков, стоявших у самого крыльца.

Старики нерешительно топтались на месте.

— Да вот… хоть Сальников пущай будет… — сказал один из них, подталкивая к ступенькам лысого старика с красным носом.

Немец ухватился за первую же кандидатуру.

— Зальников?… Ви ист ди наме? Зальников Петер?… Яволь!.. Зальников Петер золль айн бюргермайстер зайн…

— Зальников Петер будет бургомистром, — перевел чернявый парень, сохраняя немецкое произношение фамилии и имени.

— … Бургомистр будет управлять городом; во всех вопросах он подчиняется германской комендатуре! Жители со всеми нуждами должны обращаться к бургомистру…

— Аллес! — закончил комендант и, круто повернувшись, ушел в здание школы.

Люди расходились по домам, оживленно обсуждая собрание.

— … Ну, и выбрали!.. — слышались голоса. — Это Спиридоныч-то будет городом упроавлять?… Этот науправляет!.. Он же первый пьяница!.. Жулик, каких мало!.. Хотя бы грамотный был человек, а то еле расписаться может… Какой из него староста?… Неужто получше не нашли?…

* * *

На следующее утро, еще затемно, порядочная кучка людей собралась у дверей комендатуры. Одной из первых пришла Маруся.

Этой ночью первый мороз сковал большими глыбами грязь на улицах; в воздухе порхал легенький пушистый снежок.

Дверь комендатуры была закрыта. Прошел час, медленно потянулся второй, но немцы не подавали признаков жизни.

— Вот тебе и «ахт ур ам морген», — бормотала Маруся, ежась от холода и постукивая одной о другую ногами в высоких резиновых ботиках. — А еще говорят, что немцы — «пюнктлих»…

В эту минуту из калитки выглянул какой-то немец.

— Кальт? — спросил он не то участливо, не то насмешливо.

— Кальт, кальт! — сердито передразнила его Маруся. — Варум заген: «ахт ур ам морген»?.. Бальд цен ур!..

Немец поднял руку и показал свои часы; на них было без двадцати восемь.

— Дёйче цайт! — сказал он и, повернувшись, пошел обратно во двор.

Маруся охнула.

— Вот так штука!.. Дёйче цайт!..

— Что он сказал-то? Скоро они откроют? — спросила стоявшая рядом старуха в большом сером платке.

— Он сказал: немецкое время; по немецкому времени еще нет восьми…

Ровно в восемь часов по немецкому времени, а по русскому — в десять часов утра, дверь в комендатуру открылась.

В большой комнате за загородкой, на которой была прибита дощечка «Айнганг ферботен», сидело три человека: рыжеватый комендант, немец, который говорил с Марусей у калитки, и чернявый переводчик Конрад.

У загородки выстроилась очередь.

Конрад взял у первой в очереди женщины ее паспорт, долго и внимательно его разглядывал, потом сел и начал что-то переписывать с паспорта на листочек бумаги с напечатанным на машинке текстом.

Хотя листочек был совсем маленький, Конрад возился с ним очень долго, потом разорвал его в клочки, взял второй и снова, пыхтя и сопя, без конца в нем копался; пока он отпустил первую клиентку, прошло добрых полчаса.

То же повторилось со вторым паспортом.

Комендант подошел к трудившемуся в поте лица переводчику, посмотрел на его труды, покачал головой и прекратил работу.

Все три немца отошли в глубину комнаты и о чем-то быстро и неразборчиво говорили.

Немец, подходивший утром к калитке, осмотрел очередь, и взгляд его остановился на стройной фигурке Маруси, которая стояла, небрежно облокотившись на загородку и с явной насмешкой наблюдала все происходящее.

— Эй, паненка, комм сюда! — крикнул немец и сделал ей знак войти за загородку.

— Каннст ду дёйч шрайбен? — спросил комендант, когда «паненка» без всякого стеснения вошла в огороженную немецкую территорию.

Маруся ответила утвердительно.

Тогда ее посадили за стол — переделывать Конрадову работу.

— Конрад не может писать ни по-русски, ни по-немецки! — ворчал комендант.

Это замечание было верным: Конрад, происходивший из поволжских немцев, был малограмотен на обоих языках и нарисовал на листочках такие каракули, что на них страшно было смотреть.

Маруся разглядела бланки немецких паспортов: это были маленькие, даже очень маленькие кусочки бумаги, сделанные из разрезанных плакатов. Видимо, на бумагу был дефицит.

На задней стороне этих бланков были куски рисунков, а на лицевой было напечатано на машинке: сверху — «Аусвайс», ниже графы «Наме», «Фамилиеннаме», «Геборен», «Беруф», «Адрессе»; ниже всего стояла подпись «Ортскоммандант»; графы о национальности, к удивлению Маруси, не оказалось.

— Вас ист дас «Беруф»? — осведомилась она.

Ее калиточный знакомый, которого комендант называл Гансом, достал из шкафа и вручил ей новенький пузатый словарь.

Дело пошло. Вскоре уже было выписано несколько десятков ауйвайсов.

Больше всего возни было с пунктом «Беруф» — Марусе пришлось искать в словаре плотника, печника, уборщицу и целый ряд других профессий, причем искать не по алфавиту, а по догадке, так как словарь был немецко-русский, а не русско-немецкий.

Перед обедом комендант просмотрел пачку уже готовых документов, сказал: «шён» и подписал все подряд, причем фамилию свою ставил не на строчку с наименованием должности, как принято было у русских, а сверху.

В двенадцать часов по немецкому времени Конрад объявил перерыв на два часа и довольно бесцеремонно выпроводил из комнаты человек двадцать, ожидавших очереди.

Затем он взял несколько котелков и собрался на какую-то военную кухню за обедом.

— Фюр медхен аух! — коротко бросил комендант, кивнув в сторону Маруси.

Через четверть часа вернувшийся Конрад поставил перед ней котелок с густым супом и котелочную крышку с желтым пудингом.

После обеда еще было выписано десятка три паспортов.

Маруся усердно листала взад и вперед словарь в поисках «беруфов», но все же без курьезов не обошлось.

Один старик, по фамилии Петренков, сказал, что он парикмахер; слово это звучало настолько «по-немецки», что Маруся не стала копаться в словаре, а просто написала его

латинскими буквами.

Но немцы не поняли этого явно немецкого слова и стали добиваться, что оно значит; Конрада налицо не оказалось, пошли в ход словарь и мимика.

В конце концов, ауйвайс был забракован и порван, а вместо него выписан новый, в котором стояло слово происхождения явно французского: «фризёр».

Стемнело. Толпившимся в коридоре липнинским гражданам было приказано явиться на другой день.

Комендант, фамилии и имени которого Маруся так и не узнала, проверил и подписал последние ауйвайсы — их было выписано за день более сотни.

Затем он собственноручно принес своей регистраторше честно ею заработанную буханку твердого серого хлеба и сказал: «Морген видер хир!»

Затем он приказал своему помощнику Гансу проводить ее домой, так как было уже совсем темно, а со вчерашнего дня ходить в темноте гражданскому населению запрещалось под угрозой расстрела.

Так Маруся Макова, диктор липнинского радиоузла, активистка Дома культуры, бывшая комсомолка, стала первой русской служащей учреждения, которое называлось «ОРТСКОММАДАТУР Липня».

* * *

На следующий день Маруся пришла в комендатуру раньше восьми часов. На улице опять стояла толпа.

Дверь была закрыта, но Маруся, которая уже знала ходы и выходы, прошла через двор.

Убедившись, что дверь на улицу не на ключе, а на задвижке, она открыла ее, впустила замерзших людей и принялась за работу, не дожидая прихода немецкого начальства.

Когда вскоре появился Ганс, работа уже шла полным ходом, и он даже присвистнул от удовольствия при виде усердия и аккуратности русской «шрайберин».

Прием и выдача паспортов продолжалась без задержки. Маруся, когда хотела, умела работать.

Несколько человек явились без всяких документов. Комендант послал их к бургомистру Сальникову, чтоб тот выдал им удостоверения, что они действительно местные жители города Липни.

Через час в руках Маруси оказалось первое такое

удостоверение — грязная смятая бумажка, на которой вкривь и вкось было нацарапано следующее:

«Справка.

Дана сея справка Казлову Мих. Иванчу что он дестивително с Липни и месный и удаставряца.

Ксему бургамис Сальников Петр»

Вскоре поступило еще несколько подобных документов.

— Швайнерай! Зо шмуциге папире! — ворчал себе под нос комендант, но ауйвайсы, все-таки, выдал.

Перед самым обедом в помощь Марусе посадили молоденькую девушку Таню, ученицу десятого класса.

Третья сотрудница набилась сама.

Она пришла сдавать паспорт в роскошном модном пальто и вычурной шляпке, напудренная, завитая, с ярко накрашенными губами.

Среди закутанных, нередко оборванных погорельцев и беженцев ее расфранченный вид резал глаза, но она этого не чувствовала.

— «Пузенкова Лидия Прокофьевна», — прочитала Маруся в ее паспорте. — Ваша профессия?

— Учительница!

Маруся удивленно приподняла брови: кого и чему могла научить эта раскрашенная особа? Вид у нее был совсем не учительский.

На следующий день Лидия Пузенкова пришла за своими документами. Маруся подала ей русский паспорт и немецкий аусвайс, но Лидия не уходила, а упорно стояла и делала ей какие-то таинственные знаки.

Маруся вышла к ней из-за перегородки.

— В чем дело?

— Марья Владимировна! Мне надо с вами поговорить!.. Ведь мы с вами соседи… моя мама хорошо вас знает…

— Так, значит, вы…

У Маруси чуть не слетело с языка «Пузенчихина дочка», но она вовремя удержалась.

Пузенчиха была соседка Маковых, известная на пол-Липни сплетница и скандалистка.

— Чего вы хотите? — сухо спросила Маруся, которой совсем не нравилась новая знакомая.

— Вы знаете, я беженка… у меня ребенок… мы бежали из Днепровска, теперь живем у мамы… мы так бедствуем…

— Да, бедствуешь! — подумала, но не сказала Маруся. — С Пузенчихиными запасами три года прожить можно! Если бы вправду бедствовали — было бы не до мордомазей!..

Сама Маруся употребляла «мордомази» только для выступлений на сцене.

— Но чем же я могу вам помочь, если вы бедствуете?

— Вы не могли бы меня устроить? Вам тут дают немецкий паек…

— Вас вилль ди фрау? — прервал затянувшийся разговор резкий голос коменданта.

— Зи вилль арбайтен бай унс.

— Шприхт зи дёйч?

Но Лидия не знала по-немецки ни единого слова, и вообще, ясно было, что профессию учительницы она узурпировала, тем не менее, она была введена за загородку и посажена за стол.

— Я могу что-нибудь писать по-русски! — говорила она, кокетливо улыбаясь и стреляя глазами по адресу немцев.

Маруся принимала и выписывала паспорта, в это время маленькая беленькая Таня добросовестно переписывала круглым четким почерком громовые приказы, в которых каждый абзац кончался словами: «будет расстрелян»; на одной стороне листа помещался немецкий текст, на другой — русский; приказов этих требовалось заготовить несколько сот экземпляров.

Лидия за весь день переписала два русских текста и один испортила, зато все это время работала языком, рассказывая всевозможные анекдоты и сплетни и, не переставая, атаковала своими взорами то одного, то другого немца.

Перед уходом с работы комендант дал Марусе и Тане по одной буханке хлеба, а новенькой — две.

* * *

В комендатуру явился сам бургомистр города Липни Сальников Петр Спиридонович.

Он низко поклонился, комкая в руках шапку, и попросил «Кондратия Иваныча» (так уже стали величать в Липне переводчика Конрада) сказать коменданту, что пришли полицейские, которых он, бургомистр, навербовал среди горожан.

Комендант пожелал их видеть.

Вошли и выстроились в ряд десять человек в самой разнообразной одежде.

Маруся пробежала взлядом по лицам и увидела несколько знакомых.

Вторым от края справа стоял Матвей Иванович Буянов, слесарь с обозостроительного завода, хороший мастер и неплохой человек, но горький пьяница; рядом с ним Семен Петрович Плющенков, которого вся Липня знала под прозвищем «Свинодер»; он работал на бойне и, кроме того, имел огромную частную практику: все хозяйки приглашали его резать свиней, так как он был непревзойденным мастером операции «под лопатку и в кадушку», и не требовал особенно дорогой платы, лишь бы ему поставили на стол «три пятнадцать» (четвертинку водки) и «жаренку» из свежей свинины.

Следующие были незнакомые…. но крайний слева?… Кто это?… На Марусю смотрели с исхудавшего лица очень, очень знакомые глаза, и в них бегали насмешливые искорки…

Витька Щеминский!.. Откуда он здесь?…

Комендант осмотрел шеренгу.

— Вер ист дер шеф-полицай? — спросил он.

— Кто начальник полиции? — повторил Конрад.

Вперед выступил еще молодой человек высокого роста в черном дубленом полушубке; лицо его было бы красиво, если бы не пьяная одутловатость и, главное, исключительно неприятный, наглый взгляд больших серых глаз навыкате.

«Иван Баранков» — так был записан этот человек в документе, удостоверявшем, что он является начальником липнинской полиции.

Комендант дал всем полицейские удостоверения на немецком языке и белые нарукавные повязки с черными буквами ОД (Орднунг-Динст), пообещал завтра выдать оружие и отпустил их, повторив несколько раз, что их обязанность состоит в том, чтобы следить за порядком в городе.

Виктор и еще один, невысокого роста, коренастый, рыжеватый парень задержались и подошли к Марусе.

— Привет! — сказал Виктор, протягивая ей руку. — Вы, значит, теперь паспортными делами заправляете?

Маруся кивнула головой.

— Оформите-ка мне это дело! — и он подал ей справку, что он, Виктор Степанович Щеминский, является в Липне местным жителем; написана справка была вполне грамотно, четким, с красивыми завитушками, почерком самого Виктора и только подписана Сальниковскими каракулями.

— Без паспорта могут придраться: я ведь из плена… И вот еще дружку моему тоже сделайте!..

Он подал вторую справку, также написанную его рукой, на

имя Константина Петушенкова и указал на своего товарища.

… Кот!.. Знаменитый Кот!.. Вор, не выходивший из концлагерей!.. И этот оказался здесь!..

Когда полицейские ушли, Лидия Пузенкова, беженка из Днепровска, всего несколько месяцев тому назад обосновавшаяся в Липне, но тем не менее, знавшая о липнинцах все мельчайшие подробности, со значительным видом сообщила:

— Знаете, девочки, этот Баранков, который будет начальником полиции, он на самом деле — сын старого Сальникова, потому он его и сделал начальником…

— Почему же у него фамилия другая? — наивно спросила Таня.

— Ах, неужели непонятно? У старика есть жена, и еще была другая женщина… сын записан на фамилию матери… он незаконный, как раньше говорили, но все знают, что это его сын…

— Удивляюсь той женщине! — откликнулась на это сообщение Маруся. — Этот Сальников такой противный, что не поймешь, как с ним и одна-то жена жила, а тут оказывается, у него их несколько штук было…

— Да, да, вы правы! — подхватила с готовностью Лидия. — Он очень неприятный… А этот Иван Баранков, говорят, ужасный пьяница и такой развратный… Знаете, он первую жену бросил с ребенком, другая эвакуировалась, а теперь он живет с какой-то беженкой…

— Вообще, сынок в батю! — сделала вывод Маруся и взялась за переписку грозных «бефелей» на двух языках, так как посетителей больше не было.

Паспортная очередь уже схлынула. Теперь люди приходили поодиночке в течение целого дня и сдавали документы; под вечер комендант подписывал заготовленные Марусей аусвайсы, и на следующий день она их выдавала владельцам вместе с русскими паспортами.

Однажды пришла в комендатуру худая сгорбленная старуха в рваном пальто и, робко оглядываясь, как-то боком подала Марусе свой паспорт.

… «Златкина Рахиль Моисеевна, национальность — еврейка»…

В немецком аусвайсе графы «национальность» не было, и Маруся заполнила бланк, как обычно, но тут в дело вмешалась Лидия.

— Мария Владимировна! Как вы написали? Она ведь еврейка!.. Вы написали, что она еврейка?

— Этого негде писать! — сухо ответила Маруся. — Графы такой нет!..

— Но надо спросить!.. Нельзя же ей выдавать такой же паспорт, как всем нам!.. Она же не русская…

И Лидия бросилась к коменданту, который был в соседней комнате, и с помощью Конрада объяснила, что пришла «юде», и что нельзя же ей давать такой же паспорт, как русским!..

Маруся сидела над паспортами нахмуренная и то краснела, то бледнела; комендант, тоже нахмуренный, явился в обществе Лидии, сияющей от сознания исполненного долга, и потребовал показать паспорт еврейки.

Пришлось подчиниться.

— Юдин? — спросил комендант, внимательно разглядывая фотокарточку старухи.

Маруся молча кивнула головой.

Тогда немец достал из кармана красный карандаш и написал это слово «юдин» крупными буквами, наискось через весь маленький документ.

Глаза Лидии блестели торжеством.

— Вам эта старуха какой-нибудь вред сделала? — злым шепотом спросила Маруся, когда немцы отошли.

— Вред? Нет, никакого… Но ведь она — жидовка! Нам могли сделать замечание, если бы мы пропустили этот паспорт!

Маруся про себя осыпала усердную поборницу чистоты русской расы самыми нелестными прозвищами: шпик, пролаза, подлиза, сплетница накрашенная!.. но сдержалась и вслух не сказала ничего.

Но на следующий день она, все-таки, сумела переложить этот паспорт в другую пачку, выписала Златкиной новый аусвайс и под самым носом Лидии подсунула его на подпись не коменданту, а его заместителю Гансу.

Ни один человек этого не узнал — ни самой старой еврейке, ни своей матери, ни своей лучшей подруге Лене, с которой она была наиболее откровенной, никому на свете Маруся ничего не рассказала.

Глава 9
Правосудие завоевателей

Николай Сергеевич Венецкий, бывший главный инженер и заместитель начальника строительства Липнинского льнокомбината, беглый пленный, беспаспортник, отправился к бургомистру города за справкой, что он — местный житель.

Подходя к новому красивому дому эвакуированного учителя математики Ферапонтова, в который с недавних пор переселился из собственной развалющей хатенки Петр Спиридонович Сальников, Венецкий издалека услышал залихватские переборы гармоники; когда он открыл дверь, на него пахнуло густым запахом спирта, табачного дыма и жареного мяса.

За столом сидело около двадцати человек: тут был сам бургомистр, начальник полиции Иван Баранков и почти в полном составе вся его полиция, три или четыре старика, несколько женщин…

На столе стоял большой, литров на пять, глиняный кувшин со спиртом, деревянная бакдага с самогонкой, сковорода с поджаренным крупными кусками свиным салом, кислая капуста, соленые грибы и огурцы, жареная картошка, холодец, белый хлеб домашней выпечки, пироги и еще какие-то угощения.

Большинство гостей были пьяны.

— Здравствуйте! — проговорил Венецкий, оглядывая разухабистую компанию.

Старик Сальников буркнул в ответ что-то невнятное, а сидевший спиной к двери Баранков повернулся к вошедшему вместе со стулом и расхохотался.

— Глянь-ка!.. Сам товарищ директор пожаловал!.. — он добавил непечатное ругательство. — Что?… Небось кончилась коту масленица?… Раньше в кабинетике посиживал: «я занят!»… «приходите в другой раз!»… «выйдите вон!»… Наиздевались над рабочим человеком, жидовье пархатое!.. — и он опять добавил целый завиток ругани.

Венецкий вспыхнул.

— Во-первых, господин Баранков, я был не директором, а только главным инженером, во-вторых, никогда не был жидом, а, в-третьих, никогда не выгонял рабочих из кабинета… Если вы…

Баранков подмигнул Виктору Щеминскому, державшему на коленях гармонь, и тот со всей силы «резанул» «Катюшу», заглушая слова Венецкого.

Гости вразброд, пьяными голосами подхватили:

… «Выходила на берег Катюша…»

— Отставить! — закричал вдруг Баранков. — Долой советскую песню, туды твою…

И, не дожидаясь гармони, он затянул «Стеньку Разина».

Николай Сергеевич немного постоял на месте, потом обошел вокруг стола и вплотную подошел к Сальникову.

— Петр Спиридонович! — громко проговорил он сквозь пьяные крики. — Мне нужна от вас справка, что я местный житель…

Сальников поднял на него осоловелые глаза.

— Меня… надобе звать… господин… этот… как его?… значит… бур… бургамис…

— Господин бургомистр, дайте мне, пожалуйста, справку! — отчеканивая каждое слово, проговорил Венецкий, еле сдерживаясь.

— Справку?… Какую тебе еще справку?… Ты же коммунист… как я тебе могу дать справку?…

— Я беспартийный — можете спросить кого угодно из рабочих нашего строительства…

— Эти штучки ты брось! — вмешался Баранков. — Мы знаем, какой ты беспартийный!.. Ты коммунист и юда… ты нашу рабочую кровь пил… мы тебя еще повесим, жидовская морда!..

Эти слова почему-то привели в восторг соседку Баранкова, вдребезги пьяную Фрузу Катковскую.

— Всех коммунистов повесим!.. и жидов!.. — бессмысленно хохотала она, раскачиваясь на стуле. — А вы — коммунист, вы — товарищ директор… все товарищи директора — коммунисты… а мы русские… мы вас повесим…

— Не дам справки! — стукнул кулаком по столу Сальников.

Венецкий круто повернулся и вышел, чувствуя, что еще немного — и он не выдержит и не на шутку схватится с нахальными представителями новой власти.

В сенях его остановил маленький старичок, в котором он узнал почтальона, носившего почту и на строительство, и на Вторую Заречную.

— Вы к ним, Сергеич, не так подошли, к начальникам-то нашим, — сказал бывший почтальон. — Вы бы им принесли спиртику, да сальца, выпили бы с ними — вот и была бы вам любая справочка!.. Сухая-то ложка рот дерет…

— У меня нет ни спирта, ни сала! — резко сказал Венецкий.

— Ну, как это «нет»?… Не может быть!.. Вы же теперь с Михайловной, с агрономшей живете? — а она здесь была, в Липне, когда немцы приходили в первый раз… У нее должен быть спирт…

— Нет у нее спирта!..

— Ну, да рассказывайте!..Тогда все, кто здесь оставался, спирт с завода носили… ведрами… Может, она припрятала куда-нибудь?… Вы спросите — неужто она для вас пожалеет?… Вы же ей теперь вроде как муж… А пиджачок-то на вас плохонький… продувает, небось, с непривычки?… Как начальником-то были, пальто у вас хорошее было… Я помню… Ну, да то было ваше время, а теперь другое… От тюрьмы да от сумы, говорят люди, не зарекайся!..

Венецкий не дослушал назойливых соболезнований старика и большими шагами пошел прочь от бургомистровского дома. Внутри у него все кипело.

* * *

— Значит, я была большая дура, что не натаскала спирта, когда это можно было сделать, — сказала Лена, выслушав рассказ Николая об его неудачном визите к «начальнику города». — Я считала, что если я не пью сама этой дряни, то она мне и не понадобится… А теперь достать спирт действительно трудно…

Несколько минут оба молчали. Венецкий с тоской поглядел на окна, которые он только вчера заделал на зиму досками, фанерой и горелым железом, и вздохнул.

Ему очень не хотелось покидать свой приют и идти в неизвестное, еще больше не хотелось уходить от ясных глаз и ласковой улыбки Лены, но не мог же он в благодарность за спасенье подвергать ее опасности.

— Спасибо вам, Леночка, за все, за все! — проговорил он тихо. — Я завтра уйду…

— Это еще зачем? Куда?

— Куда глаза глядят… Без документов мне здесь оставаться нельзя: из-за меня могут придраться к вам, а я этого не хочу… И так вам достаточно неприятностей из-за того, что вы меня приютили…

— Мне никаких неприятностей нет! — возразила Лена.

— А сплетни? Вас уже кумушки за меня замуж выдали…

— Ну, и хорошо!.. Мне гораздо удобнее числиться замужней особой: никто приставать не будет. Мне даже завидуют, что у меня хороший хозяин: и картошку со мной ходил копать, и головешки на дрова заготавливал, и окна заделал…

— Не мог же я сидеть на вашей шее да еще бездельничать!..

— Вот и хорошо! — повторила Лена. — А насчет документов не стоит горевать: я завтра пойду к Марусе Маковой — она

работает в комендатуре и, вероятно, сможет достать вам немецкий паспорт без всяких справок от этой пьяной компании.

Но идти к Марусе не пришлось: на следующее утро она сама прибежала к подруге.

— Ленка! Ты все деревни в районе знаешь? — спросила она, останавливаясь в дверях.

— Знаю!

— Все?

— Кажется, все… А зачем тебе?

— И сельсоветы знаешь?

— Знаю и сельсоветы, и деревни, от всех сведения собирала и сводки составляла, и чуть не во всех деревнях бывала и в посевную, и в уборочную… А в чем дело?

— Идем со мной! Шнелль! Экстренно понадобились все деревни и сельсоветы.

— Кому? Твоему рыжему коменданту?

— Рыжий уже «нах Москау» поехал, только Конрада здесь оставил в наследство… Теперь новый комендант — сельско-хозяйственный… Очень хороший дядька… Фамилия его Шварц, и ему нужен список всех деревень по сельсоветам, и никто ему такой список сделать не может. Собирайся!

* * *

«Сельско-хозяйственный» немец и на самом деле оказался «хорошим дядькой»: лет пятидесяти с лишним, высокого роста, совершенно седой, с некрасивым лицом и умными глазами; он встретил Лену очень приветливо и вместе с тем по-деловому, без всяких, обычных среди немцев, солдатских шуточек и произвел на нее наилучшее впечатление.

Лена обладала исключительной памятью на имена и названия и в течение двух часов сумела составить полный список всех трехсот двадцати двух деревень Липнинского района с подразделением по сельсоветам. Все названия она написала латинскими буквами.

Шварц просмотрел список, одобрительно кивнул головой и подал Лене карту крупного масштаба на немецком языке.

Это был кусок Днепровской области, где были обозначены, с большими искажениями в названиях, многие, но далеко не все населенные пункты; «Липнья» помещалась в правом нижнем углу, а большая часть района — вообще за пределами карты.

Принесли еще несколько подобных карт; Лена соединила вместе четыре штуки, обчертила границы Липнинского района,

захватив четыре соединенные угла, разделила на сельсоветы и вписала еще целый ряд недостающих деревень.

«Хороший дядька» остался очень доволен работой, а узнав, что Лена — агроном, долго расспрашивал ее о почве, посевах и хозяйстве в разных частях района. Самое деятельное участие в этом разговоре принимали Маруся и ее пузатый словарь.

Эта беседа была прервана появлением двух женщин, пришедших к коменданту с жалобой на шеф-полицая Баранкова, который требовал у них спирт, а когда ему не дали, забрал у них вещи: пальто, одеяло и валенки, и в придачу избил хозяйку вещей.

Шварц нахмурился.

— Конрад! Вызвать бургомистра!

Маруся подтолкнула Лену локтем.

— Ну, бургомистру достанется! — шепнула она. — Рыжий никаких жалоб на бургомистра с шеф-полицаем не принимал, отсылал всех обратно к бургомистру, а этот дед, кажется, наведет суд и правду.

Сальников явился, как всегда с низкими поклонами и с измятой шапкой в руках; нос его был краснее обыкновенного.

Шварц сурово спросил, по какому праву шеф-полицай бьет людей и отбирает вещи.

Сальников закланялся еще ниже.

— Господин комендант!.. Она все врет!.. Вы ее не слушайте!.. Иван ее и не бил совсем, так — пихнул разок… Она, значит, немецкую власть ругала…

— А вещи у нее почему отобрали?

— Врет она, господин комендант!.. Ничего у нее не отбирали…

Но не успел Конрад перевести, как обе женщины накинулись на бургомистра.

— Это я вру?… Сам ты врешь, старый пьянюга!.. Совести у тебя нет!.. Не отбирали?… А пальто?… Новое, зимнее… А одеялко кто взял?… Гад ты, а не человек!.. Залил бельмы и над народом издевается!.. Кондратий Иваныч, скажи ты коменданту, что нам от них житья нету!.. Какие они начальники, что старик, что Иван… Подавай им спирту, да мяса, да того, да другого!.. А как не дал чего, Баранок драться лезет!.. из винтовки грозится застрелить!.. Придет в хату, и давай забирать все, что на глаза попадет… валенки новые с ног стащил… Свои, русские, а хуже немца!..

Баба вдруг испуганно замолчала, поняв, что сбрехнула лишнее.

— Неужели Конрад такой дурак, что и это переведет? —

шепотом воскликнула Маруся, напряженно следившая за разговором.

Теперь ее лучшая подруга сидела с ней рядом, и ей было с кем делиться впечатлениями и соображениями.

Конрад, сильно сокративший описание подвигов Баранкова, дословно перевел нелестное мнение бабы о немцах; но Шварц только улыбнулся.

Вошел Баранков и начал оправдываться, но комендант даже не стал его слушать.

— Даю начальнику полиции срок — двадцать минут! — проговорил он, глядя на часы. — Принесите сюда все вещи, которые были отобраны у этих женщин!

Баранков скрылся.

Не через двадцать, а через десять минут вещи появились.

— Что же вы говорили, что ничего не отбирали? — обратился Шварц к Сальникову.

Старик, пойманный с поличным, смущенно топтался на месте.

— Да они беженки, пан комендант! — наконец придумал он оправдание. — Они от немца уходили, в Маркове были, хотели к красным уйти, к Сталину…

— Вернуть всем, беженцам и не беженцам, все отобранные вещи.

Бургомистр с готовностью закивал головой и стал уверять, что если господин комендант прикажет, он, Сальников, все выполнит, так как он всей душой предан немецкой власти…

— Раус!..

Это немецкое слово переводить не пришлось: оно было хорошо известно бургомистру.

Когда его лысая голова и мешковатая спина скрылись за дверью, Шварц тяжело вздохнул, прошелся несколько раз по комнате и остановился перед длинным столом, за которым сидели русские сотрудницы.

— Бюргермайстер ист айн гроссе эзель! — проговорил он и направился к двери.

— Лена! Что такое «эзель»? Ты не знаешь? — послышался шепот Маруси, когда за старым комендантом тихо закрылась дверь.

— Не знаю… По-моему, остров Эзель где-то есть…

— При чем тут остров?!..

Пришлось обратиться к словарю

— Осел!.. «Эзель» значит «осел»…

С тех пор прозвище «гроссе эзель» прочно утвердилось за бургомистром Сальниковым.

После обеденного перерыва Лена принесла свой паспорт.

— Надо и мне получить аусвайс, а то у меня его нет до сих пор.

— Тебя надо «вирд эршоссен»!.. Давай сюда!.. Или нет, в наказание, бери бланк и заполняй сама!..

Лена вздохнула.

— Этот-то заполнить просто… А ведь мне еще один аусвайс нужен…

И она потихоньку, стараясь, чтоб не дошло до ушей Лидии, рассказала Марусе о том, какой прием был оказан Николаю в доме Сальникова.

— Вот сволочи! Их рыжий распустил: он никаких жалоб не принимал, всех посылал к бургомистру, вот они и вообразили, что они цари и боги… Ничего, их сегодня дед хорошо проучил!.. Ты ему скажи, он хороший, он выпишет… Вот как придет, и скажешь…

Лена последовала Марусиному совету, и в самом конце работы, когда Лидия и Таня уже ушли, обратилась к Шварцу с просьбой выдать документы ее другу, которому Сальников отказал в справке. Говорила она откровенно, ничего не скрывая: «дед» внушал доверие.

Комендант внимательно выслушал и протянул ей чистый бланк.

— Битте, шрайбен зи!

Лена быстро заполнила бланк на имя Николая Венецкого.

Шварц поставил печать и подписал аусвайсы и Венецкого, и самой Лены, и еще несколько штук по сданным за сегодняшний день паспортам.

Перед словом «Ортскоммандант» он добавил еще три буквы «СДФ».

— Вас ист дас «СДФ»? — спросила Маруся, знавшая, что его рыжий предшественник так не делал.

— «СДФ» дас хайст «Зондерфюрер», — ответил старик и с этими словами ушел.

— «Зонтагфюрер»… «Зонненфюрер»…. - бормотала Маруся, листая словарь. — Почему воскресный, или солнечный, фюрер?…

— Да идем же! Уже темно!. - торопила ее Лена.

— Сейчас, сейчас!.. Ну, ладно, возьму домой словарь и добьюсь, что это значит…

Утром она сообщила, что это наименование должности, вероятнее всего, происходит от слова «зона» и ничего общего не имеет ни с солнцем, ни с воскресеньем.

Снаружи, на здании школы, рядом со старой вывеской «Ортскоммандантур» была повешена новая:

«Крайсландвиртшафт».

Иоганн Шварц был комендантом Липни только по совместительству, по той причине, что из города и его окрестностей ушли все воинские части; основная же его работа заключалась в руководстве сельским хозяйством района.

* * *

По Липне быстро распространился слух, что возвращают вещи, отобранные начальником полиции и его помощниками, — и в комендатуру валом повалили жалобщики. Несколько дней от них отбою не было.

Выяснился целый ряд дел, о которых ранее говорилось только шепотом. Оказалось, что в пределах города Баранков отбирал вещи, вымогал спирт и продукты, бил людей, угрожал винтовкой; но все это были только цветочки — ягодки бывали, когда он организовывал экспедиции в деревни.

Так в Щелкине он застрелил корову, которую хозяева ему не отдавали; в Завьялове выстрелом тяжело ранил старика, не дававшего ему каких-то вещей; В Мишине сжег хату, в которой ютились четыре семьи — одну из трех последних уцелевших в деревне хат.

Каждый день всплывали все новые и новые пиратские подвиги шеф-полицая; оставалось только удивляться, когда он успел все это натворить. Времени он не терял, действовал энергично: в домах, где разместились полицейские с собственными и благоприобретенными семьями, за пару недель собрались огромные склады награбленного.

Все это делалось Баранковым и его подручными от имени немецкой власти.

— Я не желаю, чтобы жители были недовольны немецкой властью! — несколько раз повторял единственный в Липне представитель этой власти, зондерфюрер Шварц.

И он делал все возможное, чтоб восстановить пошатнувшийся престиж немецкой власти: он судил и рядил, возвращал отобранное, старался восстановить справедливость…

Не раз он вызывал Баранкова, кричал на него, выгонял вон, а шеф-полицай кланялся и уходил, с шапкой в руках и с наглой усмешкой на красивом лице, уходил в полной уверенности, что «брань на вороту не виснет», а больше ему ничего добродушный старый немец не сделает.

— «Дедуся» наш совсем замучался! — сочувственно говорила Маруся.

— Не понимаю, почему он не снимет с работы Баранкова, да и Сальникова тоже! — вторила ей Лена.

Но вот однажды, ясным солнечным утром к зданию школы подкатила легковая машина и из нее вышел немецкий офицер; когда он вошел, Шварц вытянулся, как перед старшим в чине, и что-то отрапортовал.

Вновь прибывший был еще молодой человек, среднего, даже небольшого роста, но державшийся необыкновенно прямо и потому казавшийся выше, чем был на самом деле; его тонкое красивое лицо было надменно, речь отрывиста.

На русских сотрудниц он сперва посмотрел, как на пустое место, и только, когда Шварц дал им самые лучшие рекомендации, удостоил их благосклонным взглядом холодных голубых глаз и несколькими словами по-польски.

— Ну, и начальство у нашего «деда»! — реагировала Маруся на это появление. — Знаешь, Лена, он верно польский пан гоноровый, а хочет, чтоб его немцем считали, вот и ходит, будто аршин проглотил…

— Просто он вырасти хочет…

Этот человек был полновластный повелитель трех смежных районов: Липнинского, Мглиновского и Дементьевского, зондерфюрер Хейнрих Раудер.

* * *

Следующее утро было холодным; дул сильный ветер и нес по улицам мелкий, колючий снег; солнце всходило медленно, будто нехотя.

На углу, наискосок от комендатуры, на корявой старой липе висел труп человека в новом сером костюме с чужого плеча и новых черных валенках.

На шее у него был повешен кусок фанеры с надписью по-немецки и по-русски. Русский текст гласил:

«Иван Баранков, шеф-полицай, павешен за грабеш, вымогате и пянство от имене германского командования и превышеня власти».

— Грамотно! — качнула головой Маруся, прочитав эту надпись, и повернулась к Лене, которая подходила с другой стороны. — Погляди на правосудие завоевателей!.. А надпись — безусловно Конрадова работа…

Лена прочитала, внимательно поглядела на мертвеца и тихо проговорила:

— Так!.. Значит, терпели, терпели его безобразия, а теперь,

вместо того, чтоб снять с работы, взяли и повесили…

— Круто! — согласилась Маруся. — Ну, ничего — это первый покойник, которого никто не пожалеет, даже моя мама…

Они пошли к дверям комендатуры.

— Но как мы привыкли к виду смерти, — задумчиво сказала Лена. — Повесили человека — и кажется, будто это в порядке вещей… Даже больше внимания обратили на безграмотную надпись, чем на него самого…

— Ну, раскисла!.. А еще поповна! Был бы уже кто-нибудь другой, а Баранок получил то, что заработал… На этой самой улице, когда пленных гнали, сколько убитых валялось?.. И совсем ни в чем не виноватых… Дас ист криг!..

В канцелярии комендатуры уже сидела Лидия.

— Ах, девочки! Вы видели? Какой ужас! — прощебетала она. — Он мне теперь всю ночь сниться будет!..

— Ночи не хватит, если все покойники сниться начнут… — огрызнулась Маруся.

— Нет, знаете, раньше все были обыкновенные убитые, а тут… Я иду… и вдруг… на дереве висят ноги в валенках!..

Она сделала страшные глаза, вытащила свое неразлучное зеркальце и стала подкрашивать губы.

Из немцев никто не появлялся; на минуту заглянул Конрад и скрылся.

Маруся выстукивала одним пальцем на немецкой машинке бланки аусвайсов, Лена снимала копию с карты Липнинского района, Таня переписывала «вирд-эршоссены» — громовые двухязычные приказы — и портила их один за другим, Лидия просто сидела и прихорашивалась перед зеркалом.

Перед самым обедом вошел Раудер; его красивое лицо было еще надменнее, чем вчера.

Он подчеркнуто явственно поздоровался, задал несколько незначительных вопросов, прошелся по комнате взад и вперед, как бы между прочим, сообщил, что в два часа будет «ферзаммлунг».

— А пан Радзивилл, все-таки, не в своей тарелке! — не утерпела Маруся, когда за немцем закрылась дверь.

Все стали собираться на обед: теперь они ходили обедать домой и получали за работу только хлеб, который еще имелся в запасе; в будущем им обещали платить деньгами, но их получением никто не интересовался — все равно за деньги ничего нельзя было купить; немцам готовила специально нанятая кухарка Нюра, так как все воинские части, а следовательно, и военные кухни из Липни уехали.

— … А, все-таки, кто его вешал? — вдруг задала вопрос

Маруся, когда они всместе с Леной вышли на улицу и снова увидели висевший на дереве труп шеф-полицая. — Ведь немцев в Липне сейчас только двое: «дед» и «Радзивилл»…

— Дед не станет этим заниматься! — воскликнула Лена. — Он бы его снял с работы — и все…

— Верно! Дедуся наш хороший!.. Значит, он отпадает… Остается Раудер — этот будет командовать — он, вероятно, и командовал — но самолично он за петлю не возьмется: гонор не позволит руки пачкать… Есть еще Конрад… Этот, положим, любого повесит — если ему прикажут… но один он бы не справился… Баранок был много сильнее его и, вероятно, сопротивлялся… Значит, был еще второй человек… Но кто?…

Вопрос остался открытым.

* * *

Этим человеком был Виктор Щеминский.

Впрочем, Маруся ошибалась, думая, что Баранков сопротивлялся перед казнью: тому это и в голову не пришло.

Все совершилось очень быстро: Виктор ночью дежурил в комендатуре; его постоянно назначали на этот пост, так как он — единственный из полицаев — кое-как объяснялся по-немецки и вообще был в этой компании наиболее культурным человеком.

Уже после полуночи Раудер послал его за шеф-полицаем; Виктор поднял пьяного Баранкова с постели и с трудом приволок его в комендатуру.

Когда начальник полиции предстал перед светлыми очами коменданта, тот целые полчаса кричал на него на смеси немецкого и польского языков, причем сделано это было так грозно, что шеф-полицай, еще не очухавшийся после очередной попойки, окончательно ошалел… Он только кланялся, бормотал что-то непонятное и теребил свою шапку, пока не оторвал у нее уха.

Наконец, зондерфюрер направил на него револьвер и приказал идти вперед; Баранков, ежеминутно оглядываясь на черное дуло, покорно вышел на улицу.

— Рехтс! Линкс! — командовал Раудер, Конрад переводил, а Баранков, беспрекословно выполняя эти команды, покорно полез по сугробам к старой липе, покорно влез на табуретку, которую ему подставил Виктор…

Тогда Конрад с ловкостью кошки вспрыгнул на табуретку сзади начальника полиции и быстро надел ему на шею петлю, которая заранее висела на дереве.

В ту же минуту табуретка качнулась под тяжестью двух человек и упала; Конрад рухнул в сугроб, а Баранков повис в петле и, судорожно дергаясь, закрутился во все стороны.

Так трусливый, как большинство жестоких людей, Баранков из страха быть застреленным без всякого сопротивления дал себя повесить.

* * *

Собрание опять было на улице, перед комендатурой, недалеко от липы, послужившей виселицей. Народу собралось много: весть о том, что «Баранка» повесили, уже распространилась повсюду.

Раудер, вышедший вместе с Конрадом на крыльцо, начал с того, что подозвал к себе бургомистра. Сальников, бледный, желтый, с трясущимися руками и ногами, торопливо соврал шапку со своей лысины и, спотыкаясь, полез на ступеньки высокого крыльца.

Неугомонная Маруся дернула Лену за рукав.

— Бюргермайстер ист айн гроссе эзель!.. — шепнула она.

— Отвяжись!

Раудер смерил презрительным взором жалкую фигуру бургомистра, повернулся к собравшимся и торжественным звучным голосом возгласил:

— Ахтунг!..

— Внимание! — повторил Конрад гораздо менее торжественным тоном.

Раудер начал речь, слегка рисуясь, как актер на сцене, и прислушиваясь к звукам собственного красивого голоса; говорил он отчетливо, звучно, выразительно; к сожалению, его ораторское искусство много теряло в корявом переводе малограмотного «Кондратия Иваныча», что не замедлила подметить Маруся.

— Это бургомистр вашего города! — говорил зондерфюрер, указывая широким жестом на Сальникова, который сгорбился, съежился и, казалось, рад был бы провалиться сквозь землю. — Вы его избрали на почетную должность, но он оказался недостойным вашего доверия! Он назначил своего сына шеф-полицаем; этот шеф-полицай грабил население и вымогал взятки, прикрываясь именем германского командованья!.. Он получил то, что заслужил!

Рука в белой перчатке указала на висящий труп, лицо которого было покрыто густым белым инеем.

Раудер продолжал:

— Следовало бы рядом повесить его отца, который тоже брал взятки, покровительствовал грабителям и пользовался награбленным!.. Но, учитывая его старость, мы его прощаем и только прогоняем с должности! Сальников больше не будет бургомистром!

Глухой гул прошел по толпе собравшихся. Кто-то крикнул: «Правильно! Давно пора!», с другой стороны послышался тихий голос: «Зачем же было вешать? Можно было и Баранка выгнать из полиции и все…»

Раудер внимательно прислушивался: хорошо владея польским языком, он и по-русски понимал многое, но, все же, желая себя проверить, он спросил Конрада, что говорят и, когда тот перевел, удовлетворенно кивнул головой.

Тут он заметил, что трясущийся как осиновый лист Сальников все еще стоит сзади него на крыльце…

Последовал короткий гневный возглас: «Аб!» — и услужливый Конрад, схватив старика за шиворот, спихнул его с крыльца.

Сальников упал ничком в сугроб, кряхтя, поднялся и, стряхивая снег, медленно пошел прочь. Какая-то женщина догнала его и сунула ему в руки его шапку, которую он обронил при падении; толпа раздалась, пропуская его.

Все, начиная со всевластного зондерфюрера и кончая мальчишками, смотрели вслед разжалованному бургомистру, пока его сгорбленная фигура не скрылась за углом.

Тогда Раудер вновь обратился к собравшимся.

— Следует избрать нового бургомистра города Липни! Пусть это будет умный и честный человек, который сумеет заботиться о благе народа! Пусть жители Липни подумают и изберут бургомистром такого человека, который будет достоин этого высокого звания!

В толпе слышались разговоры, даже споры, но ничьей кандидатуры никто не называл. Многие с опаской поглядывали на качавшийся на ветру труп Баранкова..

Послышались голоса:» Назначайте сами, пан комендант!» Раудер улыбнулся, когда Конрад перевел ему эту фразу.

— Я не знаю ваших людей! — сказал он. — Я могу ошибиться, как ошибся мой предшественник, назначив Сальникова… Пусть изберут того, кто может быть хорошим начальником!..

Вдруг из толпы выдвинулся и по-ученически поднял руку Володя Белкин (он тоже недавно вернулся из плена):

— Това… — начал он и запнулся, спохватившись, что «товарищами» теперь не называют. — Простите, господин

комендант!.. Разрешите сказать… Вот, если нашего инженера со строительства выбрать… Венецкого Николая Сергеича!.. Он здесь в городе… Он был очень хорошим начальником…

Венецкий, стоявший в толпе, вздрогнул; первое его движение было: уйти, скрыться!.. Но было уже поздно: его имя подхватили все.

Бывшие его рабочие действительно считали его хорошим начальником, люди же, не знавшие его, ухватились за первую серьезно предложенную кандидатуру — одни, потому что опасались, как бы их самих кто-нибудь не выдвинул, другие — потому что замерзли на холодном ветру и хотели скорее уйти домой.

Со всех сторон послышались одобрительные возгласы.

— Правильно!.. Венецкого давайте!.. Венецкий — хороший человек!.. Этот не Сальникову чета — хулиганить не станет!.. Венецкий — человек толковый, грамотный, инженером был… Пускай Венецкий у нас будет бургомистром!.. Пан комендант! Назначайте Венецкого Николая Сергеича!..

Раудер опять прислушался, потом сказал несколько слов переводчику.

— Кто есть Венецкий Николай? — громко спросил Конрад. — Пусть подойдет сюда.

Николай Сергеевич Венецкий подошел к крыльцу, поднялся на ступеньки, снял кепку со своих уже отросших волос, но головы не опустил и твердо взглянул прямо в красивые холодные глаза Раудера; стоя ступенькой ниже, он был с ним одного роста.

Несколько секунд оба стояли молча, как бы изучая друг друга.

Комендант, по-видимому, остался доволен впечатлением: он улыбнулся, положил руку на плечо избранника и почти дружелюбным жестом повернул его лицом к собравшимся внизу липнинским гражданам.

— Бургомистром города назначается Николай Венецкий! — далеко разнесся его звучный голос. — Я уверен, что он оправдает доверие избравших его граждан города и будет разумным, справедливым и строгим начальником!

Раудер эффектным жестом простился с собранием, повернулся и пошел в комендатуру, пригласив нового бургомистра следовать за ним.

Толпа быстро разошлась по домам, а на липе остался одинокий труп вчера еще грозного шеф-полицая.

А когда стемнело, полусумасшедший дурачок Вася стащил валенки с ног повешенного и целую неделю ходил по дворам, хвастаясь своим геройским поступком.

Глава 10
Хозяин города

— Честь имею поздравить новое начальство! — торжественно, с низким поклоном проговорила Маруся, когда Венецкий вслед за Раудером вошел в помещение комендатуры.

Новый бургомистр хотел отшутиться, но не успел: немцы увели его в свои комнаты и завладели им надолго.

Стемнело. Короткий зимний день, богатый событиями, кончился. Пора было собираться домой.

— Лена! Где же твой бургомистр запропал?

— Я знаю не больше тебя.

— Пора домой идти… Ты будешь его дожидаться?

Лена минуту подумала; ее тоже очень интересовало, почему немцы так долго не отпускают Николая.

— Нет, надо идти: у меня сегодня печка не топлена…

И они отправились по домам.

— Какой у вас симпатичный муж! — уже на улице по секрету сообщила Лене Лидия.

Она даже проводила супругу нового бургомистра до половины дороги, хотя ей было совсем не по пути, и все время рассыпалась в сладких комплиментах; Лена не знала, как от нее отделаться.

Наконец, она пошла так быстро, что Лидия запыхалась.

— Как вы быстро ходите! Я так не могу! Но мне тоже пора!.. До свидания!..

Лена вздохнула с облегчением.

Николай вернулся поздно, значительно позднее, чем по немецкому закону разрешалось ходить по улицам. Но сегодня его некому было задерживать: немцев, кроме комендатуры, в городе не было, а вся Баранковская полиция была разжалована и обезоружена.

Уже целый месяц Венецкий жил в Ложкинском доме вдвоем с Леной Соловьевой.

Супружества военного времени встречались на каждом шагу, и их тоже все считали мужем и женой, хотя это было и не так.

Они жили общим дружным хозяйством, вместе добывали средства к существованию, что с наступлением зимы становилось все труднее. За это время они привыкли друг к другу и, сами того не замечая, очень подружились, чувствуя, что у них много общего. Они уже нередко понимали друг друга без слов.

Ни разу у них не было не только ссоры, но даже маленькой

размолвки. Сперва они говорили между собой на «вы», потом постепенно перешли на «ты», причем сначала в присутствии посторонних, а потом уже наедине.

Но на этом их близость кончалась.

В этот памятный день Венецкий вернулся из комендатуры в почти новой русской шинели поверх пиджака, который был не по сезону легок; Лена поняла, откуда это: в одном из классов бывшей школы был целый склад трофейной одежды. Месяц тому назад Николаю пришлось променять свою шинель на гражданскую одежду, чтоб скрыть свой вчерашний плен; теперь времена переменились: никто уже не придирался к шинелям вообще, а бургомистру тем более никто не мог указать, что ему носить…

Он прошел в темную комнату, бросил кепку на сундук, сел у стола и долго молча сидел в темноте, пока топившая печку Лена не подошла к нему.

— Что ты так долго задержался? — спросила она.

— С немцем толковал…

— С которым?

— Со стариком… Хороший он человек!.. Хочет восстановить нормальную жизнь в городе и во всем районе… Завтра начнем наводить порядок… Только трудно будет…

— Во всяком случае, не будет Баранковских безобразий, — сказала Лена.

— Конечно, требовать спирта за справку я не буду… — тихо проговорил Николай и глубоко задумался.

Помолчав, он снова заговорил:

— А знаешь, Лена, я тебе этого не говорил, но я все время думал: вот окрепну немного и начну пробираться на восток, в сторону фронта, попробую перебраться к русским… А тут вдруг — пожалуйста!.. Не ждал, не гадал, а попал в бургомистры!..

Лена покачала головой.

— Никуда тебе идти не надо! — сказала она. — Еще вчера ты, конечно, из чувства долга мог бы пойти… Хотя неизвестно, где этот фронт, и вряд ли удалось бы его перейти… А если бы и перешел, то неизвестно, как бы тебя там приняли… Это было вчера, но сегодня, раз тебя выбрали — твой долг остаться здесь и работать! Ты здесь нужен! Дела хватит! Город не пустой, в нем люди живут… Многие из них уже голодают, особенно беженцы. Надо дать им возможность жить по-человечески, работать, зарабатывать… И нельзя допускать, чтобы опять стали командовать люди вроде Баранкова и Сальникова!

— Значит, ты меня благословляешь принять бразды правления? — усмехнулся Венецкий.

— Благословляю! По-моему, сегодняшние выборы бургомистра были довольно удачными.

— Тогда решено!.. Сжигаем корабли!..

Он встал и выпрямился во весь рост.

Лена поставила на стол зажженную коптилку и пошла было на кухню за ужином, но Николай остановил ее.

— Лена, подожди, у меня еще один вопрос… — он вдруг замялся и покраснел до ушей. — Скажи, как мне лучше сделать?… для тебя… если я останусь в Липне… Уйти мне отсюда?…. от тебя… или нет?…

Он низко опустил голову и ждал решения своей участи.

Лена удивленно посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

— А зачем уходить? Куда?… Конечно, если ты хочешь уйти, я не могу тебя удерживать: я тебе не жена и не родственница. Но мне кажется, что мы друзья, и нам обоим сейчас легче жить вместе, чем врозь. В твоей новой работе я скорее помогу тебе, чем помешаю… А живем мы мирно, не ругаемся…

Она улыбнулась; Николай тоже ответил ей полувиноватой, полурадостной улыбкой.

— Еще бы с тобой ругаться!.. Ты этого вообще не умеешь… ты такая хорошая… Пожалуйста, прости меня, что я об этом заговорил!..

— Может быть, ты боишься Валентины Федоровны? — поддразнила Лена. — У нее сердце-вещун было, что она тогда так на меня напустилась…

Но Николай ответил серьезно и искренне.

— Нет, Леночка, про нее я не думаю давно и уверен, что она тоже про меня не думает: муж, который не может ее содержать, ей не нужен — я ее слишком хорошо знаю. Со смертью Миши между нами последняя связь порвалась: ведь только мальчик удерживал нас от разрыва…

— Значит, после видно будет, а пока — живем вместе и правим Липней, господин губернатор!..А теперь давай губернатоский ужин есть!..

Губернаторский ужин, он же обед, состоял из супа с картошкой и горстью гороха, заправленного толченым льняным семенем, и сухого подплесневелого немецкого хлеба, который Лена получала в комендатуре за свою работу.

* * *

После памятного собрания прошло совсем немного времени,

и жители оккупированной Липни, отвыкшие за полгода от какого бы то ни было гражданского порядка, почувствовали твердую руку нового хозяина.

Уже на третий день после назначения Николая Венецкого на должность бургомистра поднялся к небу дымок первого восстановленного промышленного предприятия: заработала паровая мельница.

Уже к вечеру первого дня работы около нее выстроилась длинная очередь подвод с мешками: жители окрестных деревень, до сих пор пробавлявшиеся самодельными «жорнами» и ступами, нахлынули молоть свои хлебные запасы, которые у многих неожиданно оказались немаленькими.

Еще через три дня, когда на мельнице собралось порядочно гарнцевого сбора, задымила печка маленькой пекарни, а рядом с ней открылся магазинчик, где отпускали хлеб, новый ржаной хлеб, крупного грубого помола, с попадающимися целыми зернами… Но изголодавшимся людям казалось, что они никогда не ели такого вкусного хлеба.

Выдавали этот хлеб по спискам и по распоряжениям зондерфюрера Шварца и бургомистра Венецкого, и давали его не за вещи какие-нибудь, а за деньги!.. За самые настоящие деньги, и за русские, и за немецкие, по цене один рубль за килограмм, а немецкая марка засчитывалась за десять рублей.

Одновременно начались первые скандалы, так как новый бургомистр наотрез отказывался включать в хлебные списки людей, заведомо имевших большие запасы хлеба.

* * *

Третье по счету предприятие появилось в Липне без инициативы бургомистра.

Однажды утром Венецкий пришел на работу и увидел, что у дверей его кабинета в одном здании с комендатурой (на этих дверях еще висела табличка «8-А класс») дожидался человек лет тридцати пяти, высокий, со светлыми льняными волосами.

Лицо его было знакомо Венецкому: до войны этот человек заведовал продовольственным ларьком недалеко от льнокомбинатской стройки, и все рабочие и служащие этой стройки, в том числе и главный инженер, постоянно брали в этом ларьке булки и другие продукты в обеденный перерыв.

— Здравствуйте, Сергеич! — проговорил бывший зав. ларьком. — Пришел к вам за разрешением, или за патентом, не знаю, как оно теперь называется… Вот что объявление висит…

Венецкий вспомнил, что на стене комендатуры, еще со времен рыжего коменданта, висел печатный призыв на двух языках, в котором население приглашалось брать патенты и заниматься частной торговлей и ремеслами. До сих пор в Липне на этот призыв еще никто не откликался.

— А чем вы собираетесь заниматься? — спросил бургомистр.

— Чайную открыть хочу, или, значит, вроде как бы закусочную…

— Закусочную? Чем же вы там кормить будете?

— Пока горячей водичкой, а потом, авось, найдем что-нибудь и посущественней.

— Да кто же у вас покупать станет горячую-то воду? — спросил Венецкий. — Ведь этого добра у каждого дома хватит.

— А помольщики? Вы сами поглядите, какая на мельнице очередь!.. Люди намерзнутся, вот и забегут чайком погреться!

— А, пожалуй, и верно!

— То-то и есть, Сергеич!.. Я и надумал: и им хорошо будет, и мне, значит, занятие…

— Где же вы ее хотите открывать, вашу чайную?

— Дом Кудлаева прошу, — сказал ларечник. — Он как раз насупротив мельницы; стоит пустой, приспособить можно…

— Хорошо! Берите этот дом и открывайте чайную, но с условием: водичку свою продавать за деньги!..

(Венецкий подчеркнул слово «деньги»).

— Водицу-то можно продавать и за деньги, — невнятно пробормотал бывший продавец, не совсем довольный таким оборотом дела.

Бургомистр написал, что Егоренкову Федору Семеновичу разрешается открыть чайную на Полянной улице в доме номер три…

— А как мне, значит, платить за патент? — спросил Егоренков.

Венецкий с трудом скрыл смущение: он совершенно забыл, что частные предприниматели не от государства зарплату получают, а наоборот, сами платят государству за право работать.

— Сто марок в месяц!..

— Это тысченку, значит? Сегодня же принесу! — воскликнул первый липнинский частник с такой готовностью, что бургомистр понял, что продешевил.

Через час Егоренков принес тысячу рублей советскими деньгами и больше не показывался, в то время как числившиеся на государственной службе работники пекарни и мельницы ежедневно по нескольку раз бегали к Венецкому по поводу всяких мелочей.

На следующий день, проходя мимо мельницы, Николай Сергеевич с удивлением увидел, что первое в его городе частное предприятие уже работает на полную мощность.

В доме Кудлаева все выбитые окна были уже заделаны, из трубы валил дым, а на улице перед домом люди сновали, как на рынке в базарный день.

Венецкий вошел в «Чайную Федоро Егоренкова», как было написано не то дегтем, не то мазутом на прибитой над крыльцом широкой доске.

В доме внутренние перегородки были разобраны, так что получился один большой зал, весь заставленный столами, стульями и прочей мебелью.

Мебель эта, собранная со всего света, была самая разнохарактерная: от плюшевых кресел, кожаных диванов и лакированных столов включительно до толстых березовых плах, на которых обычно колют дрова.

И на всей этой мебели сидели в армяках и тулупах многочисленные помольщики и пили чай.

Посуда также была разнокалиберная: фарфоровые чашки с цветочками, эмалированные и алюминиевые кружки, стаканы, глиняные горлачи и глечики, стеклянные и даже жестяные консервные банки.

Около русской печи стояли в ряд восемь самоваров с трубами в топку. Егоренков, его жена, теща, двое детей, еще какой-то старик и две женщины хлопотали около самоваров и печи.

— Николай Сергеич! — воскликнул Егоренков, разливавший заварку из большого синего чайника. — Вот одолжили, что зашли!.. Пожалуйте сюда!.. Присаживайтесь!.. Чайку?…

Венецкий сперва хотел отказаться, но потом из любопытства решил попробовать Егоренковский чай.

Хозяин усадил его на самое почетное место, на малиновое плюшевое кресло, за письменный стол, покрытый зеленым сукном, налил кипятку в изящную фарфоровую чашечку с блюдцем и хотел долить из маленького чайника с цветочками, но Венецкий его остановил:

— Нет, приятель, налей-ка ты мне из того, эмалированного: я попробовать хочу, чем ты народ поишь.

— Как хотите!.. Только тут у меня чаек настоящий — грузинский, довоенный, а там — я прямо говорю — чёбор с березовым веником.

«Чёбор с березовым веником» оказался на неприхотливый вкус военного времени довольно приятным и душистым; бургомистр похвалил его, чем привел в восторг хозяина.

— Неужели я, Сергеич, позволю себе плату с людей брать и

отравой какой-нибудь поить?… Еще чашечку! Может, вам сахаринчику положить?…

— Лепешечек попробуйте! — теща Егоренкова подала гостю на тарелке пару горячих ржаных лепешек очень вкусного вида.

Егоренков усиленно потчевал своего гостя и старался отвлечь его внимание от большого стола, служившего прилавком, где в это время его жена наливала чашки и кружки и взимала плату.

Но Венецкий, все-таки, заметил то, что хозяева хотели скрыть: некоторые покупатели платили за свой чай деньгами, а с других брался за стакан чаю — стакан зерна или муки, которые ссыпались в ведра, стоявшие под столом.

— Федор Семеныч! Что же ты договор нарушаешь? Мы же с тобой договаривались за деньги торговать?…

Хозяин чайной развел руками.

— Виноват, Сергеич! Думал, что не заметите!.. Да разве от вас спрячешься?!.. Лучше уж на честность… Рассудите сами: я за деньги чай продаю тому, у кого деньги есть… А у кого их нет, или с собой не захватил?… Ведь народ от денег отвык… Как же мне быть с таким человеком? Не дать? Нехорошо! Даром поить? Накладно будет; все тогда даром захотят… Ну, я и беру с него стаканчик жита, или мучицы — и ему хорошо, и мне… Я из этого гарнцевого сбора стаканного уже лепешечек наготовил…

Венецкому стало неловко: он только что с аппетитом прикончил вторую лепешку.

— Ну, хорошо, бери, как удобнее… Но если я узнаю, что ты отказываешься принимать деньги — так и знай: закрою твою чайную!

— Буду, буду брать деньги, Сергеич! — и деньги когда-нибудь пригодятся!.. А вот, кабы вы мне разрешили эту муку на пекарне на хлеб сменять, было бы лучше, а то лепешки печь — возьни много, кустарщина!

Бургомистр разрешил менять муку на хлеб, но не иначе, как килограмм за килограмм; хозяин чайной согласился, не моргнув: видно, и такая комбинация была ему выгодна.

— А еще, Сергеич, люди у меня работают, помогают… Как бы их зарегистрировать, что они, значит, работают, чтоб им хлеб давали…

— Вот это ловко! — воскликнул Венецкий. — У тебя работают, а я их должен хлебом снабжать?!.. Нет, дружище, раз ты завел стаканный сбор — изволь сам кормить своих рабочих!

— Накормлю, Сергеич, накормлю! Мне только ваше разрешение!..

Венецкий ушел из чайной и долго про себя дивился гибкости и оборотистости этого доморощенного капиталиста.

* * *

В полутемном коридоре, около дверей кабинета дожидалась прихода бургомистра пожилая женщина в заплатанном летнем пальто и рваном вязаном платке.

— Вы ко мне? — не присматриваясь, спросил ее Венецкий, поворачивая ключ в висячем замке.

— К вам-то к вам, да, может быть, мне лучше уйти, коли вы уж и узнавать не хотите?!..

Николай Сергеевич распахнул дверь и осветил фигуру посетительницы.

— Клавдия Ивановна!

Он не стал ни извиняться, ни оправдываться, что не узнал ее, а просто крепко обнял и расцеловал старую сослуживицу.

Клавдия Ивановна расплакалась.

— Голубчик, Николай Сергеич! — проговорила она, вытирая глаза концом платка. — Значит, вы не испортились!.. А я боялась к вам идти… думала, что теперь вы стали такой важный, что к вам и не подступишься…

— Я — важный?… В этом-то наряде?.. По-моему, когда я был Шмелевским вридом, у меня был гораздо более важный вид… Ну, Клавдия Ивановна, милая, садитесь и рассказывайте, что с вами за это время было?

— Что рассказывать-то?… Я ведь к вам не в гости, а за милостыней…

— Как за милостыней?

— Разве вы не видите, на кого я похожа?… Нищие раньше лучше ходили… Если можете, Николай Сергеевич, выпишите мне хлеба, хоть немножко!.. Я уже целый месяц голодаю… Если нельзя, скажите прямо, что нельзя — я уйду!..

Венецкий взялся за перо.

— Хлеба я вам сейчас выпишу… Но только этого мало… А у вас и картошки нет?

— Была… хоть немного, да было… на чужих огородах накопала… Отобрали… Я дура была, Сергеич, люди здесь оставались, и живут как люди, а я побежала, пешком побежала, ничего не взяла… Все лето пробегала, от немцев все равно не ушла, а вернулась к разбитому корыту: дом сгорел, огород добрые люди выкопали… кто копал, не говорят… Поселилась в одном пустом доме, кое-как отделала… пошла картошку рыть…. мою вырыли, и я чужую рыла…. уже под самый мороз… Думала, хоть немного посижу. Выгнали…

— Кто выгнал?

— Да Баранков же!.. Он же тут был царь и бог, что хотел, то и

делал… Дом ему понравился, беженку там поселил, свою кралю…. Будто мало в Липне пустых домов!.. Я с ним поругалась, так он ничего не дал с собой взять, ни вещей, ни картошки… Живу теперь из милости у людей, а им самим есть нечего…. Ходила в деревню гадать…

— Ходили гадать? — Венецкому показалось, что он ослышался.

— Ну, что глаза таращите? Не знали, что я гадать умею?… Хотите, вам судьбу предскажу?… Вот я и ходила, пока больших холодов не было; полмерки картошки да овса котелок нагадала — этим и жила… Только в ближних деревнях люди сами голодают, а в дальние — идти не в чем…

Клавдия Ивановна показала на свои ноги, обутые — одна в мужской сапог с подошвой, подвязанной веревочкой, другая в разорванный резиновый ботик.

— Спасибо за хлеб! — она взяла протянутый ей бургомистром клочок бумаги и поднесла его к глазам.

— Ой! Целых двадцать килограмм!.. Николай Сергеич, а вас немцы ругать не будут, что вы так много выписали?

— Не будут!.. Надо теперь вас устроить с квартирой и с одеждой… А, может быть, вы работать пойдете? — Тогда все гораздо легче будет сделать…

— Я-то с радостью!.. Надоело без дела болтаться!.. Только какая же теперь работа? Где работать-то?

— Здесь, у меня!.. Будете секретарем, счетоводом, все равно чем… жаль, что нет машинки, а то вы были бы мне как находка…

— Машинка есть! — сказала Сомова сразу изменившимся деловым тоном.

— Где?

— У меня! Когда стали эвакуироваться, я ее забрала и на своем огороде закопала. У меня все погорело, а вот машинка цела осталась…. Я ее выкопала… чуть со злости не разбила… Я ее сюда принесу.

— Обязательно!

В эту минуту зашла Лена и, увидев старую знакомую, радостно приветствовала ее.

— Ну, Леночка, все наши старые друзья собираются! — весело сказал Николай.

Клавдия Ивановна несколько раз перевела взгляд с него на Лену и обратно и воскликнула:

— Ах, дура я, дура!.. Как это я раньше не сообразила, про кого разговор?… А то мне говорят, что Венецкий, бургомистр, поженился с какой-то Михайловной…

— В зятьи пристал, — подсказал Николай Сергеевич.

— Ну, да, так и говорят, что в зятьи пристал, только я в толк взять не могла, про какую Михайловну речь… А оказывается, я ее знаю прекрасно…

— Вы же нас и познакомили…

— Это когда в войну играли перед войной? Верно! Ну, значит, рука у меня легкая!.. А как, Николай Сергеич, не ревнует вас молодая жена?

— Нет, я не ревнивая! — ответила Лена, и глаза ее лукаво смеялись.

— Ну, любовь да совет!..

* * *

Полиция времен Баранкова была по распоряжению Раудера разжалована в полном составе, и бургомистру пришлось немало повозиться с подбором новой «Орднунг-Динст».

Он хотел, чтоб этим делом занялись люди честные и надежные, но после казни Баранкова никто из честных и в то же время здравомыслящих людей идти на эту работу не хотел.

Венецкий долго уламывал Володю Белкина, рабочего своего строительства, того самого, который выдвинул его кандидатуру в бургомистры.

Володя долго отказывался под разными предлогами: он говорил, что его мать не хочет, чтоб он шел в полицейские, да к тому же теперь люди начали строиться, и ему, хорошему столяру и плотнику, и без полиции работы хоть отбавляй.

— Эх, ты! — с сердцем сказал Венецкий. — Видно, у тебя совести нет ни на грош — сам меня подсунул в бургомистры, а когда я тебя прошу помочь, в кусты прячешься…

И Володя согласился.

А согласившись, он взялся за дело так ретиво, что сразу стал личным адьютантом бургомистра и его правой рукой.

Кроме него были зачислены в полицию еще четыре человека, но они существовали, как очень быстро определила Маруся Макова, «для мебели»…

Должность шеф-полицая исполнял временно по совместительству сам бургомистр, так как подходящей кандидатуры не было; остальные должности были вакантными.

Таково было положение дел, когда в одно прекрасное утро явился к Венецкому Виктор Щеминский в сопровождении переводчика Конрада.

— Николай Сергеич! Примите меня обратно в полицию!

— Тебя? После того, как ты безобразничал в Баранковской

компании? Нет, дружок, займись-ка ты чем-нибудь другим!

— Это Баранков виноват был, а я-то причем?

— Знаю, знаю про все твои художества!.. Если тебя принять, ты опять возьмешься за старое!..

— Ну, пожалуйста, примите, Николай Сергеич! Я безобразничать больше не буду!

Это было сказано тоном школьника младших классов. Венецкий рассмеялся.

— «Больше не буду!» — передразнил он Виктора. — Этак и вся ваша братия заявит: «больше не буду!» — так всех и принимать обратно?

— Никого не принимать! — резко перебил его до тех пор молчавший Конрад и указал пальцем на Виктора. — Только его одного! Раудер приказал!

— Раудер приказал?

На губах Виктора мелькнула торжествующая усмешка, но он поспешил ее спрятать и заменить жалобной миной.

— Николай Сергеич! Возьмите!.. Даже Раудер позволил! — протянул он.

— Ладно! Володя, выдай ему винтовку! — распорядился Венецкий, прекрасно видевший все перемены погоды на выразительной Витькиной физионимии.

Почему Витька разыграл эту комедию упрашивания, если он знал, что бургомистру все равно, даже против воли, придется выполнить распоряжение коменданта? И почему Раудер сделал исключение для Щеминского, хотя сам же приказал выгнать всех Баранковских полицаев?

Если бы Венецкий знал, какую роль играл Витька в казни Баранкова, он не удивился бы, но обычно болтливый Витька об этом своем подвиге молчал как рыба.

* * *

Первый крупный конфликт на новой работе получился у Венецкого с переводчиком Конрадом.

Когда мельник Терещенков принес отчет за первые десять дней работы мельницы, там оказалась следующая запись, сделанная без всякого документа: «Отпущено Катковской Фрузке 32 кг муки по распоряжению Кондратия Иваныча».

Ефросиния, или как она сама себя величала «Фруза Константиновна» Катковская была в городе человеком известным: еще до войны ее многочисленные любовные приключения служили богатейшим материалом для чесания языков

липнинских кумушек.

После прихода немцев в ее доме шло непрерывное пиршество, на котором хозяйка, разодетая в пух и прах в собранные по брошенным квартирам чужие наряды, принимала днем и ночью дорогих гостей из числа завоевателей и угощала их бесплатно собранным добром и дешевой любовью. Гости в долгу не оставались и натаскали Фрузке всякой всячины немало.

В период «месяца советской власти» она рассказывала корреспондентам «ужасы» о немецких зверствах и — тоже принимала гостей, только уже не немцев, а «своих», русских, и опять гости не скупясь оплачивали ее гостеприимство.

Во время правления рыжего коменданта она стирала ему белье и пользовалась его благосклонностью; но рыжий комендант был скуповат, и Фруза одновременно «закрутила любовь» с более щедрым человеком — Иваном Баранковым, который делил свое внимание между нею и своей третьей женой, белорусской беженкой, и обеих снабжал всем, чего душа пожелает, за счет награбленного.

При смене комендатур Катковская осталась в должности комендантской прачки, хотя сама лично она только принимала и приносила белье, а стирала его жившая у нее в доме из милости баба-погорелка.

После внезапного падения Баранкова любвеобильная Фруза стала подыскивать себе нового возлюбленного, побогаче и починовнее, и у ней сразу же явилась мысль завладеть самой яркой звездой на липнинском небосклоне — новым бургомистром Венецким.

И вот в один из первых дней его правления она явилась к нему в кабинет, нарядная, кокетливая и веселая.

— Здравствуйте, Николай Сергеич! Поздравляю вас!

— С чем? — удивленно спросил Венецкий.

— С новой должностью! Наконец-то у нас будет настоящий бургомистр, не то, что этот старый дурак!

— Однако, вы в гостях бывали у этого «старого дурака», — не выдержал «настоящий бургомистр».

При первом же взгляде на посетительницу в его памяти живо всплыла безобразная сцена, разыгравшаяся в доме Сальникова, когда он ходил туда за справкой; ярко вспомнилась физиономия пьяной Фрузки, которая сидела рядом с Баранковым, хохотала над его остротами и горланила песни.

— Что вы, Сергеич? И никогда к нему не ходила! Стану я ходить к такому дураку и пьянице!

Венецкий поднял глаза от какой-то бумажки, которую вертел в руках.

— Неправда! Я сам вас там видел, когда вы вместе с Баранковым собирались вешать всех жидов и коммунистов, и меня в том числе.

— Ах, что вы? Вы, верно, обознались!

— Я был трезв, Ефросиния Константиновна, — сухо сказал Венецкий. — И память у меня получше вашей, так что врать не стоит…

Катковская уже сама поняла, что врать не стоит.

— Ах, помню!.. Теперь помню!.. Я тогда к ним по делу пришла, а Иван (он же был такой нахальный) пристал ко мне, чтоб я выпила спирта… и я после совсем ничего не помню…

— Ну, а зачем вы ко мне пришли? — прервал Венецкий. — Неужели только поздравить?

Фруза поправила платок на голове и кокетливо улыбнулась.

— Выпишите мне, пожалуйста, хлеба!

— Разве у вас хлеба нет?

Фруза в ответ расхохоталась.

— Что вы, Сергеич? Это только у дураков, которые по сторонам зевают, нет хлеба; а я-то, слава богу, не дура!..

— Зачем же вам выписывать хлеб? — Венецкий говорил тихо, приглушенным голосом, еле сдерживаясь.

— Как зачем? Он же мне не лишний!.. Теперь хлеб вместо денег… А я работаю: комендантам белье стираю…

— За стирку белья коменданты сами с вами расплачиваются хлебом: это я сам видел, и не далее, как вчера…

— Это сухим-то, плесневелым?… Да разве это хлеб? Его свиньи есть не станут!..

— Свиньи, может быть, и не станут, а люди едят! А для того, чтоб на пекарне хлеб получать, вы слишком умны: его там и для дураков маловато!..

Фрузка вытаращила глаза, не сразу поняв смысл сказанного; потом сообразила и закричала визгливым голосом:

— Так я к коменданту пойду жаловаться!.. Я работаю! Я имею право хлеб получать!.. Еще чего придумали, каким-то лодырям давать, а рабочему человеку и хлеба нет!..

Венецкий встал из-за стола, подошел к Фрузе, взял ее сзади за плечи, повернул и слегка подтолкнул к двери.

— Идите домой, умная женщина, и больше ко мне с подобными просьбами не являетесь! — сказал он, не повышая голоса. — И имейте в виду: если не хватит хлеба дуракам, я у вас отберу, а их накормлю! Идите!..

Фруза Катковская шла домой, раскрасневшись от злости, и ругательски ругала «Ленку-агрономшу», которая, по ее мнению, выхватила у нее из-под носа бургомистра.

— Если бы не это стерва, разве бы он меня так оскорбил? — рассказывала она всем своим знакомым. — Это все она ему про меня набрехала… Мне еще ни один мужчина не отказывал, что бы я не попросила…

Но про то, что после этого случая, по неизъяснимой прихоти ее сердца, молодой и красивый бургомистр стал ей нравиться еще больше, чем прежде — она не рассказала никому.

Потерпев неудачу с попыткой приворожить Венецкого, она решила снова обратить свои чары на немцев, но Шварц был к ее любезностям совершенно невосприимчив, а Раудер держал себя слишком неприступно, и ей пришлось удовлетвориться «долмечером» Конрадом.

В результате этого и появились в отчете мельника вышеупомянутые строчки.

Из-за этих двух пудов хлеба Венецкий потратил полдня на бесполезную словесную войну: он разнес Терещенкова, поругался с Конрадом, объяснялся с Раудером (Шварц в этот день куда-то уехал), но в конце концов ему пришлось уступить: хлеб, полученный на мельнице, у Фрузки остался, и бумажка на ежедневное получение хлебного пайка из пекарни ей тоже была выписана, хотя без подписи бургомистра, зато с подписью коменданта.

Венецкий послал про себя нахальную Фрузку к черту и решил не связываться.

В тот день он впервые почувствовал, что, хотя он и хозяин города, но власть его — понятие весьма относительное.

Глава 11
Под мирной властью крайсландвирта

По всей Пролетарской улице, которая теперь называлась «Хауптштрассе», или «главной улицей», стояло множество саней: это по распоряжению коменданта съехались старосты деревень со всего района.

В большом зале и коридоре бывшей школы собралось более трехсот человек; тут было много седых стариков, были мужчины средних лет, несколько юношей, почти мальчиков и даже две женщины, хотя по немецким законам им не разрешалось занимать административные должности.

Маруся регистрировала прибывших, а сидевшая рядом с ней Лена вписывала фамилии старост в пустые графы длинного, на немецком языке, списка всех деревень района.

Стоял гул, вернее, шелест от шепота многих голосов; громко почти никто не говорил, даже на вопросы Маруси большинство отвечало вполголоса.

Вошли зондерфюреры Раудер и Шварц в сопровождении переводчика Конрада и бургомистра Венецкого.

Раудер взял из рук Лены список, посмотрел его и поморщился: восемь деревень не имели отметки о прибытии старост.

— Все ли зарегистрированы? — спросил он.

Конрад по-русски повторил вопрос, ответа на него не последовало.

Венецкий на всякий случай крикнул в коридор:

— Все ли записались?

В коридоре нашлось еще два человека незаписанных, шестерых так и не обнаружили.

Раудер что-то проворчал насчет русской неаккуратности и приказал всем зайти в зал.

Конрад, при помощи неведомо откуда подоспевшего Виктора, втиснул всех в комнату, и Раудер в битком набитом зале начал собрание.

Прежде всего он сообщил собравшимся, что Липня и весь Липнинский район находится под властью Германии, что все избранные старосты, являясь начальниками у себя в деревнях, должны во всем подчиняться немецкой власти, в частности — непосредственно Крайсландвирту.

Затем он заверил, что Крайсландвирт со своей стороны сделает все возможное, чтоб помочь наладить в районе сельское хозяйство, особенно в тех деревнях, которые пострадали от войны.

И напоследок он представил всем собравшимся их непосредственных русских начальников: бургомистра Николая Сергеевича Венецкого и шеф-агронома Анатолия Петровича Старова.

Последнего Раудер на днях привез из Бахметьевского лагеря. Это был воспитанник Темирязевской академии, крупный агроном, имеющий свои научные труды, но в настоящее время, после ранения и лагеря, он еле передвигался на костылях.

По окончании речи Раудер взял список и начал сам вызывать записанных, но из этого ничего не получилось: оба, и зондерфюрер, и переводчик, так перевирали русские фамилии и названия деревень, что их никто не понимал.

Пришлось за это дело взяться Марусе. Звонким отчетливым голосом диктора она вызвала девять человек первого по списку Автономовского сельсовета.

— Пусть выйдут вон и изберут между собой старосту сельсовета! — приказал Раудер.

Автономовские начальники деревень начали неуверенно пробираться к выходу: видно было, что они не совсем поняли, зачем именно их отослали.

Тогда на помощь им в коридор вышел Венецкий.

Следующим был отправлен в коридор на совещание коллектив старост Барановского сельсовета, затем Вознесенского, и так далее, по алфавиту.

Седьмым по списку был Завьяловский сельсовет — пригородный, земли которого вплотную примыкали к городской территории.

— Деревня Завьялово, Лисенков Василий Данилович! — вызвала Маруся.

К столу, расталкивая народ, торопливо подошел еще не старый человек, высокий, худой, рыжеватый, с мелкими, женственными чертами лица и бегающими зеленоватыми глазами.

Этого человека все приметили еще до начала собрания, так как он громче всех и больше всех разговаривал и очень усердно ругал Советскую власть.

Даже теперь, представ перед лицом сурового Раудера, он счел своим долгом сообщить ему свое мнение о текущей политике.

— Немец гут, пан комендант!.. немец — хорошо!.. Коммунист — …, - он добавил ставшее уже общеизвестным немецкое

ругательство.

Раудер холодно усмехнулся, удивляясь как лексикону русского старосты, так и его подхалимству, и презрительным тоном произнес по-немецки длинную фразу, смысла которой не понял даже переводчик Конрад. Но Лисенков, не смущаясь, притворился, что понял и с готовностью закивал головой:

— Я!.. Я!.. Пан комендант!.. Истинная правда!.. Житья нам не было от ферфлюхтых коммунистов!.. Мучали они народ, можно сказать, живьем ели… Так уж мы рады, что от них, значит, избавились!..

— Ну и тип! — шепнула Маруся, дернув Лену за рукав.

— А я этого типа знаю! — ответила та, но продолжать разговор было некогда: зондерфюрер нетерпеливо отмахнулся от Лисенкова, как от назойливой мухи.

— Некste, некste!..

* * *

Три года тому назад, когда Лена окончила техникум и начала работать в Липнинском райзо, у нее получился большой конфликт с председателем Завьяловского колхоза «Новая жизнь».

Дело было в ноябре, уже выпал снег. Лена, которую направили в одну из ее первых командировок, проходя через земли Завьяловского колхоза, увидела большое поле овса, неубранное и засыпанное снегом.

Она свернула с дороги, зашла в правление колхоза и, не говоря ни слова про овес, попросила дать ей копии сводок по уборочной кампании, под предлогом, что в райзо они куда-то затерялись.

Ничего не подозревавшие председатель и счетовод очень любезно исполнили ее просьбу.

— У нас все сводочки в аккурате, как говорится, в ажуре! — похвалился председатель. — Недаром мы по сельсовету первые!..

— И уборка у вас тоже в ажуре? — спросила Лена.

— А неужели ж?! Все в порядке! Заканчиваем сдачу хлеба государству… Вот поинтересуйтесь: квитанции из Заготзерно…

Лена перелистала колхозные бумаги.

— Сколько колхоз сеял овса? — спросила она неожиданно.

— Семьдесят два га! Посмотрите сами, тут указано…

— А сколько убрано?

Глаза председателя забегали.

— Разве вы не видите? Семьдесят два га…

— Видеть-то я вижу, — сухо проговорила Лена. — Только тут

где-то ошибка: должна быть разница гектар на пятнадцать — поле за кладбищем, которое под снегом осталось…

Лицо председателя покрылось красными пятнами; от его любезности не осталось и следа.

— Ты это мне что, указывать пришла?! — закричал он высоким, пронзительным голосом. — Сиди у себя в райзо да подшивай сводки, а на поле без тебя разберутся… Тоже мне нашлась «агроном»!.. Чихал я на таких агрономов!..

Лена молча повернулась и вышла.

Через полгода после этого в Липне был «показательный суд»: судили председателя колхоза «Новая жизнь» Лисенкова Василия Даниловича — судили за многое: за развал колхозной работы, за очковтирательство, за систематическое пьянство, за хищение колхозного имущества. Обвинительных документов против него собралось столько, что толстенная папка не могла закрыться и торчала на столе дыбом.

Где-то среди других бумаг была в этой папке подшита и докладная агронома Е. М.Соловьевой об оставленном под снегом овсяном поле.

Лисенкова тогда исключили из партии и приговорили к десяти годам концентрационного лагеря.

И вот теперь этот самый человек появился перед немецким комендантом уже в роли старосты той самой деревни Завьялово, которая при советской власти называлась колхозом «Новая жизнь».

— Хотя бы сельсоветским не его выбрали, а кого-нибудь другого! — тихо сказала Лена, когда завьяловские старосты в количестве восьми человек скрылись за коридорной дверью.

Но ее желание не исполнилось: с очень недолгого совещания Лисенков вернулся с таким победоносным видом, что не осталось никакого сомнения в том, что старостой Завьяловского сельсовета избран именно он.

Собрание продолжалось.

…. Ивановский сельсовет, Ковалевский, Коробовский, Крыловский, Ломакинский, Луковский, Марковский, Молотиловский, Моховский, Неждановский…

Одна за другой исчезали за дверями коридора группы людей и возвращались обратно, выбрав себе начальника из своей среды.

Последним в списке был Яворовский сельсовет.

— Старосты сельсоветов должны остаться здесь, остальные пусть едут домой! — распорядился Раудер.

Через полчаса в комендатуре вместо трехсот человек осталось только двадцать семь — по числу сельсоветов, а остальное деревенское начальство, кто в санках, кто пешком,

отправились восвояси.

Сразу сделалось свободно.

Раудер взял начерченную рукой Лены карту района с обозначениями сельсоветов и по очереди вызвал к столу нескольких старост.

Когда вызванные приближались, он их внимательно разглядывал, как бы определяя, на что эти люди годны. Под его холодным, проницательным взглядом некоторые смущались, не зная, куда девать руки и ноги, другие пробовали разговаривать. Лисенков все время порывался подойти, но его так и не удостоили приглашения.

Закончив этот осмотр, зондерфюрер Раудер попрощался и ушел.

Тогда заговорил Шварц, до сих пор молча сидевший за столом; он начал расспрашивать старост о их жизни и хозяйстве, о том, насколько разрушены их деревни, в чем они нуждаются в первую очередь…

При Раудере все держались почти навытяжку, мяли шапки в руках и говорили шепотом, а добродушный Шварц сразу сумел найти с людьми общий язык, и они разговорились, хотя переводчик Конрад ушел вместе с Раудером; переводили понемногу все: Маруся, Лена, даже Николай Сергеевич, за эти дни напрактиковавшийся в немецком языке.

Неожиданно нашелся еще один знаток немецкого языка — староста Моховского сельсовета Прохор Ермолаевич Гнутов.

Это был старик лет шестидесяти, огромного роста, грузный, похожий на медведя; у него были густые, полуседые курчавые волосы и широкая, еще черная борода; из-под нависших бровей смотрели умные, зоркие глаза.

Он держался с достоинством, даже важно, без униженных поклонов. Еще в присутствии Раудера он нашел себе место на подоконнике, сел и просидел все собрание молча, внимательно слушая. Когда начал говорить Шварц, он вступил в разговор и обнаружил неплохое знание немецкого языка, правда, не литературного, а одного из многочисленных провинциальных наречий; для того, чтобы взаимно понимать друг друга, этих знаний, приобретенных им в немецком плену после первой мировой войны, было вполне достаточно.

Его разговор со Шварцем затянулся довольно долго, и расстались они большими приятелями, к досаде и зависти Лисенкова, который по-немецки знал только «я, я», «гут», «никс гут» и несколько ругательств.

В конце собрания Маруся раздала старостам заранее приготовленные пачки всевозможных «бефелей» и бланки

переписи, которую собирался проводить Крайсландвирт. Бланки эти были напечатаны на русском языке Клавдией Ивановной на спасенной ею машинке.

* * *

Пример первого частного предпринимателя в Липне Федора Егоренкова оказался заразителен: в течение одной недели получили патенты на право частной работы — портной, две портнихи, два сапожника, слесарь-кузнец, жестянщик, часовых дел мастер, парикмахер. Патенты уже не писались от руки, а печатались на машинке, что придавало им солидный вид.

По распоряжению Шварца, желавшего поднять частную промышленность, все эти люди были зачислены на хлебное довольствие, как рабочие, что давало бургомистру основание и право требовать, чтоб они не отказывались работать за деньги, и он это требовал, а каждый частник старался получить за свою работу хлебом, солью или еще какой-нибудь натурой.

Одновременно с развитием деятельности частников одно за другим начинали работать государственные предприятия.

Возобновила работу почти неповрежденная электростанция, начала сборку своей разрозненной техники МТС, шел ремонт маслосырзавода, был взят на учет склад кожсырья, почти полностью уцелевший, так как летом невыделанные кожи никому не были нужны, и охотники чужого добра только теперь начали до них добираться.

Учтено было все, что уцелело на разных концах города от многочисленных пожаров и еще более многочисленных разграблений; всего этого было очень мало, но все же оно давало иногда возможность вывернуться из затруднительного положения.

В городском Управлении под начальством бургомистра уже работало человек десять; здесь теперь вершился суд, разбирались тяжбы, направлялись на работу люди, принимались отчеты предприятий. В кассе уже собралось немало денег — за хлеб, за патенты и прочее, и можно было начать платить людям зарплату, хотя, по правде говоря, люди ею очень мало интересовались.

Венецкий работал с утра до позднего вечера, работал с увлечением и умудрялся поспевать всюду.

Лена с интересом наблюдала за ним и на работе, и дома: недавний измученный пленный, хмурый, угрюмый, пришибленный, не знавший, куда ему деваться, — на глазах делался совершенно другим человеком. Он теперь чувствовал

почву под ногами и дело в руках; к нему вернулась его гордая осанка, в голосе все чаще и чаще слышались властные металлические нотки, хорошо известные тем, кто работал под его начальством до войны; его решения были быстры, часто совершенно неожиданны, но справедливы и тверды, и этих решений люди слушались, хотя иногда, конечно, ворчали, но до жалоб дело не доходило, и история с хлебом Ефросинии Катковской была пока единственным случаем неповиновения.

Зондерфюрер Раудер не раз оглядывался, заслышав уверенный звучный голос бургомистра, оглядывался и довольно усмехался: ему нравился человек, которого он сам лично назначил на этот пост.

* * *

К разнообразным и многочисленным работам, выполняемым бургомистром и его сотрудниками, неожиданно прибавилась еще одна: в здание, где размещалась вся немецкая и русская власть города, пришла молодая пара с заявлением, что они желают пожениться; сперва они обратились к Шварцу; тот подумал и послал их к бургомистру.

— Час от часу не легче! — воскликнул Венецкий, когда жених с невестой растолковали ему, зачем они пришли. — Загс надо открывать!.. Ну, что же делать?… Клавдия Ивановна! Напечатайте им удостоверение, да покрасивее!..

Клавдия Ивановна постаралась: «свидетельство о браке», напечатанное на оборотной стороне разрезанного на кусочки плаката, было на вид очень красиво и походило на настоящее.

На другой день явилось сразу несколько пар, принесли также регистрировать несколько новорожденных детей.

— А ведь женишки-то все без русских паспортов — зятьки! — заметила наблюдательная Клавдия Ивановна.

— Я тоже зятек! — усмехнулся бургомистр.

— Сергеич! А ведь и вам тоже надо такое удостоверение! — машинистка уже подняла руки, собираясь печатать.

Но, к ее удивлению, Венецкий вспыхнул.

— Спросите Лену! Пусть она решает… — и поспешно вышел из комнаты.

Клавдия Ивановна пожала плечами и решила никого не спрашивать; она подумала, что Венецкий хочет сперва оформить свой окончательный развод с Валентиной.

Однажды, когда бургомистр был один, к нему обратился Виктор Щеминский.

— Николай Сергеич, дело у меня к вам есть, очень, очень важное!..

Физиономия его была непривычно серьезной.

— Ну, выкладывай, что такое?

— Просьба у меня к вам очень большая, огромная!.. Выручите меня!..

— Да в чем дело? Что за огромная просьба? — нетерпеливо спросил бургомистр.

Витька подошел к двери, открыл ее, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, опять закрыл дверь, на этот раз на крючок, и только тогда с таинственным видом заговорил:

— Николай Сергеич! Завтра мы с Шуркой придем к вам записываться, а вы нас не записывайте!.. Откажите!

— Куда записываться? — не понял Венецкий.

— Ну, жениться!..

— Ты жениться собрался?

Витька с комически испуганным лицом поднял обе руки к потолку.

— Сохрани меня Боже!.. Это не я, это она, Шурка, все затеяла, я от нее отделаться не могу, потому вас и прошу, чтоб вы нас не записывали!..

— Кто такая Шурка?

— Соседка наша, Степченкова Шурка… она уже старая, ей скоро сорок лет… а с рожи она настоящая драная кошка… и двое детей у нее, и муж на фронте…

— Как же ты у ней угодил в женихи? — рассмеялся Николай Сергеевич.

— Она меня из лагеря взяла… я был в Бахметьевском лагере… Она туда ходила своего мужа искать… а его там не было… Она меня увидела и взяла… Я ее сам попросил…

— Ну, за это ты ей должен спасибо сказать, что она тебя выручила!

— Да я ей говорил и тысячу раз могу сказать, да ей мое спасибо ни к чему… Тут еще беда в том, что наш-то дом сгорел, а моя мать с сестрой как ушли в беженство первый раз, так и живут в деревне. Пришлось мне у Шурки поселиться…

— Выходит, что ты к этой Шурке «в зятьи пристал»?

— Ну, да!.. А теперь я от нее не могу откараскаться…. Вы нас не жените!

— А ты сам не женись!

— Сергеич! Не могу! Обещал под пьяную лавочку…

— Не надо было пьяным напиваться.

— Так угощает же!.. У нее под полом целый спиртзавод!.. Когда она только управилась натаскать такую прорву!..

— Уйди ты от нее куда-нибудь на другую квартиру!.. — посоветовал Венецкий.

— Пробовал!.. Уходил!.. Она в хвост бежит, назад тянет… Сергеич, голубчик! Вы нам завтра откажите!.. Придумайте какую-нибудь причину!..

Отчаяние Витьки было таким комичным, что Венецкий еле удерживался от смеха.

На следующий день жених и невеста явились. Следом за ними в дверь проскользнула любопытная Маруся и остановилась около Клавдии Ивановны.

При первом взгляде на расфранченную Александру Степченкову бургомистру вспомнилось, как ему пришлось ходить за справкой к другому бургомистру — Сальникову: тогда в числе пьяных гостей там сидела за столом и эта женщина.

Виктор делал знаки из-за плеча своей невесты; Венецкий медлил: он так и не придумал никакого предлога, чтоб отказать этой паре в регистрации.

Тут вмешалась Клавдия Ивановна.

— Эй, Тимофеевна! — громко обратилась она к Степченковой. — Ты это что придумала? За сынка своего замуж собралась, да еще за самого младшенького?… А Семеныч твой где?

— А тебе чего надо? — огрызнулась невеста. — «Семеныч, Семеныч!»… Почем я знаю, где?… У русских Семеныч остался… Теперь все так делают… Вот и у Сергеича — родная жена у русских, а он с Михайловной поженился…

Бургомистру на этот выпад отвечать было нечего, он промолчал, но Клавдия Ивановна не отступала.

— Сергеич с Михайловной оба молодые; вот и ты бы подобрала себе по годам человека… а то мальчишку забратала, сопляка!.. Небось, его мать моложе тебя?…

— Нет, моя мать старше — на четыре года! — басом пробубнил жених.

— Ну, не знаю, а на лицо она моложе и красивее…

— А ведь вам жениться нельзя! — неожиданно прозвучал уверенный голос Маруси, и все глаза обратились на нее. — По немецкому закону, если между женихом и невестой больше десяти лет разницы — их не женят!..

— Неужели? Правда?

— Правда! Можете спросить самого коменданта!

Лицо Маруси было непроницаемо, в голосе звучало деловитое сожаление и хотя все, кроме невесты знали, что она врет, у всех невольно шевельнулась мысль: неужели действительно существует такой закон?

Пришлось Александре Тимофеевне Степченковой возвращаться домой, так и не оформив брака с молодым мужем.

Когда она была уже в коридоре, Виктор на секунду задержался, отвесил по адресу Маруси и Клавдии Ивановны низкий театральный поклон и скорчил гримасу, долженствующую обозначать глубокую благодарность.

* * *

После большого собрания старост прошла неделя, и понемногу в Крайсландвирт начали поступать из деревень заполненные бланки, в которых указывалось количество населения с подразделением на мужчин, женщин и детей, количество лошадей, коров и прочего скота и птицы, количество гектаров разных посевов, в том числе убранных и неубранных, количество домов, целых и сгоревших.

Ручаться за достоверность этих сведений было нельзя — многие старосты, безусловно, исказили, утаили и просто напутали, но все же при сопоставлении всех данных картина получалась довольно яркая.

Восточная половина района, захваченная немцами только осенью, при вторичном наступлении, была сравнительно благополучной: урожай там был почти полностью убран еще при советской власти; отступление русских войск и наступление немецких произошло быстро, в течение нескольких дней и почти без боя.

Русские перед уходом не успели почти ничего уничтожить, а немцы проследовали дальше на восток так стремительно, что им некогда было грабить; поэтому в восточной части района кое-где уцелели даже куры — первейший предмет охотничьих и кулинарных вожделений германских солдат. В порядочном количестве оказались коровы, лошади, овцы, свиньи; сгоревших домов были единицы.

Сносным было положение в крайних западных сельсоветах — Дубовском, Гавриловском и Ежовском, которые были захвачены немцами раньше всех и обратно в советские руки не переходили.

Зато вся средняя часть района, включая город Липню, была совершенно разорена; по неширокой полосе земли, всего около двадцати километров шириной, которая пересекала район с севера на юг, за лето и осень прокатились три больших фронта и неисчислимое количество маленьких.

Около сорока деревень сгорело полностью, до последнего хлевка, в других оставались по две-три хаты; население ютилось в

окопах и по другим деревням; скот был съеден войсками и, в довершение всего, три четверти посеянного хлеба и картошки было похоронено под тостым слоем снега, так как убирать урожай не было возможности из-за беспрерывных боев.

На эти деревни уже вплотную надвигался голод.

Шварц позвал к себе Лену и задал ей сложную и ответственную работу; правда, как он говорил, это должен был сделать новый шеф-агроном Старов, но шеф-агроном не знает Липнинского района и всех его особенностей, а «кляйне агрономин» — в курсе дела и лучше всех справится с этой задачей.

Заметно было, что Шварц жалеет, что по немецким правилам женщины не могут занимать ответственные посты; он высоко ценил Лену как толкового, знающего и бескорыстного работника.

Анатолий Петрович Старов, еще не оправившийся от ранения и голода, был видимо очень рад, что работа, которую сначала взвалили на него, была поручена другому человеку.

А работа состояла в следующем: Липнинский район, как сильно пострадавший от военных действий, был освобожден от поставок на содержание немецкой армии, но никакой помощи извне для гражданского населения не предвиделось. Приходилось обходиться собственными ресурсами.

И Шварц придумал обложить хлебным и картофельным налогом уцелевшие деревни, чтоб затем распределять эти продукты между голодными погорельцами другой половины района.

Это было соломоновское решение, но выполнение его было делом далеко не легким.

Лена сидела полную неделю, распределяла, зачеркивала, опять перераспределяла, используя и материал переписи, и собственный опыт и знания.

Когда эта разверстка была, наконец, закончена, зондерфюрер ее бегло проглядел, также бегло сопоставил с картой — и распорядился проводить ее в жизнь, сказав, что проверять не стоит: он уверен в справедливости и добросовестности автора.

* * *

— Николай Сергеич!!! — запыхавшийся Володя Белкин не вбежал, а пулей влетел в кабинет Венецкого. — Опять пленных гонят!.. и все раненые, обмороженные, еле тащатся… Надо им помочь как-нибудь!..

Венецкий вскочил.

Он, как и Володя, хорошо помнил плен и все его мученья; им обоим повезло — удалось вырваться; теперь они жили по-человечески, но жизнь властно напоминала, что война не кончена, что есть на свете тысячи людей, для которых голод, холод и издевательства плена являются не прошлым, о котором не хочется вспоминать, а настоящим.

После своего освобождения Венецкий видел еще несколько колонн, прошедших сквозь Липню; тогда он смотрел на них из окна и нервничал, сознавая свое бессилие…

Но сегодня?… Сегодня, когда он — бургомистр, надо сделать все возможное, употребить всю полноту власти, все законные и незаконные привилегии своего служебного положения, чтоб помочь этим людям.

Николай Сергеевич быстро прошел из своего кабинета в канцелярию Крайсландвирта.

— Лена, пойдем со мной к Раудеру!

Лена, которая в эту минуту сосредоточенно работала над своей продразверсткой, взглянула на него с удивлением и даже с легкой досадой.

— Зачем? Что случилось?

— Пленных надо выручать!.. Опять гонят колонну. Я не хочу говорить через Конрада: он напорет отсебятины, а я один с комендантом не дотолкуюсь… Пойдем, ты переведешь….

Лена быстро встала и отодвинула в сторону бумаги.

Раудер и Конрад оказались уехавшими в Мглинку; Венецкий этому обрадовался: можно было обратиться к добродушному Шварцу, на содействие которого было больше надежды.

— Господин зондерфюрер! — сказал Николай по-русски, не надеясь на свой немецкий язык. — Идет колонна русских пленных, среди них много больных и раненых. В такие морозы они все могут погибнуть… Надо им помочь!..

— Вас хат ер гезагт? — спросил Шварц Лену.

— … Дорт ам штрассе видер геен ди гефангене… — начала подбирать слова Лена. — Филь фервундете унд кранке… Ман мусс хельфен…

Шварц, как всегда, спокойно и серьезно выслушал это сообщение, вникая в смысл и не обращая внимания на грамматические ошибки.

— А как бургомистр думает им помочь? — спросил он.

— Алле фервундете ин Липня лассен! — воскликнула Лена, не спрашивая бургомистра, что он думает.

Старый немец покачал головой.

— Дас геет нихт! — сказал он. — Это невозможно!.. В Липне нет ни лагеря, ни конвоя. Я бы рад помочь, но это запрещено.

Но в эту самую минуту в комнату ввалились два промерзшие немца, приветствовали зондерфюрера торопливым «хайлем» и быстро затараторили.

Лена мучительно-напряженно вслушивалась в их невнятную речь, силясь понять, о чем идет разговор; она слышала много отдельных знакомых слов, но не смогла уловить связи между ними.

Вдруг Шварц указал на Венецкого и произнес фразу, которую и Николай, и Лена поняли:

— Бургомистр хочет взять раненых пленных на свое попечение…

Конвойный немец быстро обернулся к Венецкому и что-то спросил; Венецкий наугал ответил утвердительно.

— Комм, комм мит, бюргермайстер!

Нахлобучив шапку и на ходу надевая шинель, Николай побежал за немцем, за ним последовали Лена и Володя.

Пленных было тысяч пять, или шесть. Они стояли на улице тесной толпой, дрожа от холода и прижимаясь друг к другу, чтоб согреться; некоторые переминались с ноги на ногу, многие, обессилев, сели прямо в снег; конвойных с ними было человек двадцать.

Заходивший к Шварцу начальник конвоя стал сортировать пленных на две группы.

— Кранк!.. Фервундет!.. Гезунд!.. гезунд!.. фервундет!.. — слышался его резкий голос, и его помощники расталкивали пленных на две группы.

— Больных оставят здесь и положат в больницу! — проговорил Венецкий умышленно громко, чтоб все пленные его слышали. — Давайте сюда всех больных, раненых и обмороженных!..

Среди пленных пошел говор.

Одни с любопытством и надеждой, другие с подозрением и неприязнью поглядывали на распоряжавшегося начальническим тоном русского человека в гражданской шапке и военной шинели без отличий, на его помощника в черном полушубке с повязкой «ОД» на рукаве, на молодую женщину в белом шерстяном вязанном платке…

Пересортировка длилась целый час. Больных и раненых оказалось более половины.

Начальник конвоя построил здоровых и отправил их дальше со своими помощниками, а сам на минутку задержался с бургомистром.

— В лагерь, в Бахметьево! — сказал он, показывая на уходящую колонну здоровых, и, понизив голос, добавил. — Я там

скажу, что этих (он указал на толпу остающихся раненых), этих я перестрелял по дороге. — и для большей понятности прибавил: «Пиф-паф!»

Венецкий понимающе улыбнулся: начальник конвоя оказался человеком.

— Хайль Гитлер, бюргермайстер!

— Аллес гуте! — ответил Николай, который, приветствуя немцев, никогда из принципа не поминал Гитлера.

Колонна с конвоем ушла, а почти трехтысячная толпа больных и раненых осталась посреди холодной заснеженной Липни.

— А вы, товарищ, кто такой будете? — спросил Венецкого небольшого роста веснушчатый красноармеец с головой, повязанной грязной тряпкой. — Или, может быть, вас нельзя звать товарищем?

Венецкий широко улыбнулся.

— Звать меня можно, как угодно, а по должности я — бургомистр города.

— Куда же нас теперь денут? — полюбопытствовал другой пленный.

Бургомистр города на минуту задумался, потом развел руками.

— А я еще и сам, друзья, не придумал, куда вас девать!.. Я ведь не рассчитывал, что так удачно получится!.. Я сам был в плену, знаю, как там сладко… Ну, я и попросил коменданта, чтоб вас, раненых, оставили здесь… Но я даже не думал, что это удастся…

Он только теперь вполне представил себе, какую огромную обузу взвалил он экспромтом на свою буйную голову: он одним махом почти вдвое увеличил население разоренной, голодной Липни, и это новое население нуждалось решительно во всем: в помещении, в пище, в одежде, в уходе, в лечении и почти неспособно было ни на какую работу…

— А что вы про больницу говорили? — прохрипел весь обвязанный раненый солдат, опиравшийся на большую суковатую палку; он весь дрожал, еле держался на ногах и без этой палки, вероятно, давно бы уже свалился по дороге.

— Больницы-то у меня нет… — начал Венецкий, но Лена перебила его.

— Как это нет? Два корпуса целы и пустые — я сама на днях видела.

— Целы? Ну, тогда оборудуем!.. У нас в обратном порядке: сперва больных достали, а потом будем делать больницу… Врачи среди вас есть?

Выступило вперед три человека.

— Будете начальниками над всей командой!.. Пошли в больницу!

* * *

Весь этот день прошел в хлопотах по устройству пленных; в это дело включились и Маруся, и Клавдия Ивановна, и Виктор Щеминский, и многие другие.

Городская больница помещалась на краю Липни, рядом с кладбищем, на берегу реки; два корпуса из четырех были разбиты и исковерканы бомбежками, а два, действительно, целы и никем не заняты.

Но в окнах этих корпусов не было ни одного стекла, пустые палаты были засыпаны снегом; кое-где по углам стояли койки, но ни одного одеяла, ни одной подушки или матраса не оказалось: все было давно растащено.

Некоторые из пленных, видя, что их конвой ушел, начали потихоньку расходиться по сторонам, заходили в дома, многим из них удалось отогреться и перекусить в квартирах жителей, некоторые остались там совсем, но большинство поплелось кучей, по инерции, туда, куда их повели. Добравшись до разоренной больницы, почти все свалились и сидели или лежали в полном бессилии.

К счастью для них, выглянуло солнце; потеплело. К тому же кто-то догадался разжечь на больничном дворе несколько костров.

Володя Белкин еще раньше, чем раненые могли дотащиться до больницы, побежал по домам и собрал целую бригаду из своих бывших товарищей по работе; они встретили раненых в больнице с топорами и пилами, вместе с ними было человек тридцать женщин с лопатами и вениками, которые добровольно, из сочувствия пленным, пришли очищать больницу от снега. Человек полтораста-двести из пленных — более крепкие — тоже взялись им помогать.

Работа закипела. К вечеру были навешены двери, забиты досками, железом, фанерой все окна, убран из помещения снег и мусор.

Хуже обстояло дело с отоплением: до войны больница имела центральное отопление и собственную котельную, единственную в Липне. Но от этой котельной оставалась только куча битого кирпича.

За организацию отопления взялся Виктор.

Взяв с собой несколько человек, он отправился к жившему на Заречье недалеко от больницы слесарю Буянову.

Матвей Иванович Буянов до войны работал на обозостроительном заводе, а при немцах служил в Баранковской полиции. После падения Баранкова он взял у Венецкого патент на изготовление железных печек и труб и занялся мирным честным трудом.

— Иваныч, сколько у тебя готовых печек? — без всяких приветствий и предисловий спросил Виктор, распахивая дверь большой комнаты, превращенной в мастерскую.

Хозяин замялся.

— Да вот… все… — он указал на угол, где у него лежала готовая продукция.

— Раз, две, три… восемь штук!.. Маловато!.. Но на сегодня и это хорошо; завтра еще сделаешь штук десять… Забирайте печки, ребята!

— Куда, куда, Виктор Степаныч?!. Это же на заказ сделано… Мне люди уже заплатили!..

Буянов растопырил руки и пытался загородить свои изделия собственным телом, но Виктор бесцеремонно отодвинул его в сторону.

— «Куда, куда!» — передразнил он Буянова. — Не кудахчи! В больницу, для пленных, для раненых — вот куда!. Ты тут дома в тепле сидишь, а они, целая колонна, на дворе мерзнут!.. А ты еще жалеешь!.. Жмот!..

— Я же работал, и железо собирал! — горячился слесарь. — Разве это легко? Железо-то теперь под снегом, его и не найдешь… Кто же мне заплатит?

— Венецкому говори! Если ты стоишь того, чтоб тебе платить — он заплатит, а не стоишь — и так печки отдашь!..

Плоды трудов Буянова уже были вынесены на улицу.

— А как же мои заказчики?… Степаныч! Не могу я печки отдать — их люди ждут!..

— Подождут твои заказчики! — уже с крыльца хладнокровно отозвался Виктор, поправляя на плече винтовку.

Через час из заколоченных и еще не заколоченных окон больницы высунулись железные трубы, и из них повалил густой дым. По палатам начало распространяться тепло, и раненые потянулись от костров под крышу.

Но поместить под крышу и обогреть все это множество народа было только половиной дела: надо было еще их накормить.

Как только Венецкий убедился, что работа по уборке и оборудованию корпусов пошла полным ходом, он оставил за

главного начальника Володю, а сам вернулся в комендатуру и вызвал к себе Егоренкова.

— Здравствуйте, Сергеич! Денек-то сегодня какой хороший! — проговорил, входя в кабинет бургомистра, владелец липнинского «ресторана».

— Здравствуй, Федор Семеныч! Денек хороший, а дело у меня к тебе еще лучше!

— Какое же дело?

— Ты в плену был?

Егоренков удивился.

— В плену? А как же!.. Был… чуть с голоду не подох… хорошо, что нас через свои места повели, так что удалось удрать…

— Сегодня ты пленных видел?

— А неужели ж?.. Конечно, видел!.. Думали мы, что уже все, что их гнать не будут, а тут — на тебе!.. снова…

— Они остаются в Липне! — перебил его бургомистр. — Помещаем их в больнице… Вот тебе требования: получишь на пекарне весь готовый хлеб, а на мельнице еще триста килограмм муки; остальное достанешь сам! И всех пленных мне сегодня накормить!

Егоренков отшатнулся.

— Сегреич!.. Да что вы говорите?!.. Чем же я накормлю такую прорву?!..

— Если захочешь — найдешь, чем накормить!

Венецкий поднялся со стула, стоял, выпрямившись во весь рост, смотрел владельцу чайной прямо в глаза и чуть заметно насмешливо улыбался.

Егоренков хотел было еще что-то возразить, но вдруг раздумал, махнул рукой и рассмеялся.

— Ладно, Сергеич, накормлю! Сейчас своим бабам скажу, чтоб на всю армию баланду варили!

— Вот так-то лучше! — усмехнулся бургомистр.

— А хитер же ты, Сергеич! — сказал бывший продавец. — Первым делом — «был ты в плену?»… Ну, я пошел, значит, организовывать кормежку.

— Счастливо!

Когда солнце уже заходило, к больнице подъехало более десятка саней, принадлежавших помольщикам, постоянным клиентам чайной; на этих санях Егоренков привез хлеб и «баланду» в кадушках и молочных бидонах.

Володя, взявший на себя обязанности главного раздатчика, придирчиво попробовал «баланду»: она была еще горячая, в ней плавали ржаные клецки и кусочки картошки и капусты, была она

посолена и заправлена толченым льняным семенем, и по военному времени оказалась вполне съедобной.

Егоренков задание бургомистра выполнил добросовестно.

В комендатуре в этот день из русских сотрудниц сидела только одна Лидия Пузенкова; она тоже сходила на улицу, поглядела на пленных, поахала над их участью, а потом вернулась в канцелярию и прочно уселась на своем стуле.

Все прочие занялись сбором по городу одежды, белья, постельных принадлежностей и всего, что нужно было для оборудования госпиталя.

Анна Григорьевна Макова собственноручно притащила в больницу большой узел, и многие другие с радостью давали для раненых, что могли.

Но очень много оказалось и таких людей, которые отказывались дать хотя бы тряпку под предлогом, что у них самих ничего нет; эти люди жаловались на голод, на тяжелую жизнь, и в числе их были некоторые, про кого весь город знал, что у них-то как раз есть очень много своего и чужого имущества.

Казалось, что собрано очень много, но когда к вечеру все собрали вместе, то вышло, что всего этого в сравнении с количеством пленных было ничтожно мало.

— Если даже все белье разрезать на бинты — не хватит, чтоб всем нашим раненым сделать настоящую перевязку, — сказал принимавший вещи пленный врач.

А на что положить раненых? Чем накрыть все эти кучи людей, которые лежали вповалку на полу у конфискованных Виктором печек и пока больше ничего не требовали: больные, измученные, они рады были и тому, что их никто не гонит дальше и не колотит палками.

Счастливая догадка пришла в голову Марусе.

— Лен! — воскликнула она и распахнула дверь. — Смотрите, сколько льна! Его же можно использовать для постелей раненым.

Рядом с больницей, около сгоревшего льнозавода, с довоенного времени стояли нетронутыми громадные скирды льна.

Вскоре пол во всех палатах был устлан льном, на него уложили раненых и укрыли их тем же льном. Собранное белье решили целиком использовать для приготовления бинтов.

Несколько сот человек с самыми тяжелыми ранами перевязали, остальных из-за темноты отложили на завтра.

Бургомистр распорядился, чтоб на следующий день с утра, специально для пленных, затопили на днях восстановленную городскую баню.

Поздно ночью закончились хлопоты по устройству раненых.

Никто в городе в этот вечер не думал об оккупационном законе — не ходить по улицам после наступления темноты.

Когда Венецкий в три часа ночи, наконец, вытянулся на своей жесткой койке, он долго не мог заснуть, несмотря на усталость после хлопотливого дня; в первый раз после начала войны ему было так хорошо и радостно; хотелось смеяться, петь, рассказывать всему свету, как удалось сегодня сделать большое и хорошее дело.

Глава 12
Советская поповна

Венецкий, по горло занятый делами и хлопотами по восстановлению города, не замечал, что Лена, помимо своих продразверсток и прочих агрономических дел, с увлечением занимается чем-то еще, и был очень удивлен, когда однажды дома, будучи с ним вдвоем, она подала ему большой исписанный лист бумаги, где под текстом красовалось более двух сотен подписей.

Это было заявление от имени верующих города Липни и окрестных деревень о восстановлении и открытии в Липне Воскресенской церкви, которая перед войной была зерновым складом; от бомбежек церковь почти не пострадала.

В верхнем углу листа была пометка на немецком языке: «Я разрешаю! Ортскоммандант Шварц».

Венецкий бегло прочитал заявление и поднял на Лену несколько удивленные глаза.

— Хорошо! — сказал он. — Можно будет и этим когда-нибудь заняться… Но почему эти люди сами не принесли мне свое заявление, а действуют через тебя?

— Посмотри внимательнее! — сказала Лена строго.

Он посмотрел и только тут заметил, что заявление было написано рукою самой Лены, и на первом месте стояла ее собственная подпись.

— Похоже, что именно ты больше всех хлопочешь об открытии церкви? — с улыбкой произнес Николай.

В ответ на это Лена неожиданно рассмеялась.

— Эх, ты, Николай Сергеич, бургомистр липнинский! Да где же твои глаза? Столько времени ты живешь со мной вместе, люди меня твоей женой величают, а ничего-то ты про меня не знаешь!

— Постой, постой!.. Я слыхал, что Маруся тебя иногда почему-то поповной называет… Я считал, что это просто шутка… В чем тут дело?

— А в том дело, что я и есть самая настоящая поповна, только не такая, как были до революции, а советская поповна: я дочь человека, который был священником не тогда, когда духовенство в почете было, а при советской власти, который всю жизнь был вне закона, был лишенцем, который погиб в ссылке, но свою веру не продал!

Николай не узнавал свою Лену: она уже не смеялась, теперь ее побледневшее лицо со сверкающими глазами напомнило ему

лицо боярыни Морозовой с Суриковской картины, репродукция с которой висела у нее в комнате.

Да, по-видимому, она была права: несмотря на два с лишним месяца совместной жизни, он знал ее также мало, как в ту ночь, когда ее задержали во время военной игры и привели к нему, к «начальнику штаба».

Николай Венецкий вырос в семье неверующих родителей; но будучи человеком с собственной головой на плечах и с собственными мнениями, он считал, что следует уважать чужие убеждения и верования, что советская власть перегибает палку, разоряя церкви и преследуя служителей религии; считал также, что Христос как историческая личность, безусловно, существовал, и без него не могло бы существовать христианство. Но само христианство было таким же чуждым его сознанию, как поклонение Зевсу Олимпийскому или Амону-Ра.

Ему никогда не приходило в голову, что Лена, его друг, его названная жена, жившая с ним вместе, делившая с ним все радости и горести его бургомистровской доли, Лена, к которой он с каждым днем все больше и больше привязывался — эта самая Лена может принадлежать к числу последователей чуждой ему и мало понятной религии.

Он никогда не замечал, чтоб она молилась или крестилась, а на висевшую в углу икону Божией Матери обращал так же мало внимания, как и на остальные украшения стен: на вышивки, одна из которых изображала букет роз, другая — букет ивандамарий, а третья — сидящую на ветке жар-птицу с золотистым хвостом, на репродукции с картин «Над вечным покоем» и «Грачи прилетели» и с той самой «Боярыни Морозовой», на которую она вдруг сделалась так поразительно похожа…

Он даже не знал, принадлежат ли эти вещи Лене или остались от прежних хозяев.

— Да! Больше всех об открытии церкви забочусь именно я! — властно проговорила Лена и в ее голосе прозвучали новые, металлические ноты, которых он ранее не слышал. — И заняться этим надо не «когда-нибудь», а немедленно, чтоб на Рождество начать служение.

В эту ночь они не ложились спать.

В темной комнате, освещенной только робкими лучами луны, проникавшими через маленькие форточные шибки, да розовыми бликами от топившейся железной печурки, они сидели и говорили всю ночь, говорили о том, что оба хранили в тайне долгие годы, о чем никогда никому не рассказывали…

* * *

Нелегким было детство Лены.

Начало всему положил справедливый и мудрый закон об отделении церкви от государства.

Когда русская церковь потеряла свое привилегированное положение и одновременно освободилась от множества совершенно ей не подходящих гражданских обязанностей, значительная часть потомственного, кастового духовенства побежала прочь, как крысы с тонущего корабля, и поспешно перелицевалась на гражданский лад.

Но, вопреки ожиданиям многих, корабль, с которого они бежали, не потонул: на место трусов и дезертиров пришла новая сила.

На место тех, кто сан духовный унаследовал от отца, деда и прадеда, пришли люди не поповского рода, люди с молодыми горячими сердцами и сверкающими верой глазами, со звучными голосами и страстной любовью к Богу, к церкви, к богослужению.

Они пришли — и приняли достоинство тех, кто оказался слабым и малодушным, пришли — и завладели клиросом и алтарем и, не уместившись в тесных загородках, вышли на середину храмов, увлекая за собой предстоящих и молящихся, стирая границы между алтарем, клиросом и народом.

Бурные послереволюционные двадцатые годы были годами небывалого духовного расцвета русской церкви, годами расцвета народных добровольческих хоров, в которых пели стар и млад, родители и дети, и которые не могли уместиться за загородками прежних клиросов.

В двадцатом году в Днепровске был рукоположен в священнический сан один из самых энергичных местных деятелей народного церковного движения Михаил Степанович Соловьев.

Было ему в ту пору всего двадцать шесть лет; за месяц перед хиротонией он обвенчался с одной из многочисленных девушек — певчих народного хора. Звали ее Ниной, и казалась она тогда Михаилу лучше всех, красивее всех, и он уверен был, что она пойдет с ним вместе тернистым путем евангельской проповеди и, может быть, если придется, примет вместе с ним мученический венец за свою веру.

Шли годы.

Церковь и церковников притесняли все более. Было не отделение церкви от государства, а систематическое преследование.

Был основан союз воинствующих безбожников. Были сорваны с икон все драгоценности. Упали на землю и замолкли колокола. С каждым годом росли астрономические цифры церковных налогов.

Потом пошли по улицам антирелигиозные карнавалы с карикатурами на попов, хотя оригиналы этих попов, мздоимцев и пьяниц, давно уже удрали из ставшего невыгодным поповского звания, и нередко сами находились среди участников карнавалов.

Наконец, стали одну за другой закрывать и разорять церкви, одного за другим арестовывать священнослужителей — тех, кого еще не сломили ни лишенчество, ни налоги, ни клевета, ни издевательства…

Маленькая Лена научилась церковному пению, едва научившись говорить.

Церковь, освещенная огоньками восковых свечей, глядящая ласковыми ликами икон, звенящая голосами поющих — была самым светлым, самым радостным воспоминанием ее детских дней.

Ей шел восьмой год.

На всю жизнь, во всех подробностях запомнилась ей тревожная, бессонная ночь, когда пришли люди, которых в среде ее семьи и знакомых называли «гепеушниками», перевернули все в квартире вверх дном и увели отца.

Запомнила она и тюремные ворота, около которых они с матерью много раз, в толпе других людей, долгими часами стояли с передачей…

Когда они пришли туда в последний раз, передачу у них не приняли и сообщили, что Михаил Соловьев уже выслан на далекий север.

Прошел еще месяц, и их любимая церковь, где служил перед арестом отец Михаил, где пели в хоре Нина и маленькая Лена, была закрыта….

И девочка ничего не спрашивала, не плакала — она только смотрела большими расширенными глазами, удивительно похожими на глаза отца, — и молчала.

С этих дней она перестала быть веселым, доверчивым ребенком, она научилась молчать, научилась скрывать свои мысли и чувства.

Нина Васильевна горевала, плакала, искала сочувствия, а на глазах восьмилетней Лены с той самой ночи, когда ее отец ушел вместе с «гепеушниками», никто ни разу не видел слез.

Вскоре Нина Васильевна с дочерью переехала из Днепровска в Родославль, где у ее матери был собственный дом.

Лена никогда раньше не видела свою бабушку, которая была очень недовольна замужеством дочери со священником, и в письмах не раз упрекала Нину за то, что она не может заставить мужа бросить «поповство» и заняться чем-нибудь повыгоднее.

Сама бабушка Надежда Фроловна, высокая, толстая старуха с

громким густым голосом и властным характером, ходила по большим праздникам к обедне, молилась по пяти минут утром и вечером, крестилась перед едой и считала величайшим грехом пришить пуговицу или зачинить дырку в праздничный день.

Но церковь и молитвы она считала своей, старушечьей привилегией и авторитетно заявляла, что молодежи в церкви делать нечего, потому что не такое теперь время, а грехи замолить они успеют, когда состарятся.

Лене бабушка не понравилась, и старуха тоже невзлюбила внучку.

— Испортили девчонку! — ворчала она. — Хмурая какая-то, неприветливая, смотрит, как бык… ни поиграть, ни посмеяться… другая бы небось приласкалась к матери да к бабке, а она все молчит… бык и есть…

Но ни воркотня старухи, ни прозвище «бык» не могли заставить суровую девочку стать веселой и ласковой.

В первый же день приезда бабушка в разговоре с Ниной назвала Михаила дураком и прибавила:» Не горюй — это к лучшему, что его посадили: ты хоть теперь поживешь по-человечески, а то он и себе, и тебе жизнь испортил»…

Лена ждала, что ее мать ответит на эти слова с возмущением, но не дождалась этого ответа: Нина, которая в Днепровске так горевала и плакала о своем любимом муже, здесь в Родославле слова возразить не смела властной старуху, более того — она стала ей поддакивать…

Но с внучкой у Надежды Фроловны нашла коса на камень: девочка не пустила ее в свое сердце.

Когда дело касалось домашнего хозяйства, Лена молча, беспрекословно слушалась бабушку: она полола огород, чистила картошку, мыла посуду, убирала комнаты, кормила кур и гусей, но никогда ни о чем не просила бабушку и старалась с ней не разговаривать, так что даже не особенно-то чуткая Надежда Фроловна чувствовала, что между ней и внучкой стоит ледяная стена отчуждения.

— Идол бесчувственный! — ворчала она на девочку.

Но Лена далеко не была бесчувственной.

Нелюбовь нелюбимой бабушки трогала ее мало; но она стала замечать, что мать тоже от нее отдаляется, тоже чаще и чаще оказывается по ту сторону ледяной стены и перестает понимать свою дочь.

Девочка потеряла отца — сразу, одним страшным ударом. Теперь она теряла мать — постепенно, день за днем, по мере того, как та все более и более подпадала под влияние старухи.

Слабохарактерной оказалась красивая Нина! — когда она

жила с Михаилом, она подчинялась его воле — воле сильного человека, а когда его около нее не стало, она целиком подчинилась воле своей матери, с детства привычной воле, а собственной воли у нее не было.

Не прошло и года после переезда в Родославль, как в большой, добротный, окруженный фруктовым садом дом Надежды Фроловны зачастил один гость.

Звали его Андреем Петровичем, это был еще молодой человек, небольшого роста, быстрый, ловкий, франтоватый, очень высого мнения о своей наружности и прочих своих достоинствах.

Бабушка к нему благоволила; она говорила, что это человек, который умеет жить, что он добился хорошего места, хорошо зарабатывает и еще лучше прирабатывает.

А Лена возненавидела этого гостя всей душой с тех пор, как заметила, что он оказывает знаки внимания его матери.

Особенно усилилась эта ненависть после того, как Андрей Петрович на именинах бабушки напился пьян с все любезничал с Ниной, а та не могла дать никакого отпора его нахальным приставаниям; бабушка тоже была навеселе и подзадоривала его.

Из отрывочных фраз Лена поняла, что этот противный человек хочет жениться на ее матери.

На другой день между Надеждой Фроловной и Ниной был большой разговор: старуха настаивала, чтоб ее дочь согласилась на брак с Андреем Петровичем.

— Это же твое счастье!.. Как ты не понимаешь?! — доказывала она. — Это же настоящий человек! Он все, что надо, тебе из-под земли достанет!.. со всеми знаком, все его уважают, всегда у него деньги есть!.. А что иногда выпьет, так мужчине без этого нельзя…

— Мама!.. Но ведь я же замужем! — слабо защищалась Нина.

— «Замужем»!.. Тоже еще сказала: «замужем»!.. Муж в лагерях, неизвестно, вернется или нет, а ты тут по нему сохнуть будешь!.. Жизнь свою губить!.. Давно уже тебе надо было с ним кончать!.. Что ты от него хорошего видела? Чуть не голодала… Лишенкой стала через него… Разведись!

Развод в те годы был прост, и вскоре в концентрационный лагерь был послан документ о разводе Нины Васильевны с заключенным лишенцем — мужем.

В доме Надежды Фроловны справили свадьбу.

Всю ночь горланили на этой свадьбе пьяные гости, и всю эту холодную осеннюю ночь в углу чердака рыдала одинокая девочка; она так и заснула на чердаке, свернувшись клубком посреди всякого старого хлама, а когда утром проснулась — у нее зуб на зуб не попадал от холода.

Лена наотрез отказалась звать отчима отцом; она называла его «Андрей Петрович», иногда, сквозь зубы «дядя Андрюша», но чаще всего никак не называла — тут уж и уговоры матери, и воркотня бабушки были бессильны.

Отчим тоже невзлюбил упрямую девочку, наградил ее прозвищем «поповна» и очень любил дразнить ее, рассказывая всевозможные гадости о попах.

Лена смотрела исподлобья и все упорнее и упорнее молчала; иногда по целой неделе никто дома не слыхал ее голоса.

Это время она очень много читала: перечитала почти всю школьную библиотеку и довольно большую библиотеку бабушкиных квартирантов, гд ебыло немало книг совсем не для детского возраста. Книги были для нее большой радостью и поддержкой.

В школе, куда Лену приняли сразу в третий класс, она училась лучше всех: у нее были блестящие способности, исключительная память и не менее исключительное упорство. Заданий «отсюда-досюда» она не признавала; каждый учебник, попадавший ей в руки, она прочитывала от доски до доски, во всех направлениях, с таким же интересом, как самую увлекательную беллетристику; поэтому объяснения учителей никогда не были для нее новостью.

Около нее всегда толпились отстающие и неспособные, которым она помогала, но настоящих, задушевных подруг у нее в школе не было: слишком был далек ее духовный мир от непритязательных интересов сверстниц.

Но ни в школе, ни дома никто не знал, что у этой молчаливой девочки была своя радость, свое счастье, своя тайна, которой она ни с кем, даже с матерью, не делилась: она снова пела на церковном клиросе — не в большой городской церкви, где пел по нотам платный хор, и куда ходила к обедне по большим праздникам бабушка, а в загородной, маленькой, кладбищенской церковке, где пели любители, принявшие девочку в свою среду.

На этом клиросе появились у нее первые подруги — Катя и Наташа; с этими взрослыми девушками у нее было гораздо больше общего, чем с ровесницами.

С ними она не была молчаливой и замкнутой, напротив, много говорила, вознаграждая себя за домашнее молчальничество.

Дома об этом не подозревали: она никогда не молилась и не крестилась в присутствии родных, и даже нарочно, из противоречия ханжеской религиозности бабушки, к великому негодованию последней постоянно занималась по праздникам

рукоделием.

Однажды к хозяйственной Надежде Фроловне пришла одна маленькая старушка — покупать гусиные яйца.

Старушка эта жила недалеко от кладбища, ходила в кладбищенскую церковь и знала Лену в лицо.

— Деточка! Вот ты где живешь? — воскликнула она, увидев маленькую певчую. — И ты так далеко ходишь?

— Это внучка моя! — сказала Надежда Фроловна, еще не зная, в чем дело.

— Так-так, внученька ваша!.. А я-то все думала: чья это девочка, так молится, так поет хорошо, голосок такой хороший… Мы все, старушки, на нее глядим и радуемся!.. Время теперь такое, знаете, молодежь-то все безбожники, комсомольцы, а она на клиросе поет, ни одной службы не пропускает…

Бабушка молчала, пораженная этой новостью, внучка тоже, но простодушная гостья ничего не приметила и продолжала:

— Только что же ты все к нам, в кладбищенскую ходишь? Тебе в Никольскую было бы ближе ходить…

Лена ответила, что в Никольской певчие платные, поют по нотам, и ей петь не разрешат.

— Так-так!.. Правильно… А я вот не люблю нотного пенья… Лучше по-простому, как у нас… Далеко же тебе ходить!.. Ну, ничего, деточка, Господь с тобой, помолись за меня!..

У бабушки хватило выдержки не высказать перед гостьей ни удивления, ни гнева при этом неожиданном открытии, но когда посетительница ушла, унося с собой полтора десятка гусиных яиц и осыпая благословениями Лену, — тут-то Надежда Фроловна и разбушевалась.

— А ну, иди сюда! — разнесся по дому и по двору ее мощный голос, и в нем слышны были раскаты приближающегося шторма. — Иди сюда, негодница! Ты это что еще затеяла?… На кладбище, на клиросе, значит, поешь? Певчая?

Лена молча утвердительно кивнула головой.

— Ах, ты, дрянь!..То-то ее все дома нет!.. Воскресенье — уходит, вечером — уходит!.. А у кого ты спрашивалась?… Кто тебе разрешил?… Мы думаем — она в школе, а она на клиросе!.. Певчая тоже нашлась! Без нее на клиросе не обойдутся!.. Уроки смотреть надо, а не клирос!..Это нам, старухам, надо грехи замаливать, а тебе нечего делать в церкви!..

На пороге показался Андрей Петрович; бабушка кинулась к нему жаловаться на внучку.

— Этого еще не хватало! — сказал отчим. — Я же в партию подал заявление… Если узнают, что эта паршивка петь в церкви вздумала, мне партии не видать как своих ушей… Чтоб больше

туда ни ногой! — обратился он к падчерице. — Если еще раз пойдешь на кладбище — отдеру ремнем!..

— Слышишь, что отец говорит?! — воскликнула бабушка. — Ему теперь из-за тебя по службе неприятности будут!..

Молчаливая девочка, от которой невозможно было добиться слова, вдруг заговорила.

— Во-первых, он мне не отец! — сказала она, и голос ее звучал совсем не по-детски. — А, во-вторых, ходить на клирос я все равно буду!

— Ах, вот как?!.. Ну, подожди же, гадюка!..

Ненависть и отвращение отчима к противной девчонке после долгой сдержанности, наконец, прорвались.

Пошел в ход ремень.

Матери дома не было, а бабушка только подзуживала зятя.

— Всыпь ей, Андрюша, всыпь хорошенько, чтоб не дерзила!.. Чтоб не шлялась, где не надо!.. Богомолка нашлась — на клирос ходит, а сама по праздникам шьет!.. Задай ей хорошенько!.. А то скажите, пожалуйста: «он мне не отец!»… Будешь теперь знать — отец или не отец!..

Лена стиснула зубы и рассвирепевшему отчиму не удалось вырвать у нее ни одного крика.

— Хоть бы прощения попросила, поганка! — негодовала бабушка. — А то молчит как бревно! Задай ей покрепче, чтоб завизжала!..

Может быть, отчим избил бы Лену до смерти, если бы не вернулась мать и не вервала бы у него избитую девочку, почти потерявшую сознанье.

Лена проболела две недели; к ней пришлось вызвать врача; вся эта история стала известной в школе; приходила учительница Мария Федоровна и пригрозила Андрею Петровичу судом.

Судить Андрея Петровича — не судили, но со вступлением в партию ему пришлось подождать, так как на его работе тоже стало известно, что он чуть не до смерти избил свою падчерицу.

Когда Лена, поправившись, появилась в классе, Марья Федоровна попробовала ее «перевоспитать» путем увещеваний, но вскоре убедилась в бесплодности своих усилий.

Лена продолжала ходить на клирос; теперь она уже не только пела, она научилась читать по церковному и читала с увлеченьем, со страстью, вкладывая в псалмы и каноны всю силу своей веры, всю боль глубоко оскорбленной детской души.

Дома на нее махнули рукой; она теперь даже ночевать под праздники часто оставалась у своей взрослой подруги Наташи.

А когда окончательно затихла буря, вызванная побоями отчима — над ее головой грянул новый гром: закрыли

кладбищенскую церковь.

* * *

Была весна. Последний день школьных занятий. Лену перевели в шестой класс.

В этот день она шла домой из школы медленнее обычного. Завтра начинались каникулы, в школу идти было не надо. Она этому не радовалась: дома ей было тяжелей, чем в школе.

Лена открыла калитку и увидела на крыльце бабушку и еще какого-то незнакомого человека, высокого, слегка сгорбленного, плохо одетого; человек этот стоял к ней спиной, лица его не было видно.

До ее слуха донесся голос бабушки:

— Ну, чего ты приехал? Человеку жизнь разбивать? У Нины теперь семья, ребенок, муж… Чего ты-то будешь здесь путаться?… И девчонку незачем тревожить, она тебя давно забыла… Уходи, пока она не пришла!..Ах, да вот она!..

Незнакомец обернулся, и на Лену взглянули большие серые глаза, очень знакомые: такие глаза всегда на нее смотрели, когда ей случалось увидеть в зеркале свое собственное лицо…

— Отец!..

Тут случилось непредвиденное.

Лена, никогда не плакавшая при людях, ни разу не вскрикнувшая под побоями отчима — вдруг страшно разрыдалась…

— Деточка моя хорошая!.. Не плачь, не надо! — пробовал Михаил Степанович утешать бившуюся в рыданиях дочь; он совсем растерялся и от этих неожиданных слез, и от нелюбезного приема тещи.

А Надежда Фроловна продолжала его попрекать:

— Ну, вот видишь, расстроил девку!.. Она у нас нервная, ей вредно волноваться, а ты… Уезжай ты, бога ради, не смущай людей!.. Ведь послали тебе развод, чего тебе еще надо?!..

— Хорошо, я уеду! — тихо проговорил незванный гость и, наклонившись, поцеловал Лену.

— Прощай, дочка!..

Но в ту же минуту он почувствовал, что тонкие детские пальчики вцепились в его руки и сжали их с такой силой, какой никак нельзя было предположить в хрупкой одиннадцатилетней девочке…

— Я поеду с тобой!..

И Лена настояла на своем: с вечерним поездом они уехали

оба — отец и дочь.

Бабушка, внезапно воспылавшая любовью к внучке, ни за что не хотела ее отпускать; Нина Васильевна молчала: у нее теперь уже была другая дочь, маленькая Любочка, уже не «поповна», а Андреевна, хорошенькая, толстенькая девчушка, недавно начавшая ходить, и ей теперь принадлежала вся любовь, все внимание, все заботы матери, а угрюмая, нелюдимая старшая дочь только постоянно бывала причиной семейных раздоров…

Решил вопрос Андрей Петрович.

— Теперь каникулы — пускай съездит погостить к Михаилу Степанычу… — и потихоньку добавил по адресу тещи: — Как хлебнет она там с папашей лиха — сама назад прибежит!..

Но он ошибся: назад Лена не прибежала; в красивый дом с фруктовым садом на тихой улице города Родославля она уже никогда не вернулась.

* * *

Два года жизни вдвоем с отцом Лена впоследствии вспоминала, как самое счастливое, самое светлое и радостное время в своей жизни.

Отец Михаил поехал служить в деревню Выселки, в небольшую церковь, в которой после ареста прежнего священника более года не было служений; вероятно, по этой причине ее забыли разорить.

Они жили в полуразрушенной хатке, которая в дождь протекала, а в мороз промерзала; нередко жили впроголодь — но все эти житейские затруднения они переносили легко и бодро и даже не запоминали их.

У отца была любимая дочь, у дочери был любимый отец, у обоих было любимое дело, и все невзгоды быстро забывались.

В этой церкви не было псаломщика, и на возгласы отца Михаила отвечал с клироса звонкий альт его двенадцатилетней дочери. Постепенно там собрался большой и дружный хор добровольцев, но запевалой, чтицей и уставщицей по-прежнему была маленькая «поповна»; отец Михаил тоже часто в шутку величал свою дочь поповной, но теперь это слово, когда-то обидное, стало хорошим и милым.

Через два года церковь в деревне Выселки Родославльского района была разорена, а настоятель ее Михаил Степанович Соловьев — арестован и выслан, на этот раз уже не на три года, а на десять лет.

Лена осталась одно; ей было четырнадцать лет.

В ее судьбу вмешался сельсовет; на вопрос: есть ли у нее мать или родственники, она ответила: «нет никого».

Это была неправда, но она скорее согласилась бы броситься в реку, чем вернуться к отчиму и бабушке.

Ее поместили в детский дом и после экзамена определили в седьмой класс школы.

Вскоре после ее поступления детдом реорганизовался, ее перевели в другой детдом, где все люди были новые, и уже никто ничего не помнил о прошлом малообщительной воспитанницы Елены Соловьевой, а молчать она умела.

После окончания школы детдомовцев стали распределять кого куда; большинство попало в ФЗУ, а лучшим ученикам дали рекомендации для поступления в техникумы.

Техникумов, с которыми у детдомовского начальства была договоренность, было три: Днепровский педагогический, Дементьевский медицинский и Липнинский сельскохозяйственный.

Лена Соловьева, которая всегда была отличницей, до некоторой степени имела возможность выбирать.

Медицину она не любила, ее отталкивала сама обстановка больниц и амбулаторий.

Учителя уговаривали ее идти в педагогичсекий, уверяя, что она будет превосходной учительницей.

Но учителя всегда и везде должны придерживаться государственной религии, а в Советском Союзе такой религией является атеизм… Лена, христианка-церковница, не могла и не хотела ни изменять своим убеждениям, ни кривить душой.

Она выбрала сельскохозяйственный.

По окончании техникума ее оставили тут же в Липне при Райзо.

Особенной страсти к сельскому хозяйству у нее не было, но она не умела плохо работать и свою работу в колхозах вела также добросовестно и безупречно, как раньше добросовестно и безупречно училась.

Церковь в Липне была закрыта еще до ее приезда, и тайны ее были от всех спрятаны в глубине ее души.

Маруся Макова, привлекшая Лену к участию в хоровом и драматическом кружках, часто восхищалась ее артистическими способностями, не подозревая, что у этой артистки был огромный опыт игры — только не на сцене, а в жизни…

Отец Михаил бесследно исчез: он был лишен права переписки, и Лена не знала, где он находится, жив или умер. На запросы, которые она несколько раз посылала, приходили самые неопределенные ответы, а чаще — вообще никаких ответов.

А перед самой войной, в одной деревне во время командировки она встретила старую монахиню, недавно вернувшуюся из ссылки.

Эта старуха когда-то бывала в Выселковской церкви и узнала Лену.

Она и сообщила, что отец ее умер в лагере от тифа.

Глава 13
Сын врага народа

В стеклянные форточки заколоченных окон смотрела луна; от дверцы железной печурки по комнате метались красноватые блики.

Николай Венецкий сидел перед печкой, время от времени подкладывая по одной маленькие чурочки, и слушал рассказ Лены.

— А знаешь, ведь мы с тобой одного поля ягоды, — проговорил он, когда рассказ о советском попе и советской поповне был окончен. — Я тоже сын человека, объявленного вне закона.

Тут настала очередь Лены сделать большие удивленные глаза.

— Ты же говорил, что твой отец был коммунистом с 1912-го года?

— Это правильно!.. И он был настоящим коммунистом, идейным; я бы даже сказал, что он был «верующим» коммунистом. Он так страстно и так слепо верил в коммунизм, что не хотел замечать никаких отрицательных сторон жизни при советской власти… Мама иногда жаловалась на недостаток продуктов, или еще чего-нибудь, он при нем нельзя было об этом и слова сказать, так он на нее обрушивался… И мне не раз от него доставалось, если я осмеливался что-нибудь критиковать… А потом…

— А потом что было? — спросила Лена.

Николай молчал, молчал довольно долго, глядя на трепещущий огонь печки, потом начал свой рассказ.

* * *

Николай Сергеевич Венецкий после окончания московского института был послан на работу в Сибирь, в город Белоярск, на строительство большого металлургического завода. Отец его в это время уже много лет работал в поволжском городе Сабурове в обкоме партии.

Однажды поздно вечером в дверь квартиры молодого инженера Николая Венецкого постучалась разносчица телеграмм.

«Папа опасно заболел. Скорее приезжай. Мама.»

В чем дело? Что с отцом? Ведь он всегда был исключительно

здоровым человеком; все болезни в семье приходились на долю Екатерины Павловны, у которой было больное сердце, а Сергей Александрович уверял, что он болеть не умеет…

Директор новостройки с неудовольствием, но все же отпустил молодого инженера на две недели за свой счет.

Застучали колеса поезда, замелькали станции, томительно тянулось время на пересадке…

Наконец, Сабуров — город, где он вырос, окончил школу, где долгие годы жили его родители…

Николай бегом поднялся на высокое крыльцо знакомого дома и хотел, как в детстве, колотить в дверь изо всех сил, но вдруг отдернул руку: отец болен и его нельзя беспокоить.

Он постучал тихонько, осторожно.

Послышались тяжелые, шаркающие, незнакомые шаги, щелкнул ключ, дверь медленно отворилась…

На пороге стояла старуха, сгорбленная в три погибели, совершенно седая, сморщенная, растрепанная, с каким-то странным, растерянным, почти ненормальным взглядом больших остановившихся глаз….

И на этой чужой старухе почему-то было надето хорошо знакомое, темно-зеленое с мелкой вышивкой, мамино платье…

— Коля, милый, приехал!.. — проговорила старуха тихим, еле слышным голосом, почти шепотом, протянула к нему руки, тяжело повисла у него на шее и заплакала.

Он не мог понять, кто это такая, хотел было расцепить обхватившие его шею костлявые руки, но тут она подняла лицо — и по какому-то чуть заметному движению он узнал ее…

— Мамочка! Что с тобой случилось?

Екатерине Павловне было сорок четыре года, но выглядела она всегда на десяток лет моложе своего возраста; еще совсем недавно, когда Николай был студентом, люди не верили, что у нее может быть такой огромный сын.

А теперь ей можно было дать на вид не менее семидесяти лет…

Она хотела говорить, ответить, но не могла: судорожное рыдание перехватило ей горло — вместо слов она только хрипела и всхлипывала.

Сын на руках внес ее в квартиру, уложил на диван и начал искать лекарства, которые всегда бывали в тумбочке около кровати.

Тут он увидел, что в квартире все перевернуто вверх дном, как будто кто-то нарочно выбросил все вещи из шкафов, ящиков, чемоданов; одежда, книги, посуда, все было перемешано и на столе, и на полу, и на кровати…

И это у Екатерины Павловны, которая так любила чистоту и аккуратность, от которой постоянно крепко влетало и мужу, и сыну за каждое нарушение порядка!..

Почти целый час длился припадок; Екатерина Павловна билась, задыхалась, хрипела; Николай сидел около нее, держал ее за руки, гладил по голове, поил водой и отчаивался, что ничем не может помочь…

— А где же папа? В больнице? — спросил он, когда больная начала успокаиваться.

Екатерина Павловна приподнялась, взмахнула руками, хотела ответить и… опять захрипела: нервные спазмы горла не давали ей говорить.

— Неужели отец умер? — пронеслось в голове у Николая: телеграмма была им получена шесть дней тому назад; пока он торговался с директором, оформлял отпуск, трясся в вагоне, ожидал на пересадке — тяжело больной отец мог умереть… его, вероятно, уже похоронили…

Но зачем же было выбрасывать все книги из шкафа и всю одежду из гардероба?… Вот под столом валяются отцовские брюки, а рядом с ними — развернутый том Лермонтова, и в углу набросана целая гора вещей, которым там совсем не место…

— Неужели?…

У него мелькнула мысль, что здесь кто-то сошел с ума, ведь нормальный человек такого погрома не сделает…

А мать продолжала биться в истерических рыданиях, и от нее ничего нельзя было добиться.

Постепенно всхлипывания стали тише, но сын видел, что, если она попытается сказать слово, все опять начнется сначала.

А она хотела говорить, хотела сообщить сыну важное, нужное, необходимое; несколько раз у нее вырывались отдельные несвязные слова, но потом ей снова перехватывало горло.

Наконец, она начала показывать знаками: просила что-то дать ей — Николай подавал ей воды, подушку, порошки, которые нашел под кроватью, но она только качала головой и махала руками, досадуя, что он ее не понимает.

Вдруг она приподнялась и вынула у него из грудного кармана маленький карандаш.

Он понял.

Быстро наклонившись, он поднял первую попавшуюся книгу — того самого Лермонтова, что валялся под столом, и подал ей.

— Тебе трудно говорить… Пиши!.. Хоть здесь на книге. Что с папой? Он умер?

— Хуже!

Это слово она выговорила, почти выкрикнула и, захрипев,

опять замолчала.

— С ума сошел?

Этот вопрос дал неожиданную реакцию: предположение сына рассмешило Екатерину Павловну, а смех придал ей силы.

Она отрицательно замотала головой и слегка улыбнулась, болезненно, криво, на одну сторону, но все же улыбнулась, потом приподнялась, села, взяла книгу и четко написала на широких полях стихотворного текста:

«Он в тюрьме!»

— В тюрьме?!..

Николай мог предположить любую болезнь, несчастный случай, смерть, все, что угодно, только не это! Тюрьма в его понятиях была тесно связана с давно рухнувшим царским режимом.

В те времена Сергей Александрович действительно сидел в тюрьме, был в ссылке за революционную деятельность — но ведь все это было до революции…

Он перечитывал три слова, и в первую минуту ему подумалось, что произошел какой-то огромный политический переворот, что советская власть, власть свободы и справедливости, — рухнула… что опять…

Что за глупости?! Ведь теперь нет никакой войны, никаких гражданских неурядиц; если бы такое политическое событие совершилось, оно затронуло бы всю страну, между тем, никто ничего не знает, ни в Белоярске, ни в поезде, ни на станциях…

А тонкая рука матери повела вокруг себя, указывая на царивший в квартире разгром, а затем написала еще одно слово:

«Обыск».

Значит, это работа не буйно помешанных — это во время обыска все так перекопали, перепутали, перешвыряли.

Мать написала еще дату ареста — ровно неделю тому назад, а на вопрос: «Почему отец арестован?» — написала: «Не знаю ничего!» и затихла.

За окнами стемнело. Николай встал и зажег свет.

— Вот что, мама! — сказал он. — Сегодня уже поздно, я ничего не смогу узнать. Утро вечера мудренее! Ложись в постель, а я постараюсь разобрать эту свалку.

Екатерина Павловна покорно разделась и легла. Часа через полтора она совсем успокоилась, и к ней вернулся дар речи.

Тихим, тихим голосом она рассказала, что в НКВД ее не приняли, что передач не разрешают, свиданий — и подавно; потом призналась, что она уже несколько дней ничего не ела.

Услыхав это, Николай принялся хозяйничать: разжег примус, вскипятил чаю, нашел крупу, сварил кашу и чуть ли не с ложечки

накормил больную.

Она немного повеселела.

— Обязательно сходи завтра, узнай про папу!.. Добейся!.. Это какая-то ошибка! Его с кем-то спутали… ты выяснишь все…

— Выясню, мамочка!.. Утром пойду и все выясню!.. А сейчас — спи!

— Непременно!.. Надо только выяснить, и его сразу освободят… Это недоразумение какое-то… А я не могла… У меня сердце схватывает… Я не могу говорить с ними… Я даже там… около тюрьмы… в обморок упала… И дома ничего убрать не могла…

Она опять начала задыхаться.

— Мамочка!.. Не надо говорить!.. Молчи и спи!.. Я все понял… Спи!..

Еще через час измученная Екатерина Павловна тихо заснула — не в первый ли раз за эту неделю?

Присутствие сына вернуло ей спокойствие и надежду, что все недоразумения выяснятся, справедливость будет восстановлена, и все закончится самым благополучным образом.

Но не все надежды сбываются!..

* * *

На следующий день Николай Венецкий отправился в Сабуровское НКВД.

Он быстрым твердым шагом шел по улице, не останавливаясь, поднялся на высокое крыльцо большого серого дома и смело распахнул тяжелую дверь.

— Пропуск! — встретил его дежурный, приняв его по уверенной осанке за сотрудника.

— Пропуска у меня нет… Мне нужно узнать…

— Без пропуска не разрешается!

Дежурный понял, что перед ним обыкновенный смертный, и отвернулся.

Николай почувствовал, что уверенность, с которой он шел сюда, чтоб выяснить недоразумение и доказать полную невиновность отца, начинает куда-то улетучиваться.

— Но где же берут пропуска? — спросил он, стараясь всеми силами говорить спокойно, даже небрежно, но ему это плохо удавалось.

Первый его вопрос остался без ответа, на вторичный — дежурный с таким видом, будто посетители, подобные Венецкому, ему смертельно надоели, процедил сквозь зубы:

— Вы по какому делу?

— Мой отец арестован…

— А? Фамилия? — дежурный развернул какую-то книгу.

— Фамилия моего отца — Венецкий, Сергей Александрович.

— Ах, Венецкий!..

Книга захлопнулась, и лицо дежурного, и без того мало выразительное, сделалось каменным; он посмотрел на Николая таким взором, будто перед ним был не рослый молодой человек, а какая-то маленькая козявка, и распорядился:

— Пройдите в коридор и обождите!

Николай повиновался.

В коридоре стояли диваны, цветы, зеркала, на окнах были бархатные гардины, на полу — пушистый ковер; обстановка скорее напоминала дворец, чем советское учреждение.

В этом роскошном доме царила напряженная, давящая тишина.

Прошло полчаса, час, полтора; Николай решил, что о нем забыли и опять подошел к дежурному; но тот, даже не взглянув на него, сказал:

— Подождите! Вызовут, когда надо будет!

Ждать пришлось более четырех часов.

Наконец, дежурный, уже не прежний, а новый, заступивший на смену, позвал его.

— Поднимитесь на второй этаж, в кабинет номер тридцать два, к товарищу Кирюхину.

Понявшись по широкой, устланной ковром лестнице, Николай увидел на двери цифру тридцать два и постучал.

— Подождите! — проговорил голос из кабинета.

Еще пришлось дожидаться около часа; к счастию, и здесь в коридоре были диваны.

За это время разные люди, в военной форме и гражданской одежде, мужчины и женщины, ходили по коридору взад и вперед, заходили в разные кабинеты, в том числе и в тридцать второй; на сидевшего около двери человека они смотрели, как на неодушевленный предмет.

Николай нервничал, несколько раз вставал, опять садился, и когда он уже совсем решил бросить все и уйти — дверь приоткрылась.

— Кто по делу Венецкого — зайдите!

Николай вошел. Обстановка кабинета была еще роскошнее, чем в коридоре.

Позвавший его человек лет сорока, лысоватый, в гражданском костюме, обшел вокруг большого письменного стола, сел в кресло спиной к окну и указал посетителю стул напротив себя.

— Вы — сын арестованного Венецкого?

— Почему вы его арестовали? — не отвечая на вопрос, в свою очередь спросил Николай. — В чем вы его обвиняете? Он не мог сделать ничего преступного!.. Это какое-то недоразумение!..

Холодная улыбка чуть-чуть тронула губы оперуполномоченного.

— У нас никаких недоразумений не бывает! — произнес он таким веским тоном, что, казалось, даже смешно ему возражать. — Если мы арестовали человека, значит, на это имеются причины.

— И вы уверены, что не можете ошибиться?

Эти слова Кирюхин ответом не удостоил; он вынул из стола несколько бланков, напечатанных на превосходной, плотной белой бумаге (в те времена в конторах и даже в школах писали на обоях, старых негодных бланках, на папиросной и оберточной бумаге) и приготовился писать.

— Ваша фамилия, имя и отчество?

За этим последовал ряд вопросов о жизни и занятиях Николая.

— Вы последние пять лет жили отдельно от ваших родителей?

— Да!

— И вы не знали, что ваш отец являлся членом контрреволюционной организации, которая занималась вредительством?

— Неправда! — вскричал Николай, и его обычно низкий голос сорвался на петушиный, мальчишеский дискант, как это с ним бывало в четырнадцать лет. — Направда! Мой отец не мог заниматься вредительством!.. Он — честный человек!.. Он всю жизнь был революционером!.. Настоящим революционером!.. Он был в ссылке…

— И вскоре опять угодит туда же! — насмешливо прервал его Кирюхин.

— Но ведь это было до революции, при царском режиме!

— При царской власти, возможно, он и был революционером, если только он не придумал себе революционное прошлое; но тем прискорбнее, что при советской власти он стал вредителем!

— Он не мог быть вредителем! Это наглая клевета!

Кирюхин рассмеялся тихим неприятным смешком.

— Как вы горячо заступаетесь за своего папашу!.. Но, к сожалению, он этого не заслуживает. Его преступление доказано: он — член вредительской организации, агент иностранной разведки и враг советского народа. Я допускаю, что вы об этом ничего не знали: такой человек, как Венецкий, мог скрывать свою

деятельность даже в кругу своей семьи, тем более, что вы эти годы жили в другом городе и встречались с ним не так уж часто… Вас я не обвиняю: у нас дети за родителей не отвечают! Но не старайтесь выгородить отца — это напрасный труд!

Николай бессильно опустился на стул.

— Когда моего отца преследовала царская власть, — проговорил он глухо. — Это было не обидно: он действительно был врагом самодержавия… А теперь!.. Когда советская власть, за которую он всю жизнь, всю душу отдал… советская власть возводит на него такую мерзкую клевету!..

— Это обидно? Да? Значит, царская власть была справедливее, чем советская? Вы это хотели сказать?

Николай поднял голову и посмотрел оперуполномоченному прямо в глаза.

— Я этого сказать не хотел… Это вы сказали… И, пожалй, на этот раз сказали правду…

— Ну, ну! — Кирюхин постучал по столу карандашом. — Осторожнее, молодой человек! Думайте, прежде чем говорить!.. Я ведь могу и не поверить, что вы непричастны к делам вашего отца.

— Никаких дурных дел, а тем более контрреволюционных, за моим отцом не было и нет!

— Вы упрямы!.. Но об этом довольно!.. Ваш отец получит то, что заслужил!.. А вот вам лично следует еще доказать, что вы действительно советский человек!

— Уж не хотите ли вы, чтоб я от своего отца отрекся?

— Не придумывайте трагедий!.. Этого я вам предлагать не собираюсь: все равно, такие отречения бывают слишком неискренними… Мне нужно от вас совсем другое.

— А на что именно я вам понадобился?

— Видите ли, — заговорил Кирюхин более мирным, деловым тоном. — Вы знаете, что враги нашей советской власти не дремлют, они проникают всюду… Вы работаете в Белоярске?

— У вас записано, где я работаю!

— Да, да… Там, в Белоярске, мы тоже нащупали вражескую руку, но пока мы не имеем еще достаточно сведений, чтоб разоблачить врагов…

Он приостановился и внимательно посмотрел на Венецкого, тот ответил ему угюмым, вопросительным взглядом.

— Вы должны немедленно по возвращению в Белоярск явиться в тамошнее НКВД и передать этот конверт. Вас примут и назовут вам несколько ваших сослуживцев, которые у нас на подозрении; вы будете следить за всеми их поступками и словами и сообщать…

Товарищ Кирюхин вдруг запнулся и вздрогнул: Николай Венецкий уже не сидел перед ним, а стоял и казался в эту минуту гораздо выше своего и так не маленького роста; его лицо было страшно, кулаки сжаты, темные глаза метали молнии.

— В шпионы вербуете?! — прогремел он. — Не в коня корм. Не умею и учиться этой подлости не желаю!..

Он повернулся, вышел из кабинета, хлопнул дверью так, что задрожали стекла и по всему роскошному зданию, нарушая его тишину, отозвалось гулкое эхо, прошел большими шагами через коридор, лестницу, приемную и вышел на улицу, где уже сгущались сумерки.

Его никто не задержал.

* * *

Прошел целый месяц мучительных, бесполезных хлопот. Николай днем дежурил у тюремных ворот, ночью — у постели больной матери.

Он ходил в обком партии, где работал отец, в надежде, что сослуживцы и друзья отца помогут, вмешаются в это несправедливое дело, но друзей там не оказалось, а из сослуживцев те, кто уцелел, с легким удивлением и глубоким убеждением говорили о том, что Сергей Александрович «оказался» врагом народа и старались поскорее отделаться от вражьего сына.

Он пробовал писать Верховному Прокурору республики — ответ получил уклончивый; написал на имя самого Сталина — ответа не удостоили…

Да он теперь и не надеялся на благополучный исход: он чувствовал, что перед ним встала стена, прошибить которую невозможно, а обходных путей он не знал.

Екатерина Павловна не вставала с постели. Почти каждый день повторялись страшные сердечные припадки. Она с часу на час ждала возвращения мужа; прислушивалась к каждому шороху. Иногда ее сознание начинало туманиться: обращаясь к сыну, она принимала его за Сергея Александровича, радовалась его освобождению. Потом она приходила в себя — и опять билась в припадке.

— … Сегодня ночью эшелон на север отправляют: вероятно, и вашего папашу отправят — сходите на вокзал, может быть, увидите его хоть издали…

Это сказал Николаю тюремный надзиратель, добродушный старик с седыми усами.

— Только начальникам не говорите, что я вам про это сказал! — добавил он.

Как только стемнело, Николай отправился на вокзал. Он был не единственным, кто ожидал отправки заключенных: в разных углах вокзала виднелись лица, знакомые ему по площадке перед воротами Сабуровской тюрьмы.

Вечером ожидаемого поезда не было. После двенадцати часов всех, не имеющих транзитных билетов, попросили очистить вокзал.

Николай вышел на улицу. Было темно, моросил мелкий осенний дождь.

Он походил взад и вперед по переулку, постоял на вокзальном крыльце; его начал пробирать холод, пальто незаметно намокло, и он начал, чтоб согреться, мерять большими шагами привокзальные улицы, через каждые пятнадцать-двадцать минут возвращаясь к железнодорожной линии, чтобы посмотреть, нет ли там какого-нибудь нового поезда.

Подошли к станции, постояли несколько минут и пошли дальше три ночных пассажирских поезда, без остановки проследовало несколько товарных; осенняя темная и мокрая ночь тянулась без конца, а Венецкий все бродил.

Он промок, продрог, у него гудели ноги от непрерывной ходьбы, и в половине пятого утра он решил, что, вероятно, никакого поезда с заключенными не будет и собрался домой.

Вдруг навстречу ему по темной улице быстро проехали один за другим четыре крытых грузовика — те самые, которые в народе звались в трагическом тоне «черными воронами», а в комическом — «собачьими будками»…

Николай бегом бросился обратно, вслед за грузовиками.

На четвертом или пятом пути, довольно далеко от здания вокзала, стоял товарный поезд, оцепленный кругом милицией.

Несколько женщин, старик и девочка стояли у закрытого решеткой входа на перрон: это тоже были люди, имевшие родных среди заключенных; они стремились подойти ближе, но дальше решетки их не пустили.

Венецкому пришлось присоединиться к ним.

Грузовики подъехали почти вплотную к четырем открытым вагонам в середине поезда; по бокам стояли конвойные.

Из машин начали выгружаться люди с небольшими узлами или чемоданчиками; они проходили несколько шагов по земле и взбирались по приставленным лестницам в вагоны.

Заключенные!..

Провожающие закричали, замахали руками — многие узнали своих; железнодорожная милиция старалась заставить их

замолчать, грозила штрафом.

Венецкий смотрел во все глаза на людей, перебиравшихся из машин в вагоны, но знакомой фигуры отца не было…

Впрочем, он не был в этом уверен: с того места, где он стоял, хорошо была видна переправа заключенных только из двух ближайших машин, а две дальние были загорожены; кроме того, эта погрузка производилась в пятый, шестой, седьмой и восьмой вагоны, а четыре крайних, самых дальних, были уже закрыты, и около них ходили часовые.

— Вот дурак! Прозевал, когда они первый раз приезжали! — ругал сам себя Николай.

Погрузка кончилась, машины уехали, вагоны были закрыты и к ним встала охрана.

Теснившиеся около решетки провожающие, которых собралось уже более ста человек, не расходились, несмотря на на все уговоры милиционеров и железнодорожников.

— Едут!.. Опять едут!..

Грузовики подъехали к следующим пустым вагонам; эти вагоны были ближе, и видно было лучше, тем более, что начинался рассвет.

В этих грузовиках Сергея Александровича Венецкого тоже не оказалось.

Оставались непогруженными еще четыре товарных вагона и один пассажирский, очевидно, предназначенный сопровождавшему начальству.

Когда «черные вороны» приехали в последний раз, было уже светло.

Люди, один за другим, выходили из битком набитых машин, проходили несколько шагов по земле и лезли в вагоны.

Тут Николай увидел отца.

Он узнал даже не его самого, а его пальто, которое сам на днях передал ему в тюрьму; лица не было видно.

— Папа! — крикнул Николай во всю силу своего звучного голоса.

Сергей Александрович услыхал: он обернулся, увидел сына и на секунду остановился, но один из конвоиров бесцеремонно подтолкнул его в спину.

Третий вагон от начала!..

К поезду уже подогнали паровоз.

Николай быстрыми шагами пошел прочь от вокзала: он знал поблизости переезд и торопился туда.

На переезде он стал и облокотился на шлагбаум.

Ждать долго не пришлось: вскоре послышался гудок, и показался приближающийся поезд…

….Паровоз, зеленый пассажирский вагон и целый ряд грязно-красных теплушек… Тот самый… Он шел еще не очень быстро.

Здесь было только две линии рельсов, и поезд прошел около самого шлагбаума.

… Третий вагон…

Сквозь маленькое зарешеченное окошечко смотрело бледное, исхудавшее лицо Сергея Александровича.

Николай замахал рукой.

— … Коля!.. Не верь!.. Это все неправда!.. — сквозь стук колес донесся до него голос отца.

Вот о чем больше всего думал отец!.. А сын и сам знал, что это неправда.

Он пошел домой.

На востоке поднималось солнце. Из черного репродуктора на высоком столбе послышался бой московских часов, которые на один час отставали от Сабуровского времени; зетем полилась песня, звучная, бодрая, радостная, знакомая…

— «Широка страна моя родная!»…

Николай любил эту песню, которой начинался день советской страны. Его голос по высоте и тембру подходил к голосу исполнявшего ее артиста, и он всегда по утрам подпевал репродуктору:

«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»…

Почему же теперь ему стало так тяжело дышать? Почему прекрасные, родные слова любимой песни вдруг зазвучали ложью?…

* * *

Вернувшись домой, Николай Венецкий застал там управдома, который принес распоряжение немедленно освободить квартиру, в которой они жили более десяти лет; на нее уже был выдан ордер семье какого-то нового начальника.

— Моя мать больна! — доказывал Николай. — Куда же она пойдет, если она не встает с постели?

— Мы ничего не знаем!

Раньше Венецкий всегда смеялся над этой фразой, которую многие не слишком умные люди произносили торжественно, будто гордясь, что они ничего не знают — теперь эта глупая фраза встречала его всюду, куда бы он не обращался, и он ее

возненавидел от всей души.

После того, как рухнули надежды на оправдание и освобождение Сергея Александровича, Екатерине Павловне стало еще гораздо хуже, и ее положили в больницу.

Николай поселился зайцем у одного из своих школьных товарищей и навлек на него штраф в тридцать рублей.

В прописке, хотя бы временной, ему отказали, срок его отпуска давно кончился; на письмо, посланное им в Белоярск с сообщением о задержке, не было никакого ответа.

Он хотел взять мать с собой в Белоярск, но пока она в таком тяжелом состоянии, он не мог уехать и жил между небом и землей.

Оштрафованный товарищ сделал прозрачный намек о возможности второго штрафа, и Николай стал ночевать в сарае, где были свалены вещи. Сарай этот тоже уже не раз предлагалось освободить.

Знакомые, которые были такими любезными и гостеприимными до того, как Сергей Александрович был объявлен врагом народа, теперь очень тяготились, если его сын просил приюта хотя бы на одну ночь, и он предпочитал замерзать в сарае, чем просить этого приюта.

Наконец, появилась надежда: больной стало значительно лучше.

Утром следующего дня Николай шел в больницу и строил про себя планы отъезда из опротивевшего ему Сабурова.

Пожилая медсестра, уже знавшая всю их историю, вышла к нему навстречу и знаком отозвала его в сторону; лицо ее было сурово и печально.

— Придется вам прямо всю правду сказать! — проговорила она. — Вы — мужчина, должны держать себя в руках…

— Что случилось? Маме опять хуже стало?

— Она ночью скончалась.

* * *

Наспех хоронил Николай Венецкий свою горячо любимую мать, наспех продал за четверть цены часть вещей; остальное пришлось бросить. С собой он взял только два чемодана, куда уложил вещи и книги, особенно дорогие, как память.

Вскоре он уже сходил с поезда на станции Белоярск. На работе его встретили с удивлением: большинство считало, что он совсем уволился; на его месте работал другой человек.

Директор, узнав, что беглец появился, поспешно вызвал его к

себе.

Пожилой полный человек сидел в большом кресле, на самом краешке, нервно шевелил руками, вертел карандаш и, по всей видимости, чувствовал себя очень неловко.

— Вот вы приехали… — начал он нерешительно. — Вам ведь отпуск только на две недели давали… А вы…

— Я знаю!.. Я виноват, Петр Васильевич! — заговорил Венецкий. — Я не мог приехать раньше: я хотел привезти мать, но она заболела, лежала в больнице…

— Вы ее привезли сюда? — в голосе Петра Васильевича прозвучало что-то вроде испуга.

— Она умерла.

Директор вздохнул с облегчением.

— Так вы приехали один?.. Это хорошо… Видите ли, есть обстоятельства… Вам уже у нас не придется работать…

Николай вскочил.

— Но почему же?.. Я не мог приехать раньше!.. Поймите!..

— Я понимаю!.. Ваше положение трудное, но я ничем не могу помочь… Мы, конечно, могли бы придраться к прогулу и уволить вас… Но зачем же так делать? Тем более, что дело-то вовсе не в прогуле… Лучше всего, подавайте заявление по собственному желанию… Я вам советую…

Бесцветные глаза директора смотрели на молодого инженера почти умоляюще; Венецкий начал понимать.

— Значит, вы боитесь?

Но Петр Васильевич поспешно прервал его.

— Я же вам помочь хочу!.. Конечно, дети за родителей не отвечают, и все такое… Но мне дали указание, чтоб вы у нас не работали…

— Вот оно что!..

Ну, и длинные руки у товарища Кирюхина и компании. Венецкий тут же, на директорском столе, написал заявление; кроме заголовка и подписи, в нем было только три слова:

«Прошу меня уволить».

Прибавлять какие-нибудь объяснения он счел излишним. Ему в тот же день выдали полный расчет.

* * *

Получив расчет, Николай пришел в свою казенную квартиру, которую ему уже и здесь предложили освободить, сел и задумался.

Рука его почти бессознательно раскрыла привезенный им с собой том Лермонтова, тот самый, где на полях «Измаил-бея» рукой его матери были написаны слова: «он в тюрьме», немного отступя «Обыск», еще отступя «Ничего не знаю»…

Слова эти почти наползали на лермонтовские строки

«По мне отчизна наша там,
Где любят нас, где верят нам!..»

… На его отчизне ему больше не верят, его больше не любят!..

Когда Николай Венецкий был сыном видного партийного работника, его жизнь шла прямо вперед, без сучка и задоринки, как хорошо налаженный механизм…

Единственные неприятности, которые у него были, происходили от его неудачной женитьбы, а в остальном…

После окончания школы перед ним без скрипа распахнулись двери московского вуза, в который безнадежно мечтали попасть многие его сверстники, но для них места не хватило, хотя они не хуже его сдали экзамены…

Он получал стипендию, хотя особенно в ней не нуждался, его повсюду выбирали и выдвигали, ему предоставили широкий выбор места работы, и в далекий Белоярск он поехал добровольно; на работе его тоже выдвигали, премировали, считали ударником, стахановцем…

И он привык быть в числе первых и лучших и считал, что это в порядке вещей: он способный, дельный и честный человек, хорошо работает, и его за это ценят, любят, хвалят и премируют….

Теперь он тоже может хорошо работать, не хуже, чем в прошлом году, даже лучше, потому что у него больше опыта, но тем не менее ему указали на дверь, в виде особого снисхождения уволив «по собственному желанию».

Он сын врага народа, сын вредителя!..

Раньше в обиходном русском языке и слов-то таких не было! Были просто враги, или лично чьи-нибудь враги, были просто вредные люди…

В новое издание энциклопедического словаря русского языка, вероятно, будут включены эти два новых слова, при звуке которых люди испуганно оглядываются и замолкают…

… «Отчизна наша там,
Где любят нас, где верят нам!»…

Где ты, отчизна? Почему ты перестала любить и верить?!..

* * *

Несколько дней безработный инженер Николай Сергеевич Венецкий занимался в Белоярске, как недавно в Сабурове, распродажей за четверть цены своего имущества.

Однажды, в холодный зимний день, он зашел на вокзал. Он походил по залу, прочел расписание поездов, цены на билеты, правила движения, потом купил в привокзальном киоске газету, сел и развернул ее.

На задней странице оказалось объявление:

> Тресту «Днепропромстрой» требуются инженеры и техники-строители для работ на периферии.
>
> Обращаться: город Днепровск, Советская 72, трест Днепропромстрой, отдел кадров.

Венецкий встал, подошел к предварительной кассе и взял билет в город Днепровск, на противоположный конец Советского Союза.

В Днепровске не стали допытываться причины его приезда и сразу предложили работу на начинающемся строительстве льнокомбината в Липне.

Николай согласился сразу: Липня так Липня! — это название не говорило ему ровно ничего, а куда-то надо было деваться.

— Вы едете в Липню? — полюбопытствовал какой-то молодой человек из числа сотрудников треста. — Зачем вы согласились ехать в такую дыру? Можно же устроиться здесь, в Днепровске.

Венецкий ничего не ответил.

Оформляя документы, начальник отдела кадров дал ему для заполнения небольшую анкету.

Николай стал привычно вписывать в знакомые графы знакомые слова: имя, отчество, фамилия, год рождения, образование…

Вдруг его рука с пером замерла в воздухе. «Партийность»!..

Раньше он всегда с гордостью писал в этой графе «член ВЛКСМ» и надеялся, что вскоре с еще большей гордостью напишет «член ВКП-б»… Комсомольский билет, снятый с учета в Белоярске, был у него в кармане… Но комсомольский возраст у него уже кончился…

Он минуту помедлили, потом обмакнул перо в чернила и первый раз в жизни, четким почерком, гораздо более четким, чем все остальное, написал в этой графе непривычное слово:

«Беспартийный».

* * *

— И ты так ничего и не узнал про отца? — спросила Лена, когда Николай закончил свой рассказ.

— Перед самой войной узнал. Я писал запросы несколько раз и не получал никакого ответа… А тут уже в сорок первом написал на авось, и мне прислали сообщение, что он умер от туберкулеза… Откуда у него взялся туберкулез?… Может быть, просто убили…

Оба помолчали. Потом Лена задала еще один вопрос:

— А как же Валентина? Знала она про все это?

— Валентина?.. Что ты!.. Она и понятия не имела… Мы с ней тогда были в разводе…

— Разве ты с ней разводился?

— Ну, надо и это рассказывать со всеми подробностями! — усмехнулся Николай. — Мы с ней поженились в Москве, в институте; я тогда был на последнем курсе, а она только на первом… Когда меня назначили в Белоярск, она бросила учиться и поехала со мной… Миша родился в Белоярске… Ну, а потом… мы с ней рассорились..

— Из-за ревности?

— Ну, да, в основном, конечно, из-за ревности… Да, вообще, разные мы с ней были люди, плохо понимали друг друга… Она тогда уехала в Москву, поселилась у тетки, хотела опять поступить учиться, но ее не приняли, потому что она слишком много пропустила… Тогда она пошла работать продавщицей; прописали ее на шесть месяцев, а потом отказали продлить прописку, и пришлось ей из Москвы уехать… Она и приехала опять ко мне, только уже не в Белоярск, а в Липню. Ей я сказал только, что мои отец и мать умерли… Если бы она узнала правду, она бы от меня сбежала за тридевять земель!.. — добавил он насмешливо. — Я рад был, что ее в то время со мной не было: мне и так было достаточно тяжело!

— А ты думаешь, что она еще добавила бы тяжести? — спросила Лена.

— Да, безусловно! Она не из тех людей, которые моугт помочь в трудную минуту.

Он опять помолчал, потом сказал:

— Вот тебя мне тогда, действительно, не хватало!

Робкая ласка слышалась в его голосе, глаза сияли теплым светом; Лена рассмеялась.

— Да, пожалуй, тогда мой опыт был бы тебе полезен!.. Мы, церковники, всю жизнь были вне закона, мы были к этому привычны… А вам, которые жили в почете, которые верили в непогрешимую справедливость советской власти — вам, конечно, было еще тяжелей!.. Жаль, что мы тогда еще знакомы не были!.. А знаешь что, господин бургомистр, нам с тобой сегодня спать не придется: уже утро!..

В этот же день начались восстановительные работы в Воскресенской церкви.

Глава 14
Вдали от фронта

Перед самым Рождеством в Липнинский Крайсландвирт приехал еще один зондерфюрер — молодой человек, не старше тридцати лет, высокий, статный, красивый, с пышными золотисто-белокурыми волосами.

В противоположность «гоноровым немцам, сиотревшим на местное население свысока, он первым долгом приветствовал русских сотрудников русским словом «здравствуйте» и заговорил с ними, мешая немецкие слова с исковерканными русскими, с такой приветливой улыбкой, что очаровал всех.

За десять минут знакомства он расспросил всех, как кого зовут и кто чем занимается, Сообщил, что его зовут Эрвин, что он тоже будет работать в Липне, и еще целую кучу разных разностей.

Когда Раудер прервал этот оживленный разговор и позвал вновь прибывшего в свои аппартаменты, всем казалось, что они уже давным давно хорошо знают этого симпатичного немца.

— Какой красавец! — со вздохом восторга прощебетала Лидия, когда за немцами закрылась дверь.

— Это я понимаю — мужчина! — не менее восторженно отозвалась Фруза Катковская, подпиравшая печку в канцелярии в ожидании платы за принесенное ею выстиранное белье.

— И не по фамилии назвался, а по имени — Эрвин… Он, видно, очень хороший! — сказала Таня.

— Хорошего человека сразу видать! — подтвердила Клавдия Ивановна.

Маруся Макова, которая всех и всегда умела достать своим острым язычком, на этот раз почему-то ничего не сказала.

* * *

Под вечер шестого января 1942-го года, а по старому стилю двадцать четвертого декабря 1941-го года, над заснеженной Липней зазвонил колокол, дребезжащий, надтреснутый; говорили, что прежде этот колокол висел на станции Липня у входа в вокзал.

Усилия Елены Михайловны Соловьевой увенчались успехом: в Воскресенской церкви совершалось первое богослужение.

Когда начали звонить ко всенощной, Венецкий был еще на работе.

Он прислушался, подошел к окну и открыл форточку: теперь разносившийся в морозном воздухе звон был слышен гораздо явственней.

Он не спеша оделся, вышел и медленным шагом направился к этому новому предприятию, которое сегодня начинало работать в его владениях.

Около разбитой бомбежками ограды в несколько рядов стояли сани: это съехалось на открытие церкви множество народа из соседних деревень.

Полутемная церковь была полным полна, но перед хозяином города, которого уже знал в лицо без малого весь район, толпа расступилась, и он беспрепятственно прошел вперед.

Высокие окна церкви были забиты досками, посередине топилась печка из бензиновой бочки работы Буянова; стены были наспех побелены, а с нескольких картин на этих стенах смыта побелка тех времен, когда церковь была зерновым складом.

На дощатом некрашенном иконостасе висело десятка два собранных по городу икон разных размеров. Обращала на себя внимание одна большая икона Божией Матери: когда-то она была разрублена надвое; теперь обе половинки соединили вместе, но между ними в верхней части осталась щель шириной сантиметра два, рассекавшая плечо младенца и руку Богоматери.

Женский голос, отчетливый, звучный, бархатный и до боли знакомый поразил слух Венецкого; этот голос читал непривычные, незнакомые слова на полупонятном языке — том самом, на котором тысячу лет назад разговаривали наши славянские предки; и манера читать нараспев, звучно оттягивая конец каждой фразы, тоже была непривычной, но чтение это было таким красивым, таким выразительным, столько огня и страсти вкладывала в него чтица, что непонятное делалось понятным, чужое — родным и близким…

Николай посмотрел на клирос: одинокая свечка в руке читавшей женщины озаряла ее лицо трепетным розоватым светом… Лена!..

Но такой вдохновенной, такой яркой, такой прекрасной он ее еще никогда не видел!.. Новая, еще неизвестная ему Лена стояла на клиросе полуразрушенной церкви, все уголки которой заполнял ее звучный, властный голос…

— Боярыня Морозова! — снова мелькнуло в голове Николая, как в тот день, когда она впервые заговорила с ним о церкви.

И, как бы в ответ на эту мысль, голос Лены вдруг взвился ввысь, зазвенел, загремел еще сильнее, еще вдохновленнее:

— С нами Бог, разумейте, языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!

И на эти слова ответил клирос, а за ним и вся церковь:

— Яко с нами Бог!

А голос звенел и звенел:

— Услышите до последних земли!

— Могучие покоряйтеся!

— Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете!

— И иже аще совет совещаваете, разорит Господь!

И на каждый призыв отвечал многоголосый хор:

— Яко с нами Бог!

И вдруг никогда не веривший в Бога, никогда не молившийся Николай Венецкий с удивлением поймал себя на том, что он тоже поет, тоже повторяет эти слова:

— Яко с нами Бог!..

Пенье окончилось. Лена продолжала вести дальше свой певучий рассказ на древнем языке.

Венецкий почувствовал, что кто-то тихонько дернул его за рукав; он оглянулся: рядом с ним стояла Маруся.

— Вот ведь артистка! — с восхищением прошептала она, указывая глазами на Лену. — Молодец наша поповна!.. Это настоящее искусство — так читать!.. Я сейчас тоже туда пойду: она меня немного подучила…

Николаю стало не по себе: оказывается, Лена учила церковному пенью Марусю, делилась с ней своими церковными делами и заботами, а к нему, к самому близкому человеку — она во всем, что касалось церкви, обращалась только как к бургомистру…

— А вы-то чего здесь стоите, в публике? — продолжала Маруся. — Идемте туда!..

— Я ведь ничего не знаю! — смущенно пробормотал он.

— Вот слова! Мы с ней все, что будут петь, на машинке перепечатали.

И она вытащила из кармана свернутые в трубочку бумаги.

— Идем! — и она увлекла Венецкого за собой по направлению к клиросу.

— Опоздали, Сергеич! — услышал он за своей спиной и, обернувшись, увидел Виктора.

— И ты здесь?

— А как же я буду вдруг молчать, когда люди поют? — вопросом на вопрос ответил Витька, также вертя в руках какие-то бумаги.

Но, кроме таких новичков, на клиросе стояло немало людей, которые не нуждались в шпаргалках.

В самой глубине стоял грузный, лохматый человек в полушубке, певший громовым басом; приглядевшись, Венецкий

узнал в нем Прохора Гнутова.

Лена опустила часослов и стала на пальцах отсчитывать сорок раз «Господи помилуй» и при этом слегка обернулась.

Ее глаза встретились с глазами Николая, и она улыбнулась ему такой лучезарной и радостной улыбкой, что он понял, что его приход сюда был для нее лучшим праздничным подарком.

Казалось, какая-то невидимая стена между ними зашаталась и рухнула…

— Она меня любит, любит! — стучало сердце Николая, и он стоял с певчими и пел «по печатному» на языке праотцов песнопения Рождественского праздника, и на душе у него был праздник…

Маруся пела с большим увлечением, а в перерывах высовывалась с клироса и разглядывала народ.

В церкви было темно. Негде было достать свечей и масла, так что на весь храм горело пять лампад да несколько восковых и стеариновых свечей у иконы праздника.

Но все же и при этом освещении зоркие глаза Маруси различили у противоположной стены высокую фигуру в немецкой шинели, офицерские погоны и золотистые волосы.

Эрвин, новый зондерфюрер!..

Эрвин ее тоже заметил.

Он выстоял всю всенощную, с интересом наблюдая служение, а когда, наконец, народ хлынул к двери, он остановил Марусю.

— Ви ист дер файертаг хойте? — спросил он.

— Вайнахт! — ответила удивленная этим вопросом Маруся.

— Абер вайнахт ист шон форбай!

Пришлось Марусе растолковывать любопытному немцу, что «форбай» — немецкое Рождество, а русское еще только начинается.

— Но почему же вы не объявили, что завтра праздник? — воскликнул Эрвин. — Если завтра русское Рождество, русские не должны работать! Я договорюсь с Раудером.

И договорился. Следующий день, хотя и с опозданием, был объявлен нерабочим. А за опоздание влетело бургомистру.

— Так тебе и надо: получил выговор? — поддразнила его Лена после возвращения из церкви, от праздничной обедни.

С этими словами она подала на стол, кроме обычной картофельной похлебки, еще праздничный десерт: кулагу из ржаной муки, которую ее научила делать соседка Паша, и печеные бураки, которые в голодное время казались очень похожими на печеные груши.

— Не беда! По такому выговору жить можно! Особенно, когда в утешение кормят такими вкусными вещами! — отпарировал

Николай, уплетая рождественское угощение.

* * *

Эрвин, устроив выходной день на русское Рождество, на этом не успокоился.

Свое, немецкое Рождество по новому стилю, ему в этом году, из-за переездов с места на место, отпраздновать не удалось, и он очень досадовал, что ему не сказали заранее, когда бывает русский Вайнахт, чтобы устроить елку и вечер.

В конце концов, решили сделать елку четырнадцатого января, в честь русского Нового года.

Начались приготовления. Главными распорядителями этой затеи были Маруся Макова, Виктор Щеминский и, конечно, больше всех — новый зондерфюрер Эрвин Гроссфельд.

Шварц совершенно не говорил по-русски, и вообще не владел никакими языками, кроме своего родного немецкого; но он умел внимательно и серьезно слушать и хорошо понимал все запутанные и безграмотные объяснения своих русских служащих.

Раудер, свободно и правильно говоривший на польском языке, понимал по-русски чуть ли не все, но никогда не произносил ни одного русского слова, потому что боялся наделать ошибок и попасть в смешное положение.

Эрвин же, напротив, совершенно не имел ложного самолюбия и ничуть не опасался подорвать свой комендантский авторитет. Он при всяком удобном случае вытряхивал весь свой, уже не маленький, запас русских слов, перевирал их немилосердно, добавлял, где не хватало, польские, немецкие и даже французские слова, связывал все это тяжеловесной немецкой грамматикой, смешил всех и сам смеялся громче всех.

В конечном результате, все друг друга понимали и все были довольны.

Он не любил своей фамилии и всем рекомендовался по имени и, хотя пробыл он в Липне считанное число дней, уже все в городе знали его в лицо и знали, что он — Эрвин.

Для участия в вечере Маруся сумела собрать почти половину довоенного хорового кружка из дома культуры, петь они могли почти без подготовки.

Правда, репертуар пришлось сильно урезать: специфически-советские песни, восхвалявшие советскую власть, коммунизм и Сталина, петь было неудобно; пришлось выбирать нейтральные песни. В программу включили: «Мой костер», «Распрягайте хлопцы коней», «И кто его знает», «Дайте в руки мне гармонь»,

«Любушку-голубушку» и, конечно, неизбежного «Стеньку Разина».

Наряду с хором коренных липнинцев собрался почти экспромтом второй хор — из пленных, из тех самых пленных, которых месяц тому назад, раненых и обмороженных, оставили в Липне.

Теперь в больнице находилась всего третья часть первоначальных пациентов: многие умерли от ран, от истощения, от невозможности оказать им такую помощь, какая была необходима; но остальные, несмотря на холод, лезший в забитые досками окна, на дым от железных печек, на постели и одеяла из льна, на голодный паек, который им выделял голодный город — быстро поправлялись.

Раудер, узнав об оставленных в Липне пленных, сперва рассердился, но Шварц сумел его уговорить, и пленных не только не потревожили, но даже, по распоряжению того же Раудера, привезли для них из Дементьева несколько автомашин ржи и ячменя.

Липня привыкла к своим пленным; многие из них, будучи уроженцами самых отделенных мест, получили у покровительствовавшего им бургомистра красивые, стандартные справочки, напечатанные Клавдией Ивановной, удостоверявшие, что эти люди являются «жителями города Липни Днепровской области» и покладистые коменданты, прекпасно знавшие, что это липа, всем им выдали немецкие паспорта.

И люди осели в приютившем их маленьком, разоренном городе и окрестных деревнях, промышляли самой разнообразной работой, многие «пристали в зятья» и обзавелись семьями.

Очень многие, поправившись и окрепнув, вообще исчезли в неизвестном направлении; их никто не искал.

Из числа этих людей Венецкому удалось, наконец, пополнить состав своей полиции; на должность шеф-полицая, вакантную с самого дня казни Баранкова, он сагитировал пойти бывшего лейтенанта советской армии, молодого черноглазого украинца Ивана Остаповича Вышняченко, славного парня, на которого можно было надеяться, что он никогда не употребит своей власти во вред населению.

* * *

Тихим морозным вечером в здании комендатуры ярко сияли окна; все забыли, что по законам военного времени их полагается завешивать; война отошла куда-то в сторону; Липня, обособленная от всего мира, жила спокойной жизнью, строилась,

восстанавливалась…

Запрет ходить по вечерам отпал сам собой. В этот вечер в большом зале школы № 1, а ныне Ортскомендатуры, собралась почти вся молодежь города, да и пожилых людей пришло немало.

Пришли даже такие люди, которые в мирное время никогда не посещали подобных развлечений, потому что одно дело было — вечера танцев, которые устраивались каждый выходной, а то и чаще, и совсем другое дело — «бал», после того, как целые полгода ни о чем таком не слыхали и не думали.

Наряду со старожилами немало было в зале и новых граждан города — пленных и беженцев. А перед самым началом вечера приехало человек десять каких-то немцев, знакомых липнинского начальства.

Посередине зала стояла огромная елка, достигавшая верхушкой до потолка и разукрашенная непомерно большими электрическими лампочками, тряпочными бантиками, картинками, выразанными из плакатов, фольгой от пайкового немецкого сыра и прочими неожиданными предметами, которых в мирное время никто бы на елку не повесил.

Бургомистр города, «губернатор», «мэр», «городничий», как его в шутку называли друзья, Николай Сергеевич Венецкий пришел на новогодний вечер, когда зал был уже полон.

Сегодня он был в особенном, торжественно-приподнятом настроении: этот праздник являлся как бы итогом всей его деятельности, своего рода отчетом перед людьми и перед самим собой во всем, что было сделано за недолгое время его работы в должности начальника города.

А сделано было немало: и город, и деревни строились, лесничий Крайсландвирта Науменков не успевал выписывать лес на постройку новых хат. Уже работало шесть мельниц — одна в городе и пять — в районе, два маслозавода — в Липне и в Коробове, МТС, электростанция, пекарня, магазин, лесопилка, чайная Егоренкова, баня, валеночная, кожевенная, часовая мастерские, парикмахерская «фризера» Петренкова…

Открылась церковь, создание рук Лены, его любимой Лены… Уже три воскресенья подряд собирался базар, малолюдный и малотоварный, жалкий, упорно нежелающий признавать денег, торгующий на хлеб и соль — но, все-таки, базар!.. По всему району уже налажено было распределение продуктов…

И в каждом деле была большая или меньшая доля его участия, его работы, его души…

Высокий, статный, сегодня особенно красивый в новом костюме, который ему очень хорошо сшил из перекрашенного военного сукна сосед-портной Марк Захарович, — бургомистр

всем бросался в глаза… Он был хозяином праздника, хозяином города…

И он приветливо и весело отвечал на веселые и дружественные приветствия гостей, смотрел на них блестящими глазами, на принараженных, праздничных… Это были его гости, его люди, для которых он работал и жил, и все они казались ему сегодня такими хорошими, добрыми, красивыми…

И лучше всех, красивее всех была его любовь, его лучший друг, его названная жена, его Лена!..

Она надела сегодня какое-то красивое, васильково-синее платье, которого он у нее никогда не видел, и была такая светлая, радостная, прекрасная, лучше всех в мире!..

В зал вошли немцы, хозяева и гости, по толпе собравшихся прошел легкий гул; Эрвин и один из приезжих при входе сказали по-русски: «здравствуйте», остальные поздоровались по-немецки, но Гитлера не помянул ни один.

Зато это постарался сделать Завьяловский староста Лисенков: он поспешил подойти поближе, поклониться пониже и выкрикнул высоким фальцетом:

— Хай Гитлер!

Ответом был ледяной взгляд Раудера.

В общем шуме возглас Лисенкова потонул, и мало кто этот случай заметил и запомнил.

Эрвин щелкнул выключателем, и разом ярко вспыхнули на елке все разнокалиберные лампочки. Соловьем запела в руках Виктора Щеминского гармонь…

Бал начался.

Эрвин оглянулся кругом и, увидев на другом конце комнаты светлую шелковую кофточку Маруси, пошел к ней через весь зал, через толпу гостей, она заметила это движение, встретила его взгляд и почти побежала ему навстречу, со сверкающими глазами, с вьющимися по плечам темными кудрями, перехваченными темно-розовой лентой, с радостной счастливой улыбкой, веселая, быстрая, яркая…

Любители танцев не заставили себя ждать: весь зал закружился в веселом вальсе.

Сперва многие женщины, по местной провинциальной моде, принялись танцевать друг с другом, но немцы энергично запротестовали, и вскоре ни одной пары «шерочка с машерочкой» не осталось.

Гармонь пела, люди кружились, лица у них были веселые, оживленные…

Как будто не было никакой войны, бомбежек, пожаров, голода… И откуда только взялось в разоренной захолустной

Липне столько молодежи, такой нарядной, красивой, веселой?… Казалось, даже до войны никогда не было так хорошо и весело!..

Или все это только казалось?…

Николай Сергеевич стоял, смотрел на танцующих и ожидал, что вот-вот мимо него пронесется знакомое васильковое платье, но его почему-то не было…

Он оглянулся: Лена сидела у стены на скамейке.

— Леночка! Что же ты не танцуешь! Пойдем!

— Да ведь я же не умею!.. Я никогда не танцевала… Я даже не различаю, как в каком танце полагается ногами ворочать…

— Лена!.. Ну вот, еще выдумала!.. Сегодня все умеют!.. Пойдем!.. Ты меня обидишь, если не пойдешь!..

Она посмотрела ему в глаза, потом засмеялась и махнула рукой.

— Ну, идем, если тебе охота таскать такой куль с мукой, как я!.. Только, если ноги тебе оттопчу — не обижайся!

Лена, в самом деле, танцами совершенно не интересовалась и, за исключением нескольких шуточных попыток в техникуме, никогда не танцевала; но на куль с мукой она совсем не походила: она была легкая, сильная, с прекрасным чувством ритма и «таскать» ее совсем не надо было.

Окружающие видели, что Венецкий танцует с «собственной женой» и, конечно, не подозревали, как дороги ему были эти минуты, когда он имел право обнять стройный стан любимой, сжать ее руку… Ведь дома он никогда себе этого не позволял…

Красивым перебором гармони Виктор закончил вальс.

— Зачем же ты говорила, что не умеешь? Ведь это неправда! — тихо проговорил Николай, все еще сжиамя пальцы Лены в своих; ему жаль было их выпустить…

— Что вы тут шепчетесь? Дома не управились налюбезничаться? — раздался около них насмешливый голос Маруси. — Аленушка! Идем петь!.. Да и бургомистра своего тащи — у него голос хороший, а ревновать его сейчас некому…

Маруся намекала на довоенное прошлое, когда она завербовала молодого льнокомбинатского инженера в свои самодеятельные кружки; но тут приехала Валентина Федоровна и так ревновала, горевала и скандалила, что ему пришлось отказаться.

Спели несколько песен.

Николай тоже стоял с хором и пел, и все это время счастливо улыбался, прислушиваясь к милому его сердцу, звучному альту, который он различил бы среди всех голосов мира.

После песен опять начались танцы.

Командовал балом Эрвин. Дамой своей он выбрал Марусю и

не отходил от нее в течение всего вечера. С ней он танцевал все танцы, а когда она отходила и становилась в хор, он садился напротив и не спускал с нее восторженного влюбленного взгляда, и видел ответный сияющий взгляд, и знал, что эти русские песни Маруся поет для него, хотя он и плохо их понимает…

Танцевали те же тпнцы, что и довоенное время, кроме одного, на котором особенно настаивал Эрвин.

Он называл этот танец — кадриль, но эта немецкая кадриль ничуть не похожа была на то, что называли этим словом в Липне.

Еще накануне, во время разработки программы вечера, Эрвин был очень удивлен, что Виктор, игравший на гармони бесчисленное множество танцев и песен, не умеет играть ничего подходящего для этого танца, который состоял в том, что пары без конца расходились и вновь сходились. Эрвин попробовал было напеть липнинскому гармонисту какие-то немецкие мотивы, но Витька был слишком ленив, чтоб их разучивать; тогда Эрвин сказал, что можно сыграть какой-нибудь марш повеселее.

Распорядители вечера попробовали одно, другое и, в конце концов, остановили свой выбор на… «Москве Майской»!..

Эрвину этот мотив страшно понравился, он пожелал узнать слова песни и их значение, и Маруся полностью спела ему «Роте Москау», сопровождая довольно точным переводом, а затем напечатала для него русский текст латинскими буквами.

И танцевали липнинские граждане немецкую кадриль под слишком хорошо всем знакомый, глубоко русский мотив: «Кипучая, могучая, никем не победимая»… И неплохо получалось…

Лену на этот прогулочный танец неожиданно пригласил зондерфюрер Шварц, до сих пор сидевший в стороне.

Николай, оставшийся без дамы, поглядел вокруг себя и подошел к Клавдии Ивановне.

— Давайте, пойдем с вами!

— Чего же вы молоденьких не приглашаете? — рассмеялась машинистка. — Или жены боитесь? Вы же говорили, что она вас не ревнует?… Ну, идемте, что же делать… Я, кстати, в молодости такую кадриль танцевала — тогда модно было…

— Поглядите на первую пару! — сказала Клавдия Ивановна, когда они с Венецким включились в общий ритм танца. — Новый зондерфюрер в нашу Марусю влюбился, ни на шаг не отходит… Да и он ей, видно, нравится… Что ж, молодые…

В то же самое время Виктор, механически перебирая клапаны гармони, повернулся к присевшему с ним рядом Володе и сказал, указывая глазами на ту же первую пару:

— А видно теперь Андрюшке Новикову будет полная

отставка!

— Андрюшке Новикову? А где он? — встрепенулся Володя.

— Кто его знает? Он из плена по дороге бежал, еще не доходя Липни… Вероятно, где-нибудь в деревне… Но Маруся-то была его любовь… А теперь ему до нее не дотянуться — это точно!..

В промежутках между танцами пленные спели несколько украинских песен, потом пели немцы — запевал неугомонный Эрвин; зетем опять пел липнинский хор, и опять танцевали.

— Эх, руки устали! — потянулся Виктор. — А ногами поработать хочется!.. Поиграй-ка ты теперь!..

И он передал гармонь своему непосредственному начальнику, Ивану Вышняченко.

Освободившись от гармони, Виктор подхватил хорошенькую Зиночку Тимченкову и пустился в пляс, не жалея новеньких сапожек; а с противоположной стороны зала на них жгучей ненавистью сверкнули глаза Александры Степченковой.

Когда все уже немного устали от танцев и пенья, с неожиданным успехом выступил часовых дел мастер Иван Иванович Соколов.

Этот человек, небольшого роста и самой неприметной наружности, появился в Липне неизвестно откуда. Он пришел к бургомистру с просьбой помочь ему, рассказал, что бежал из плена, что он москвич, и в этих краях у него нет ни родных, ни знакомых, что без документов его могут забрать в лагерь — и Венецкий сделал этого человека липнинским гражданином.

Получив документ, Соколов взял патент на ремонт часов, примусов, швейных машин, велосипедов и прочей мелкой механизации.

Этот незаметный человек оказался замечательным исполнителем юмористических рассказов и анекдотов; весь зал хохотал так, как, вероятно, никто из присутствующих не смеялся с самого начала войны. В перерывах между танцами и песнями его вызывали целых четыре раза.

Особенно всем понравились армянские анекдоты, сопровождаемые песенкой:

Гулиджан, Гулиджан!
Не ходь моя лавка!
Ты торгуешь баклажан,
Разным сортом травка…

Так и осталось после этого вечера за часовым мастером прозвище «Гулиждан»…

В конце бала к Венецкому неожиданно подошла разряженная,

раскрасневшаяся от танцев Фруза Катковская:

— Сергеич! Давайте мы с вами помиримся!

— Помиримся? — переспросил бургомистр. — А разве мы с вами ссорились?

— Ну, да! Вы же меня ругали тогда за хлеб, ну, и правильно ругали, и вообще вы меня чего-то невзлюбили, а ведь я — баба неплохая!..

И, увидев, что Венецкий смеется, продолжала:

— Это все дело прошлое!.. А теперь — давайте станцуем!

Николай расхохотался и пошел с ней танцевать в знак примирения. Сегодня в его глазах все были хорошие, добрые и симпатичные люди, даже Фрузка, которую он вообще-то недолюбливал, но в этот праздничный вечер он был согласен, что она «неплохая баба».

* * *

Праздник закончился около трех часов ночи. Сигналом к концу послужил отъезд немецких гостей, которые уехали на машине, чтобы к утру уже быть на месте своей службы.

Местные гости расходились во все стороны большими шумными толпами.

Последними вышли из здания комендатуры хозяин города и та, которую народ называл его женой.

Свет в зале Венецкий выключил своей рукой, а когда они с Леной вышли на улицу, погасли окошки и на втором этаже, где жили коменданты.

Ночь была тихая, морозная; круглая луна сияла посередине безоблачного звездного неба и щедро заливала своим светом засыпанную снегом Липню.

Ветви огромных, старых лип, на одной из которых в недалеком прошлом казнили шеф-полицая, были покрыты инеем, и этот иней ярко искрился и переливался в лучах лунного света.

Николай и Лена медленно шли рядом, любуясь чудесной ночью.

Никогда еще они не чувствовали себя такими близкими; нивидимые стены между ними рушились одна за другой; первая стена отчуждения растаяла в ту бессонную ночь, когда они в темной комнате, при свете печурки рассказали друг другу все то, о чем никому не рассказывали; вторая преграда рассыпалась, когда он, неверующий, выросший в неверующей семье, пришел в ее церковь, на ее клирос…

А сегодня рухнула еще одна преграда, когда никогда не

танцевавшая Лена не отказала в этом любимому человеку…

Темной ночью, накануне войны, пробился маленький, робкий росток, за полгода больших испытаний он вырос, зазеленел, расцвел пышным цветом, имя которому — любовь…

Неожиданно далекий странный звук нарушил торжественную тишину прекрасной зимней ночи…

— Что это? Автоматная очередь?…

Венецкий остановился и прислушался…

Звук повторился; затем послышалось несколько хлопков, напоминающих отдаленные винтовочные выстрелы.

Кто мог стрелять? Полицаи? Винтовки у них были, но автоматов не было. Кроме того, они все до одного были на вечере, и все, кроме двух, оставшихся дежурить, пошли по домам без всякого оружия…

Немцы?… Но гости на глазах у всех уехали в противоположную сторону, а своих немцев в Липне было только трое, и все они были дома и уже спали….

Скорее всего, стреляли какие-нибудь проезжие немцы…

Все затихло. Луна продолжала сиять, снег искрился и скрипел под ногами…

Фронт был где-то далеко, далеко…

Ночь была тиха.

Глава 15
Коренной петербуржец

Утром шестнадцатого января, после ясной тихой ночи, подул сильный ветер и поднялась метель.

Еще полные вчерашних впечатлений от новогоднего вечера, шли в это утро на работу жители маленького оккупированного городка. Еще в ушах звучали вчерашние мелодии — немецкая кадриль под «Москву Майскую…», и комическая песенка часового мастера «Гулиджан, Гулиджан, ходь не моя лавка…»

Но в чем дело?

Люди, которые шли в здание комендатуры на свою обычную работу, невольно остановились…

Во дворе стояло четверо саней, запряженных деревенскими лошадками; Конрад и два незнакомых немецких солдата под наблюдением Раудера выносили из дома вещи и укладывали в сани.

Раудер нервничал, все время что-то громко кричал своим немцам, и на вопрос бургомистра, что случилось — только отмахнулся.

Венецкий задал этот же вопрос Конраду.

— Уезжаем! — небрежно бросил на ходу переводчик.

— Куда? Почему? Кто уезжает?

— Все уезжают!..

Больше от Конрада ничего не удалось добиться.

В дверях показался Эрвин в шинели и в фуражке.

Он сразу же подошел к русским служащим, которые кучкой стояли во дворе и с недоумением смотрели на эти поспешные сборы, и начал на двух языках объяснять, что ими получен бефель о немедленном отъезде, а в Липню должны придти фронтовые части…

— Фронтовые? Разве фронт близко?… А куда же вы?… А нам как теперь работать?…

Но Эрвин увидел неподвижно стоящую в стороне Марусю и поспешил к ней.

— Мария, я вернусь в Липню! — сказал он тихо. — Сейчас я не могу не ехать — приказ!.. Но я вернусь обязательно, чего бы это мне ни стоило…

Он говорил по-немецки, говорил много таких слов, которые ей были совершенно незнакомы, но она все поняла без исключения…

Хромая, опираясь на костыль, приковылял и сел в сани шеф-

агроном Старков; он жил при комендатуре, и его, единственного из русских, немцы забирали с собой.

Вышел с небольшим чемоданом в руках Шварц; лицо его было хмуро.

Увидав своих русских сотрудников, он улыбнулся, пожал всем руки на прощанье и неуверенным тоном сказал, что не надо беспокоиться, что Крайсландвирт уезжает, временно здесь будет другая комендатура, и все будет хорошо.

Но по лицу его было видно, что ему очень досадно бросать и работу, которая только-только вошла в колею, и Липню, к которой он уже привык, и липнинцев, которые к нему привыкли и уже считали своим человеком.

Он сел в сани и уткнул лицо в поднятый воротник, стараясь закрыться от ветра и мелкого, колючего снега.

Одни за другими сани выехали на улицу.

Эрвин продолжал стоять около Маруси, не выпуская ее руки, и все обещал непременно вернуться в Липню, и только, когда Раудер резко окликнул его, побежал вдогонку и вскочил в задние сани на ходу.

Через несколько минут весь обоз скрылся, потонув в густой метели.

Представители оккупационной власти уехали из оккупированного города.

В течение трех месяцев эти люди приводили в порядок жизнь городка, разоренного тремя фронтами, их уже знали, к ним привыкли, им доверяли…

И вдруг такой неожиданный отъезд, похожий на бегство.

Немцы уехали, но их русские помощники остались, и остались в самом нелепом положении…

Бургомистр медленно пошел в дом, за ним последовали все остальные.

В Крайсландвиртовской канцелярии был разгром: видимо, отъезжающие искали здесь какие-то документы.

— Николай Сергеич! Я домой схожу, а то боюсь, как бы там чего не случилось? — обратилась к Венецкому Клавдия Ивановна.

Бургомистр молча кивнул головой.

— А мне можно? — спросила Таня. — Я после обеда приду…

— И я домой схожу, Сергеич! — сказал агроном Ваня Корбанков.

Венецкий никого не задерживал.

Лена, не умевшая сидеть без дела, принялась собирать и разбирать разбросанные документы; Маруся села за стол, сложила руки и сидела молча неподвижно.

Вскоре в здании комендатуры они остались втроем,

остальные разошлись.

— Лена! — проговорил Венецкий. — Побудь здесь, пожалуйста, пока я приду: я схожу на мельницу, на электростанцию, вообще всюду пройду — мне надо знать, что в городе делается…

Он ушел, чувствуя, что оборвалась какая-то невидимая связь, на которой держалось всеобщее спокойствие, что все, с трудом созданное, висит на волоске и вот-вот оборвется, и тогда начнется полная анархия…

В здании средней школы, на которой красовались три вывески: «Ортскоммандатур», «Крайсвиртшафт» и «Городское управление», остались только верные подружки Лена Соловьева и Маруся Макова.

Лена, которая всегда в таких случаях старалась чем-нибудь заняться, педантично сортировала брошенные документы; Маруся ни к чему пальцем не притронулась и сидела, задумавшись.

— А ведь Пузенчиха-то сегодня даже не показалась! Видно, еще дома что-нибудь пронюхала! — прервала она, наконец, молчание.

— Остальные тоже постарались смотаться! — отозвалась Лена. — Каждый считает, что в такое неопределенное время лучше находиться у себя дома, чем в комендатуре без комендантов.

— Может быть, и нам с тобой лучше уйти?

— Николай попросил меня подождать его здесь, и я подожду, а ты как хочешь, — твердо сказала Лена.

— Ну, и я с тобой. Пропадать, так вместе!..

Они помолчали.

Маруся подняла с полу немецкую газету, достала словарь и принялась разбирать.

— Ничего не понимаю, почему они всполошились? — проговорила она наконец. — Вот позавчерашняя газета — черным по белому: фронт около Москвы…. Тут про бои под Можайском… Не может же за один день фронт сюда перескочить!.. И все было тихо, ни стрельбы, ни бомбежек…

— Посмотрим — увидим!..

— А ну тебя, поповна!.. Будто я не понимаю, что ты только передо мной храбришься, а у самой на сердце кошки скребут…

* * *

Венецкий шел по заснеженным улицам, которые в этот день были особенно пусты, хотя метель стихла. Беспокойство носилось

в воздухе. Несколько раз ему навстречу из дверей и калиток выглядывали настороженные, встревоженные лица, и опять пряталаись за дверями и калитками.

Около второго угла его нагнал Володя Белкин.

— Сергеич! Что же теперь делать будем?… Коменданты-то наши уехали…

Венецкий остановился и сурово сказал:

— Коменданты уехали, так и вы все за ними врассыпную? Прежде всего нужно порядок сохранить, независимо от того, здесь коменданты или нет… Идем со мной…

— Куда?

— Пойдем на мельницу, на пекарню… Всюду пойдем, куда надо будет… А то, из-за того, что трем немцам вздумалось уехать из Липни, решили, что весь свет перевернулся…

Володя недоверчиво поглядывал на бургомистра, внимательно прислушивался к его голосу и никак не мого понять, на самом деле тот совершенно спокоен или притворяется?… — Венецкий улыбался, лицо его было непроницаемо, голос ровен и звучен, как всегда, даже, пожалуй, чуть звучнее обычного…

И Володя, который не видел, как всего полчаса тому назад этот самый бургомистр, Николай Сергеевич Венецкий, не смог, да и не пробовал удержать на месте разбегавшихся по домам служащих комендатуры, вздохнул с облегчением:

— Значит, все это выдумки, Сергеич! — сказал он. — А к нам сегодня ни свет ни заря соседка прибежала и говорит: красные пришли!..

— Красные пришли? А ты географию учил когда-нибудь? Вчера красные были около Москвы, а сегодня оказались в Липне? Сразу, без боев, без бомбежек, без единого выстрела — взяли и пришли?… Разве так бывает?

Володя смутился.

— Да нет, конечно, это просто так, врут люди… А моя мать в меня вцепилась: не пущу, говорит, в комендатуру!.. Вас все ругала, что вы меня уговорили пойти в полицаи… Говорит: теперь тебя красные расстреляют!.. Зачем лез в полицаи?…

Разговаривая, они подошли в мельнице.

Обычной очереди из возов помольщиков сегодня здесь не было. Только у входа толпились человек двенадцать каких-то баб и о чем-то шумно спорили с мельником.

Увидев бургомистра, женщины кинулись уходить, а мельник пошел к нему навстречу.

— Сергеич!.. Что делать? От баб отбою нет: муку требуют…

— Какую муку?

— Да обыкновенную… Гарнцевый сбор, значит… Они

говорят: красные подходят, так чтоб я муку людям раздал, а то все равно пропадет… Чуть меня не поколотили… Одна кричит: ты красным хлеб берегешь!.. Другая: немцам берегешь!.. Никакой управы на них нет…

— Никому хлеба не давать! — резко сказал бургомистр. — Для них же хлеб бережем, а не для немцев и не для красных!..

Подошел Федор Егоренков, чайная которого сегодня почти рустовала.

— Здравствуйте, Сергеич! Ну, и приготовили нам партизаны подарочек на Новый-то год!..

Венецкий быстро обернулся.

— Партизаны?

Это слово, от которого повеяло наполеоновской кампанией и гражданской войной, объяснило многое.

— Кто вам рассказал про партизан?

— А помольщики, — ответил Егоренков. — Они у меня в чайной сидят; их партизаны по дороге остановили, хлеб отобрали, и лошадей с санями, а самих пустили… Ну, кто по домам пешком пошел, а эти двое дальние, так они в Липню вернулись… Сидят теперь, попутчиков дожидаются, только вряд ли дождутся: кто теперь поедет в такое-то время?

Николай Сергеевич быстрыми шагами пошел в чайную.

Там два мужика в лаптях и армяках, один — лет сорока, высокий, рыжеватый, другой — маленький, сухой старичок, пили горячий чай.

Они подтвердили слова Егоренкова и охотно рассказали все подробности.

— Выехали мы, значит, еще затемно, — говорил рыжебородый. — Смололи-то мы еще вчера, да припозднились малость, тутотка, значит, в городе заночевали, а утречком — в дорожку… Ну и едем себе возов с десяток…

— По какой дороге? — перебил Венецкий.

— А по Родославскому большаку. Как в Сучковский лесок заехали — с обеих сторон на нас, значит, выскакивают: «руки вверх!»… и коней под уздцы!.. Ну, мы руки, значит, подняли и спрашиваем: кто, мол, такие?… А мы, гворят, красные партизаны!.. И сами на нас тоже: кто такие, откудова едете, что везете?… Ну, мы им, так и так, говорим: с мельницы едем, с Липни, до дому… А у вас, говорят, в Липне немцы есть?… Говорим: есть!.. Так, говорят, завтра не будет!..

Тут в разговор вмешался маленький старик.

— А на нас говорят: теперича слазивайте!.. Коней наших позавернули, сели и поехали… И хлебушко забрали, и коней, и сани… Кобылку мою жальчей всего!.. Добрая была кобылка,

рыженькая, молодая… Мы им, значит, толкуем: у нас дети малые, хлебушка нет, конь на десять дворов один… А они мне: ты, папаша, говорят, помолчи, да спасибо скажи, что мы тебя самого добром пустили, а про хлеб да про кобылу и не поминай!.. Вот так! То раньше все немцев боялись, все доброе ховали, как бы немцы не забрали… А нынче с немцами трошки поспокойнело, так партизанты… И откуль они только взялись, эти партизанты?…

— А люди говорят, что они из тех пленных, что посбежали, — заговорил рыжебородый. — У нас в деревне пленники эти в зятьи, значит, попристали к нашим, к бабам… Так к ним ночью пришли, наган показывают: ты, спрашивают, солдат? — Ну, солдат. — А коли солдат, мобилизуем тебя в партизанты!..

— И те пошли с ними? — спросил Егоренков.

— А куды ж ты денешься, коли наган?… Пошли!.. Они всех пленников собирают, кто где пристал, — продолжал рыжебородый, прихлебывая чай. — Они говорят: возьмем вашу Липню! Там немцев мало, а пленников много — полная больница…

— Больница?

Венецкий быстро пошел к двери и столкнулся с Володей.

— Сергеич! Немцы какие-то проехали!..

— Куда?

— Да к нашей комендатуре! На санях, полный обоз с автоматами…

— Володя, голубчик! — Венецкий положил руку на плечо своего верного помощника. — Беги скорее в комендатуру: там Михайловна моя одна сидит… Помоги ей, если что-нибудь понадобится!..

— А вы?

— Я в больницу!.. Эти немцы, может быть, просто мимо проедут, а в больницу мне необходимо: надо выяснить, там ли наши пленные?…

Венецкий почти бежал; короткие липнинские улицы казались ему бесконечными…

… «В Липне немцев мало, а пленников много — полная больница»… — звучали в его ушах случайные слова незнакомого человека…

Вот и больница!

Двери обоих корпусов распахнуты настежь, на полу валяются скомканные клочья льна, печки холодные…

Из раненых пленных, которых приютил в своем городе липнинский бургомистр, не осталось ни одного человека.

* * *

Но немцы не проехали мимо липнинской комендатуры. Промерзшие и сердитые, они ввалились в дом и наполнили его резкими криками и топотом подбитых железом обмерзших сапог.

При виде Лены и Маруси они удивились, по какому поводу торчат в немецкой комендатуре «руссише вайбе» и проявили непритворное намерение выгнать их вон.

Маруся поднялась навстречу офицеру и начала объяснять, кто они такие и почему находятся здесь, но офицер, злой, промерзший и, как после выяснилось, избалованный безупречными переводами, не пожелал ни слушать, ни понимать ее не совсем складную немецкую речь.

— Дольмечер! — нетерпеливо крикнул он.

Маруся вспыхнула.

Ее обидело это восклицание: до сих пор, в течение полугода, она прекрасно самолично объяснялась с немцами и нередко сама бывала переводчиком, а с этим капризным новым немцем ей пришлось говорить через переводчика.

Правда, этот переводчик говорил по-немецки лучше своего начальника немца.

Переводчик был высокий худощавый человек лет сорока с лишком, в старинных продолговатых очках в золотой оправе, в белом дубленом полушубке с погонами. Погоны были солдатские, но в наружности и в осанке этого человека было что-то, резко выделявшее его из солдатских рядов.

Он говорил на русском языке — по-русски, употребляя такие обороты и выражения, до которых никогда не додумался бы иностранец; его язык был одинаково непохож и на корявые изъяснения переводчиков — поляков, и на волгодойчей, и на местную полудеревенскую речь — это был язык безукоризненный, литературный, насыщенный остротами и каламбурами, но уже несколько устаревший, не советский…

— Эмигрант! — тихо шепнула Маруся.

Лена чуть заметно кивнула головой.

Эмигрант-переводчик внимательно выслушал все объяснения, перевел их своему немцу, и тот, сразу успокоившись, ушел, предоставив все дальнейшие дела и разговоры своему долмечеру.

… - Так получается, что все здешние коменданты и крайсландвирты удрали и покинули сей богоспасаемый град на произвол судьбы? — говорил переводчик. — Не осталось ни одной персоны немецкой национальности. Плохие дела!.. Ну, а русской национальности кто-нибудь есть? Бургомистр или начальник полиции? Или беглецы всех забрали с собой?

— Бургомистр здесь! Он скоро должен придти! — ответила Лена.

— А вы это точно знаете? Уверены, что он не удрал?

— Еще бы! — вмешалась Маруся. — Как же она может не знать, если бургомистр — ее муж!..

— А, очень приятно!.. — эмигрант чуть-чуть поклонился по адресу Лены. — Так скажите, где же находится ваш супруг?

— Он пошел в город, выяснять положение: отъезд комендантов всех вбаламутил…

— А не могли бы вы кого-нибудь послать за ним? — спросил переводчик.

— Посылать некого! — ответила Лена. — Я пойду сама и поищу его.

Она начала одевать пальто, но в эту самую минуту в дверь просунулась голова Белкина.

— Володя! Ты не знаешь, где Николай Сергеич?

— Он на мельнице был, меня послал к вам, а сам пошел в больницу….

— Был на мельнице и пошел в больницу? — повторил переводчик, вплотную подходя к Володе. — Ты — полицейский? Ну, вот что, милейший: отправляйся, одна нога здесь, другая там, и достань мне этого Николая Сергеевича хоть из-под земли!.. Комендант его требует!.. Понятно?

— Так точно! — почти по-военному ответил Володя и, повернувшись, исчез за дверями.

— Я пойду наверх, к коменданту. — сказал переводчик. — Все наши там устраиваются в бывших зондерфюрерских аппартаментах… Когда появится на горизонте бургомистр, пожалуйста, вызовите меня!

— А как вас вызвать! — спросила Маруся. — Как вас зовут?

Улыбка тронула тонкие губы эмигранта.

— Я забыл представиться — извините!.. Владимир Альфредович фон Шток, главный переводчик. — несколько секунд помолчав, добавил. — Коренной петербуржец!

* * *

— Как же это у вас получилось? — спрашивал Венецкого «коренной петербуржец» через пять минут после знакомства. — Насколько я вас понял, у вас сегодня сбежали все пленные?… А куда же девалась охрана?… Или тоже сбежала?

— Какая охрана? Там не было никакой охраны… Это же больница — там были только больные и раненые!..

— Больные и раненые, которые умеют бегать? — спросил фон Шток, насмешливо поглядывая сквозь свои старорежимные очки. — Каким же образом здесь пленные оказались без охраны, хотя бы и раненые?

— Да очень просто: колонну гнали в Бахметьевский лагерь, а раненых оставили здесь, потому что они не могли идти…

— А удрать смогли?

— Да как вы не понимаете? — нетерпеливо воскликнул Венецкий. — Это же давно было, больше месяца тому назад!.. Они выздоровели… не все, конечно, но большинство…

— Выздоровели?… А что же они тут делали? Сколько их было?

— Сперва было около трех тысяч человек, под конец оставалась тысяча с небольшим…

— А две тысячи куда делись?

— Человек пятьсот умерли: условия тут тоже были собачьи, лечить их было нечем, и вообще мы слишком мало могли сделать для них… А остальные поправились… Ну, и разошлись кто куда, по домам, по деревням… поустраивались работать…

— Кто же их отпустил? — допытывался переводчик.

— Их никто держать не собирался!.. Перешел человек на собственное иждевение — и хорошо!.. Ведь нам-то, по существу, и кормить-то их было нечем, наш район разоренный…

Владимир Альфредович задумался.

— Как я понял вас, — проговорил он медленно, пуская к потолку дым сигареты. — В вашей Липне оставили без всякого конвоя три тысячи человек раненых пленных, поместили их в больнице, хотя и в собачьих условиях, но почти на свободе, лечили их, хотя нечем было лечить, кормили, хотя нечем было кормить; когда они выздоровели, никто им не мешал уходить, куда вздумается… Так?

— Совершенно верно! — подтвердил бургомистр.

— Какой же дурак придумал это?

Венецкий вспыхнул.

— Этот «дурак» сидит перед вами! Это я добился разрешения коменданта оставить в Липне этих людей!.. Их гнали на верную смерть!..

— Так, так… Недурно!.. Бургомистр из человеколюбия добивается разрешения оставить раненых пленных в Липне для спасения их от верной смерти и берет их на свое попечение… А благодушный комендант благословляет человеколюбие бургомистра!.. Редкостный случай!.. «Ортскоммандант унд зондерфюрер»… — Он вертел в руках какой-то документ с подписью Шварца. — Унд… Вот в этом-то «унд» собака и зарыта!..

Поручили крайландвиртам комендантствовать, когда их дело — коров доить!.. Крайсландвиртское царство!.. Крайсландвирты казнят и милуют, и впридачу пленных освобождают… Да за это голову снять надо было и коменданту, и бургомистру!.. Уж, если оставлять раненых, то хоть выздоравливающих надо было отправлять в это самое Бахметьево!..

— Тогда первого надо было отправить меня! — прервал Венецкий. — Я тоже пленный, и тоже был бы в «этом самом Бахметьеве», если бы…

— А кто вас просит об этом сообщать? — вдруг совершенно другим тоном сказал фон Шток. — Знаете, дружище, я ведь вас вполне понимаю… Сделанного, конечно, не переделаешь, но я постараюсь передать коменданту всю эту историю в несколько ином свете, а, если удастся, вообще умолчать о том, что здесь у вас был такой нелегальный лагерь… А вы продолжайте свое дело, вызовите всех ваших чиновников, которые разбежались по домам, и работайте!.. А со всеми вопросами обращайтесь прямо ко мне, я всегда пойду вам навстречу… Мне очень приятно, что в такой дыре, как ваша Липня, бургомистр оказался интеллигентным человеком… До свидания. Передайте мое почтение вашей супруге…

Он крепко пожал руку растерявшемуся бургомистру и ушел.

* * *

Николай Сергеевич спустился на первый этаж и неожиданно застал в крайсландвиртовской канцелярии много народа: там собралось человек тридцать старост и полицуйских из разных деревень.

Всех их привела сюда одна и та же причина: внезапное нападение партизан.

Они обступили большой стол, за котором сидели неразлучные подруги Лена и Маруся, и наперебой рассказывали о событиях минувшей ночи.

… — Они ночью из леса подошли, — рассказывал невысокий рыжеватый старик, староста деревни Еремино Ковалевского сельсовета. — Всю деревню, значит, окружили и перво-наперво ко мне. Ты, говорят, немецкий староста, такой-сякой, предатель родины!.. Я им, значит, говорю: меня немцы силом заставили… то, другое… Ну, они мне и говорят: никакой ты теперь больше не староста, будет тут колхоз, а тебя будем судить своим судом, как, значит, предатель родины… И меня в мою же кладовку и заперли… А у меня там в задней стенке две доски отошедши

были — я вылез, и ходу!.. У кума полушубок попросил, да восемнадцать верст одним духом и шпарил до самой Липни…

— И не задержали по дороге? — спросил кто-то.

— А я кустарниками шел, на дорогу не выходил. А по дороге, слыхать было, стрельба была сильная и в Тишкове, и в Железкине, и в Семеновке…

— А в Рябцеве старосту застрелили, а хату евойную спалили, — вмешался другой староста, высокий, чернобородый мужик. — А ко мне с оттуль, с Рябцева, значит, сноха прибегла: бежи, говорит, батя, спасайся!.. Ну, я кобылу запряг, своих посадил, да в Липню!.. Еле успел…

— Макарушкино горело, как все равно фронт, — послышался еще один голос. — Там с одной стороны партизанты подошли, с другой немцы… Бой был…

— И когда это только этим боям да фронтам конец будет?!.

— А в Маркове, говорят, опять теперь райком и райисполком, как при советской власти… А старост — кого постреляли, а кого посадили, будут, значит, к своим отправлять, да в тюрьму…

— А коли кто с ними, с партизантами, спутается — немцы повесят!.. Вот и крутись, как хочешь, коли ты староста…

— Это все пленники понатворили, зятьки разлюбезные… Мы их кормили да привечали, а они нам подяковали как свиньи…

— В Вороньем Моху, говорят, главное ихнее управление…

— Да в каком там Вороньем Моху?… Они от Терехина шли, от станции…

— Со всех сторон сразу…

В руке Лены быстро двигался красный карандаш; время от времени она ровным голосом спрашивала то про одну, то про другую деревню, захвачены они партизанами или нет…

Увидев вошедшего Николая, она знаком подозвала его к себе и указала на разостланный перед ней на столе большой лист бумаги.

Венецкий склонился над столом, внимательно посмотрел на бумагу и… сам сделался бледнее бумаги…

Перед ним лежала карта Липнинского района, одна из тех, которые Лена делала для Шварца, и на этой карте красным карандашом были отмечены все деревни, по словам беженцев, захваченные партизанами.

Из этих отметок образовалось спошное красное кольцо, несколько вытянутое от севера к югу; внутри кольца нетронутыми оказались город Липня и несколько десятков деревень, как раз те деревни, где после трех фронтов не было ни кола, ни двора, ни скота, ни хлеб; те деревни, которые по районной продразверстке были иждивенцами и получали в Липне хлебный поек; все же

уцелевшие, сытые деревни, которые должны были кормить район, оказались отрезанными.

— Видно, там, у партизан, не одни пленные, — заметила Маруся. — Несомненно, есть и здешние люди, которые знают район не хуже нашей поповны…

Над многострадальной Липней вплотную нависла угроза голода.

Глава 16
Замела метель дороженьки

На следующий день новое начальство передало через переводчика фон Штока приказ: всем русским уйти из здания комедатуры.

В бывшей школе № 1 целиком и полностью воцарилась Германия.

Все русские служащие Крайсландвирта и Городского Управления разместились в одном из маленьких бесхозяйных домиков, которые еще до Рождества Венецкий распорядился отремонтировать, чтобы дать людям работу. В новом помещении было тесно и неудобно, особенно, когда собрались все, кто смутные дни пересиживал дома.

Еще в декабре Крайсландвирт вызвал на работу всех оказавшихся в городе агрономов, зоотехников, ветврачей, землеустроителей, лесничих; кроме того, была бухгалтерия, были две уборщицы и прочее; всего двадцать с лишним человек. И все вскоре явились на работу, за исключением Лидии Пузенковой, о которой, впрочем, никто не тосковал.

И всем этим людям, которые до Нового года были загружены по горло, вдруг оказалось нечего делать.

Гражданская жизнь в Липне замерла; мельница, главный источник хлеба, а следовательно и жизни, — простаивала.

В город наехало множество воинских частей; все они расположились, никого не спрашивая, в разных частях города, теперь уже не в палатках и пустых постройках, как летом, а в наиболее сохранившихся домах, стесняя, а то и вовсе выселяя хозяев.

Связь с районом, большая часть которого была во власти партизан, почти прервалась. Ни в город, ни из города никого не пускали без специальных пропусков комендатуры…

И бургомистр, который ранее был в курсе всего и правил всем — оказался не у дел: жизнь пошла мимо него.

Он распорядился молоть для города зерно, привезенное по приказу Раудера для пленных, тех самых пленных, которые ушли из больницы в партизаны, распорядился продолжать ремонт еще нескольких домов.

Но он знал, что теперь любой немецкий солдат может вмешаться в его распоряжения, сорвать с работы людей, может взять без всякого отчета хлеб, стройматериала, вообще все, что подвернется под руки, и он, бургомистр, бессилен помешать

этому.

Новые коменданты сидели в своей комендатуре и не допускали до себя ни бургомистра, ни тем более других русских и, по-видимому, совершенно не интересовались судьбой города Липни и его обитателей.

Единственным связующим звеном между властителями немецкими и русскими был главный переводчик Владимир Альфредович фон Шток.

К счастию, этот человек, говоривший по-немецки лучше немцев и по-русски лучше русских, был далеко не глуп и хорошо понимал все то, что его непосредственные начальники считали ниже своего германского достоинства понимать.

Он ежедневно заходил в маленький домик, где в тесноте сгрудился Крайсландвирт и бургомистрат, познакомился со всеми, вошел в курс всех городских и районных дел и, с его помощью, жизнь города, выбитая из колеи, начала понемногу утрясаться и налаживаться.

На Крещенье он по собственному почину договорился с немцами о предоставлении свободного дня всем русским рабочим и служащим. Он самолично присутствовал в церкви на литургии и водосвятии, причем держал свою пилотку «намолитву» по уставу царской армии, крестился и становился на одно колено, подчеркивая всем поведением свое старорежимное православие.

А под вечер он неожиданно явился на квартиру бургомистра.

— Не ждали? — спросил он в дверях, стряхивая мягкий снег с белого полушубка. — А я, по случаю праздника, к вам в гости!..

— Пожалуйста, Владимир Альфредович! — сказал Венецкий. — А я уже подумал, что комендатуре срочно понадобился бургомистр.

— Да, конечно, при появлении на горизонте такого высокопоставленного лица, как комендантский долмечер, подобная мысль придти в голову может… Но как раз сегодня у нас в комендатуре очень спокойно, и я решил в кои веки раз провести вечер по-человечески — с людьми, с которыми хоть поговорить можно… Мое почтение, Елена Михайловна, я вас сегодня не приветствовал, хотя и видел…

— Здравствуйте! Как же вы нашли наш дом? — спросила Лена.

— Расспросил одного полицая, и он мне так обстоятельно описал дом и все его приметы, что я, как видите, не заблудился… Впрочем, я уже неплохо ориентируюсь в «городе» Липне…

Владимир Альфредович уселся поудобнее, достал из кармана серебряный портсигар с вензелем под короной и протянул Венецкому.

— Закуривайте!

— Спасибо, не курю! — ответил тот.

— Не курите? Разве? Это редкость. Впрочем, вы счастливый человек, если можете без этого обходиться. Что касается меня, то я — заядлый курильщик… Вы позволите, Елена Михайловна?… А большинство ваших сослуживцев курят не переставая, и курят они, откровенно говоря, что-то мало похожее на табак…

— Крапиву, малиновый лист, березовый веник, хмель и коноплю, — дала точную ботаническую справку Лена. — Из-за всего этого набора я стараюсь теперь поменьше бывать в нашей новой конторе: там дышать нечем.

— Я когда-то тоже курил — жена отучила! — усмехнулся Николай и переглянулся с Леной: оба вспомнили подробности этого отучивания.

А дело обстояло так: первые дни после своего освобождения из плена Венецкий сильно тосковал по куреву и как-то робко спросил Лену, нет ли у нее табаку или папирос.

— Вот уж чего нет, того нет! — ответила она довольно резко. — Ни водки, ни табаку у меня не было и нет; сама не курю и другим не советую!..

А спустя несколько минут добавила спокойным тоном без улыбки; только где-то в глубине ее красивого низкого голоса чуть-чуть слышалась насмешка:

— Впрочем, курево можно достать: надо только хорошенько поклянчить у немцев, и они дадут пару окурочков… Вот хозяин этой хаты Титыч, бывало, ни одного немца не пропустит, чтоб не выпросить: «Пан, пан, курить, курить!» А потом уже выучился: «Пан, раухен!»… Кажется, одно только это слово и знал по-немецки… Мне на него глядеть было и тошно, и совестно: пожилой человек, почтенный, и у какого-то задрипанного немца как милостыньку окурки выпрашивает… А тот глядит на него с презреньем и благодетельствует окурочком… А у самого на физиономии написано: я — царь природы, а ты — руссише швайн… И самое обидное, что в данном случае он полное право имеет так смотреть!.. Несчастные вы люди, курильщики!.. Из-за какой-то поганой травы готовы унижаться, чуть ли не на коленях ползать… Продержи вас неделю без курева — вы отца с матерью продадите за папироску!..

Этой полусердитой, полушутливой отповеди оказалось достаточно: самолюбивый Венецкий не мог допустить, чтобы на него, как на Титыча, было «тошно и совестно глядеть», и больше о куреньи разговоров не было.

А когда через несколько дней сосед Захарыч угостил его самокруткой с какой-то смесью, он отказался и сказал, что в

плену курить отвык и не хочет опять привыкать, так как теперь трудно достать табаку.

Лена, слышавшая этот разговор, улыбнулась, но ничего не сказала.

И теперь, через несколько месяцев, предлагаемые фон Штоком сигареты высшего сорта так же мало соблазняли Николая, как хмель и крапива, которые курили его сослуживцы.

— Владимир Альфредович, а ведь я до сих пор нового коменданта в лицо не знаю! — сказал Венецкий.

— Да! Мой шеф так недоволен всеми русскими, что не желает допускать пред свои светлые очи даже бургомистра, не говоря уж о простых смертных. — Медленно ответил фон Шток безразличным размеренным голосом и трудно было определить, серьезно он говорит или насмехается. — Он очень огорчен, что русские, вместо горячей благодарности и сыновней преданности фюреру, начинают партизанить и вообще безобразничать… Но вас, Николай Сергеич, даже лучше не обращаться к нему лично: ему действует на нервы неправильная немецкая речь, хотя сам он изъясняется на своем родном языке далеко не литературно. Почти все, что касается гражданского населения, он предоставил на мое усмотрение, так что волею судьбы я являюсь вершителем судеб здешних обитателей (он подчеркнул каламбур), а я, как вы знаете, ваш добрый знакомый и стараюсь во всем, что возможно, идти к вам навстречу.

— За это большое спасибо!

— Что вы, не за что, Николай Сергеич!.. Я ведь все-таки русский, православный, вырос в Петербурге… Впрочем, с точки зрения большевиков, я хуже немцев и вообще всех иностранцев.

— Почему?

— Я белогвардеец — следовательно, самый лютый враг… Рассудите сами: я окончил кадетский корпус, был в юнкерском училище… В октябре семнадцатого года, будучи юнкером, дрался с большевиками… Правда, нас тогда расколошматили… Потом я был в армии Юденича, опять дрался с большевиками… Потом эмигрировал, в Совдепии остаться не пожелал, жил все время в Германии, теперь опять дерусь с теми же большевиками… Ну, разве я не враг рода человеческого, если встать на точку зрения коммунистической пропаганды?

— А пропаганда на то и существует, чтобы взаимно ужасы расписывать! — отозвалась Лена. — А таких людей, как мы с Николаем, коммунистическая пропаганда тоже записывает во враги рода человеческого: ведь мы работаем с «фашистами»…

— А знаете, Елена Михайловна, в чем главная причина сегодняшнего визита? — переменил разговор гость. — Я пришел

выразить вам свое восхищение!

Лена удивленно смотрела на переводчика, ничего не понимая.

— Мне?… Восхищение?… По какому случаю?

— Я был сегодня в церкви, Елена Михайловна, и пришел в восторг от вашего голоса и от вашего, если так можно выразиться, драматического таланта… Замечательно!

Владимир Альфредович фон Шток просидел у своих новых знакомых до глубокой ночи, много рассказывал, интересно и остроумно, и много выслушал рассказов.

ТО, что рассказано было однажды, легко по проторенной дорожке рассказывалось вторично, и к полуночи гость уже знал и о советском священнике Михаиле Степановиче Соловьеве, и о «враге народа» Сергее Александровиче Венецком, и о многом другом…

Прощаясь перед уходом, он неожиданно наклонился и поцеловал руку Лены.

— Это зачем? — воскликнула она почти испуганно.

— Так было принято в нашем кругу, Елена Михайловна! — ответил эмигрант с почтительным поклоном.

Но его глаза, вспыхнувшие за стеклами очков, говорили, что не только светский этикет далекого прошлого был причиной его неожиданного поступка.

Николай закрыл за гостем дверь и вернулся в комнату. Он подошел к сидевшей у стола Лене, взял ее руку и, неожиданно для себя самого, тоже поцеловал.

Лена вспыхнула и заставила себя рассмеяться.

— И ты уже записался в старорежимную аристократию? И в твоем «кругу» так принято?

— А что, этому барону можно, а мне нельзя? Неужели я совсем не гожусь в старорежимную аристократию?

Его голос слегка дрогнул: ему трудно было обращать в шутку то, что для него давно уже не было шуткой.

— Годишься, годишься, господин губернатор! Еще в рыцари тебя надо посвятить, а я буду твоей дамой сердца!..

* * *

В конце января в Липне начались ежедневные метели: снег и ветер, ветер и снег каждый день.

На всех улицах города и пригородных дорогах собрались огромные сугробы, в которые люди проваливались выше колена. Движение машин прекратилось совершенно.

И вот в одно морозное и метельное утро по всем домам пошли немецкие солдаты и стали выгонять на расчистку снега все население города. Выгоняли со скандалами, с криками. Люди, среди которых было немало больных и ослабевших от плохого питания, прятались, скрывались от немцев.

Но все же, на работу вышла с лопатами огромная армия. Даже не верилось, что в опустошенной Липне живет так много народа.

Счастливцев, имеющих добротную, теплую одежду и обувь, было мало. Большинство ходило в лохмотьях, в слишком легких одеждах, в лаптях, в рваных и разнопарных сапогах и валенках.

Немцы заставили счищать снег на дорогах до самой земли. За день было расчищено несколько главных улицв самой Липне и несколько участков дорог на подходе к городу.

Когда стемнело, народ распустили «нах хаузе». А ночью задул ветер, поднялась поземка, и к утру все расчищенные дороги снова были заметены мелким рассыпчатым снегом, в котором вязли и буксовали машины немецкой армии.

Людей снова выгнали на дорогу. Эти люди снова расчистили немалую площадь, а к утру ветер и метель уничтожили их труды.

И так пошло изо дня в день.

Установилась странная погода, какой в мирное время в этой местности никогда не бывало, по крайней мере, никто из старожилов такого не помнил.

С утра бывал жестокий мороз и яркое ослепительное солнце, за несколько дней покрывшее лица всех снегочистов темно-бронзовым, почти тропическим загаром и превратившее их с виду не то в индусов, не то в малайцев.

К заходу солнца поднимался легкий ветерок, и начинала мести поземка.

К полуночи уже завывал ветер, несущий тучи снега.

К рассвету — мела метель, наворачивая сугробы. А после рассвета — снова жгучий мороз и яркое солнце.

По краям дорог росли в вышину горы затвердевшего, слежавшегося снега; местами они были выше человеческого роста.

А в середину почти каждую ночь, как в насмешку, ветер надувал с полей и огородов новый снег — мягкий, пушистый, рассыпчатый, в котором можно было увязнуть выше пояса.

Немцы ругались, зябли, выворачивали и натягивали на уши свои неприспособленные к климату пилотки, поддевали самые невозможные одежды под свои ветерком подбитые шинели и кляли на чем свет стоит Руссланд, русскую зиму и русские дороги.

Русские тоже ругались, ходили не по дорогам, а по верху, по выброшенному снегу, который был значительно тверже, и кляли непонятливых немцев, которые, вместо того, чтобы накатать, как всегда делалось со времен отцов и праотцов, сверху по снегу твердую санную дорогу, упрямо заставляли ежедневно ворошить и расковыривать этот снег, и счищать его до самой промерзлой земли, которая также упрямо почти ежедневно обратно пряталась под пушистое снеговое одеяло.

* * *

На Базарной улице стоял небольшой домик — как почти все дома в Липне, деревянный, деревом крытый, серенький.

Принадлежал он заготовителю скота Кафтаненкову Ивану Лукичу, который жил в нем с большой семьей: у него была жена Марья Игнатьевна, сестра жены Надя, в сорок первом окончившая школу, пятеро детей, из которых старший одну зиму ходил в первый класс, а младший родился за месяц до начала войны, и девяностолетняя полуслепая Семеновна, бабушка его жены.

Вся эта орава помещалась в одной комнате и кухне, из которых состоял домик.

Иван Лукич был неплохой и очень честный человек, толковый и старательный работник; он очень гордился тем, что он член партии и никогда не пропускал случая поставить собеседника в известность об этом факте.

Он очень любил выступать на собраниях и никогда не укладывался в регламент. В работе он не считался ни со временем, ни с погодой, постоянно ездил, а чаще — ходил, по командировкам, и его участок почти каждый год первым в районе выполнял план мясозаготовок.

Но при всех достоинствах Ивана Лукича, была у него одна слабость, о которой хорошо знали соседи и сослуживцы, и немало горевала Игнатьевна: стоило ему выпить сто грамм, как он уже не мог оторваться от водки, припивал все деньги, залезал в долги, делал прогулы и бывал во хмелю буен и драчлив.

Но случалось это с ним нечасто, а после строгих правительственных указов о прогулах — совсем прекратилось.

Когда началась война, он, как и множество других, был призван в армию, и вся забота о семье легла на плечи жены и свояченицы.

Во время первой оккупации города немцами, а также при кратковременном возврате руских, обе сестры усиленно таскали в свое гнездо то продукты из складов и магазинов, то спирт с

завода, а иногда и кое-какие вещи из брошенных квартир, копали картошку везде, где она только росла, не спрашивая, кто ее посадил — и теперь, зимой, когда уже многие голодали, эта семья сидела в своей хатке, сравнительно неплохо обеспеченная.

Кафтаненков попал в плен. Невдалеке от страшного Бахметьевского лагеря ему удалось бежать, и в начале декабря один мужик, приехавший в Липню на мельницу, привез от него Игнатьевне весточку; Иван Лукич писал, что он находится в Мглинковском районе, в деревне Петраково, и вскоре придет в Липню.

Марья Игнатьевна стала ждать мужа домой, ждала декабрь, ждала январь, а когда город оказался в партизанском окружении — перестала ждать, думая, что теперь его в Липню не пропустят.

Тут-то он и заявился.

Он пришел рано утром, до рассвета, пробрался задами и огородами, строго-настрого приказал своим никому не говорить о его приходе, расспрашивал о всех новостях и особенно интересовался, много ли в городе немцев, какие роды оружия, и на каких улицах они расположены.

Игнатьевна не знала, куда посадить дорогого гостя, чем его угостить и, забыв на радостях про его слабость, вытащила из подпола заветный трехлитровый битон со спиртом.

Через час, когда уровень жидкости в битоне значительно понизился, Иван Лукич заплетающимся языком сообщил жене и свояченице, что он коммунист, что он партизан, что он пришел сюда в разведку, что скоро в Липню придут партизаны, и тогда уже они расправятся по-свойски с фашистами и с изменниками родины…

Жена слушала его одним ухом, не зная, чему верить, чему нет, поддакивала и нетерпеливо ожидала той минуты, когда ее супруг свалится на стол, или под стол, и захрапит, чтобы тогда стащить его на постель и уложить спать…

В самый разгар пьяных разглагольствований Ивана Лукича явились незванные гости.

— Раус!.. Алле раус!.. Шнее путцен!.. Шнелль! Шнель! — выкрикивал пожилой немец в коричневой шинели с красной повязкой на рукаве (эту форму носила ведавшая дорожными работами организация ТОДТ).

Предшествующие дни немы миловали Кафтаненчиху из-за ее оравы детей и разрешали оставаться дома; на снег из их семьи ходила одна шестнадцатилетняя Надя.

И сегодня, услыхав голос немца, девушка поспешно начала одеваться.

Но немец увидал самого хозяина дома, сидящего за столом, и

направился к нему.

— Пан!.. Пан! Ауфштеен!.. Шнее путцен!.. Арбайтен!.. — говорил он, тряся Ивана Лукича за плечо.

Тут произошло непредвиденное.

Кафтаненков, пошатывась, поднялся из-за стола, бессмысленно поглядел на немца, не понимая, чего этот незнакомый человек к нему пристал; потом глаза его остановились на нарукавной повязке со свастикой и внезапно налились кровью… рука потянулась в задний карман брюк…

Через секунду грянул выстрел.

Немец с коротким хриплым криком тяжело рухнул на пол…

А через час на росших вдоль Базарной улицы старых березах качались на ветру три трупа: Иван Лукич Кафтаненков в полинялой расстегнутой гимнастреке без пояса, его жена Марья Игнатьевна в красной кофте, с растрепанными волосами и свояченица Надя в теплом пальто, которое она успела надеть, собираясь на очистку снега.

У всех на груди висели дощечки с надписью: «За убийство германского солдата».

А напротив, через улицу пылал, как огромный костер, со всех сторон облитый бензином старенький, сухой деревянный домик…

За углом множество людей, преимущественно женщины, бросали лопатами снег, сверкающий тысячью алмазных искорок… С темно-синего неба смотрело ослепительное солнце…

А из соседнего окна смотрела, протирая слезящиеся глаза, подслеповатая бабушка; около нее жались четверо полураздетых детей; пятый, самый маленький, восьмимесячный, остался в своей люльке в доме, и старуха вспомнила о нем, когда дом уже сгорел…

* * *

Вечером того же дня все подробности Кафтаненковой истории рассказывала в доме бургомистра соседка, Прасковья Ильинична Иголкина.

— Как фамилия старухи? — неожиданно спросил Венецкий, принимаясь писать какую-то записку.

— Семеновны-то?… А кто ее знает!.. Она не Кафтаненкова, она Маруськи Кафтаненчихи бабка… Постойте!.. Козлова она… — вспомнила Паша.

— А имя как?

— Семеновна!

— Так это же отчество, а имя?

Но имени Кафтаненковской бабки никто не знал: стариков и старух в Липне полагалось величать только по отчеству; Венецкий не хотел, чтоб Паша бегала в запретное время узнавать это имя и так и написал: «Козловой Семеновне».

Это было распоряжение на пекарню о бесплатной выдаче двух килограммов хлеба ежедневно.

— Пожалуйста, Ильинична, завтра утром отнесите это старухе!

— Отнесу, отнесу, Сергеич!.. Чуть свет отнесу!.. Спасибо вам!..

А на следующий день продавец хлеба Окунев пришел с этой самой запиской к бургомистру.

— Это вы писали, Сергеич?

— А кто же еще? Неужели вы до сих пор моей подписи не знаете? — сказал Венецкий довольно резко.

— Подпись-то я знаю… Только как бы немцы за это не взгрели и меня, и вас — давать столько хлеба партизанским детям, да еще бесплатно!..

— Будете ежедневно выдавать для этих детей по два килограмма бесплатно! — металлическим голосом произнес Николай Сергеевич, отчеканивая каждое слово, а затем, желая показать, что этот разговор окончен, совсем другим тоном спросил:

— Отчет принесли?

Окунев хорошо знал, что когда бургомистр так чеканит слова, с ним лучше не спорить, и молча полез в карман за отчетом.

* * *

Венецкий распорядился снять и похоронить тела казненных, но полицейский Сережа, которому он это поручил, скоро вернулся и сказал, что немцы не разрешают снимать повешенных.

— Черт знает, что такое! Мало того, что повесили ни за что, ни про что, да еще хоронить запрещают!..

С этими словами Венецкий быстро вышел из своей неказистой конторы, намереваясь идти в комендатуру, но в дверях он столкнулся с Владимиром Альфредовичем.

— Спокойно, спокойно, милейший! — заговорил переводчик, увлекая Николая на улицу, подальше от многочисленных любопытных ушей. — Я все слышал: когда наш бургомистр мечет громы и молнии, его голос раздается на весь город… Но не следует поднимать шум без уважительных причин!..

— Как это без причин? Какие вам еще причины?… Вздернули

трех человек без всякого суда, ни в чем не разобравшись, сожгли дом, сожгли в доме ребенка, а теперь еще хоронить не дают!.. Что же это за издевательство такое?… За Кафтаненкова самого я не заступаюсь: он был виноват, застрелил немца с пьяных глаз — так пускай бы и вешали его одного…. А за что жену и сестру жены, и ребенка, которому года не было?… Их самих за это повесить мало!..

Фон Шток покачал головой.

— Мой дорогой Николай Сергеевич! Вы случайно не приходитесь правнуком дон-Кихоту Ламанчскому?

— Что?! — глаза Венецкого сверкнули.

— Ну, ну, не обижайтесь!.. Нельзя быть таким вспыльчивым!.. Я ведь вам только добра желаю… Выслушайте меня, тогда многое поймете!..

— Ну!.. Слушаю!..

Венецкий прислонился к телеграфному столбу и ждал, в упор смотря на переводчика; тот распахнул свой белый полушубок, повернулся спиной к ветру, закурил и только тогда стал говорить.

— Во-первых, ради погребения мертвых не стоит рисковать живыми — тех вы уже не воскресите, а под горячую руку могут еще кого-нибудь вздернуть… так что пусть покойники немного повисят, теперь мороз, им ничего не сделается, а когда утихнет гнев праведный и неправедный, их кто-нибудь потихоньку закопает… Во-вторых, вы говорите — их повесили без суда?.. Теперь война, если всех начать судить, придется половину армии переквалифицировать на прокуроров и адвокатов. В-третьих, почему повесили жену, сестру жены, устроили ауто-да-фэ и даже, как оказалось, сожгли в этой избе ребенка?… Я согласен, расправа была скорая и довольно крутая; если бы они спросили санкции комендатуры, то, может быть — я говорю, может быть, а не наверное — повесили бы одного главу семьи, а женщины остались бы в живых; но мы об этом узнали, когда правосудие уже совершилось, а формально они правы: существует бефель, по которому за убийство германского солдата повинны смерти не только сам убийца, но и вся его семья. В-четвертых, в этой истории есть еще одно неприятное обстоятельство: если бы он убил солдата топором, ножом, палкой — это было бы лучше, но он его застрелил, следовательно, у него было огнестрельное оружие, а это верный признак его связи с партизанами… До сих пор считалось, что партизаны действуют в деревнях, а сама Липня — вполне благонадежное место, но в связи с этим делом мнение переменилось, и сюда на днях должны заявиться жандармерия и карательный отряд, так что будьте поосмотрительней: это публика, которая шутить не любит… А теперь идемте в вашу

контору, а то холодно на улице!.. Об этом деле я не хотел говорить с вами при посторонних, но у меня есть к вам еще другие дела…

Они пошли в контору.

— Господа, могу поздравить! Партизанские банды разбиты и большая часть нашего района от них освобождена! — сказал фон Шток, усаживаясь и протирая очки. — А затем вот еще какое дело, — он вытащил из кармана и положил на стол несколько грязных тетрадок, исписанных карандашом. — Это списки снегочистов — приведите их в христианский вид и передайте на пекарню: комендант распорядился выдавать им по килограмму хлеба в день.

— Вот это правильно!

— Теперь люди пойдут сами на снег, добровольно!

— Очень хорошо!

— А то кому же охота задаром работать?

Но бургомистр отнесся к этому сообщению несколько иначе, чем другие.

— Это очень хорошо, — проговорил он нерешительно. — Очень хорошо, но…

— Разве по этому вопросу есть какие-нибудь «но»?

— Есть! При таком расходе хлеба через месяц в городе вообще хлеба не останется.

— Выдавайте! Хлеб будет! — уверенно ответил переводчик. — Дороги должны быть расчищены в самый короткий срок!.. Хлеб будет!..

— Есть еще одно дело, — продолжал он. — На днях сюда начнут пригонять скот, который следует зарезать для снабжения армии. Подберите людей и помещение и устройте бойню. Отходы, разные там головы, ноги, хвосты, требухи, вероятно, можно будет выдавать населению. Кроме того, подберите кожевников, чтобы они выделывали шкуры с бойни, а также с того склада, который у вас здесь сохранился: нужна кожа и овчины… Затем нужна шерсть… Много ли у вас овец в районе?

Как всегда, точную справку дала Лена:

— Двести шестьдеят две штуки, и все в партизанской зоне.

— Мало!.. И возможно, они уже пошли партизанам на шашлык… Ничего! Привезем из других районов… А здесь ваши мастера будут делать валенки… Видите, Николай Сергеевич, сколько новых дел?

— Постараюсь все устроить! — отозвался Венецкий и весело улыбнулся: живые дела уже отвлекли его от мыслей о мертвых.

Владимир Альфредович встал и собрался уходить, но в дверях остановился и вернулся.

— Да!.. Чуть не забыл: комендант приказал всех ваших полицейских передать непосредственно в распоряжение комендатуры — по охране города им теперь делать нечего, пусть они помогают в борьбе с партизанами.

Списки чистильщиков снега были приведены в порядок и переданы Окуневу. Как и следовало ожидать, эта мера оказалась самой действенной: килограмм хлеба за рабочий день был очень хорошей платой, и немцам больше не приходилось ходить по домам и выгонять людей — люди шли на работу сами.

Через несколько дней пришел с восточной стороны большой обоз с зерном. Лошадьми управляли немецкие солдаты, и откуда был этот хлеб, никто не знал; его заприходовали от «Дойче Вермахт».

Вслед за хлебом в Липню, на вновь устроенную бойню стал поступать в большом количестве скот; как обещал переводчик, отходы были предоставлены на долю населения.

Только летом, спустя полгода, стало известно происхождение этого хлеба и скота: целый ряд деревень восточной части района, занятых партизанами и вновь у них отобранных, были ограблены до последнего теленка и последнего зерна, но сообщать об этом Венецкому переводчик счел излишним.

Глава 17
Черный террор

Оживленный, раскрасневшийся, растрепанный Витька Щеминский, вернувшийся из экспедиции против партизан, рассказывал в конторе бургомистра о своих приключениях и подвигах.

— Значит, мы до леса доехали, и давай чесать из автоматов, давай чесать!.. От деревьев только щепки отлетают!.. А тут и они, голубчики, выскакивают навстречу, да на нас!.. А мы на них!.. У них — винтовки, а у нас — автоматы!.. Ну, мы им дали перцу!.. Там у них был лейтенант один, Борька… Он орет: за мной, бей фашистов!.. А наш немец один в него гранатой как даст!.. От того Борьки — мокрое место!.. И другой лейтенант у них, Сережка, тот удрал… А как мы им надавали жару, как выскочит какой-то черный, нос крючком, на жида похож… орет: за родину, за Сталина!.. Ну, мы ему прописали Сталина по первое число!..

Витька рассказывал очень красочно, показывал все события в лицах, но слушали его довольно хмуро, без особого восхищения; впрочем, его это не смущало.

В детстве Виктор любил и умел драться и был душой всех военных игр между мальчишками. Отправляясь на фронт в начале войны, он искренне мечтал крепко подраться и крепко «задать фашистам»…

Но драться ему не пришлось: часть, в которую он попал, сперва медленно, с остановками, двигалась в сторону фронта, потом, значительно быстрее, — отступала в противоположную сторону, потом попала в окружение и, наконец, сдалась в плен почти без сопротивления.

И только теперь воинские таланты Витьки получили, наконец, достойное применение. А тот факт, что он оказался в рядах тех самых «фашистов», которых когда-то собирался колотить, и дрался с людьми, которые раньше были его товарищами, его беспокоил очень мало.

Ведь, когда он в школьные годы играл в войну, ему случалось быть и красным, и белым, и другом, и врагом, и пленником, а настоящая жизнь — много причудливей самой затейливой игры.

И Виктор заливался соловьем, с увлечением описывая свои приключения.

Наконец, материал его рассказов несколько истощился.

— А знаете, Сергеич, — вспомнил он. — Володьку подранили.

Венецкий, до сих пор почти не слушавший его

разглагольствований, быстро поднял голову.

— Володя ранен? Что же ты сразу не сказал? Где он?

— Да дома, на печке лежит! — хладнокровно отозвался Виктор. — Просил вам передать, чтоб вы к нему зашли…

* * *

Вскоре Венецкий уже был на окраине Липни, неподалеку от кирпичного завода, и входил в маленький домик, где жил его верный адьютант Володя Белкин.

Мать Володи, Федоровна, хмуро поздоровалась, показывая всем своим видом, что приход гостя ее совсем не обрадовал.

— Как Володя? — спросил Николай Сергеевич, не обращая внимания на хмурое лицо хозяйки.

— Что Володя?… Лежит Володя… Раненый лежит, может, и помрет, а все через людей!.. Небось, как под пули погнали, не спрашивали: «Как Володя?»… Говорила я ему, чтоб не лез в полицаи, так нет же, матери не послушался… Чужой человек умнее матери!.. А теперь!..

— Не беспокойтесь, Федоровна. Он скоро поправится. У него только большая слабость от потери крови, а раны неопасные…

Это сказала, выходя из комнаты в кухню, высокая пожилая женщина, Марья Ивановна Соломина; до войны она более двадцати лет проработала в Липнинской больнице медсестрой. Врачи считались с ее мнением и советом, а пациенты доверяли ей больше, чем врачам.

В настоящее время она была в городе единственным гражданским медиком и имела большую практику. Величали ее теперь все доктором, хотя формально врачебного диплома она не имела.

— Куда ранен Володя? — спросил Венецкий Марью Ивановну.

— Одна рана в ногу, немного повыше колена, но кости и сухожилия целы и серьезных повреждений нет; кроме того, задело бок — сорвало кожу и слегка поцарапало одно ребро… Но все это скоро заживет… Уж вы поверьте, я всю жизнь с больными дело имела… Пусть только он лежит спокойно, покой ему необходим…

— Сергеич! Это вы пришли? Идите сюда! — послышался из-за пестрой занавески слабый голос раненого.

— Ну, уж чего ходить-то?… Только беспокоить… — заворчала мать. — Слышали, небось, что докторша сказала: покой ему надобен!..

— Сергеич!.. Мама, где Сергеич?.. Он не ушел?… Позови его!.. Мне с ним поговорить надо…

Венецкий решительно отодвинул занавеску и вошел к больному, а старуха, продолжая ворчать, полезла под пол за картошкой, чтоб уплатить доктору за визит.

Володя лежал не на печке, как говорил Виктор, а на кровати, накрытый ватным одеялом; он был очень бледен, светлые волосы торчали ежом во все стороны, под глазами легла синяя тень, а на носу резко выделялись коричневые веснушки.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Николай Сергеевич, присаживаясь на табуретку рядом с кроватью.

— Да теперь-то ничего, очухался, — ответил Володя. — А как вчера меня привезли домой ребята — не помню… без сознанья был… Ивановна говорит, что я много крови потерял…

Володя виновато улыбнулся, взглянул на занавеску, за которой копошилась его мать, и заговорил быстроым прерывистым шепотом:

— Николай Сергеич!.. Голубчик!.. Увольте меня из полиции… Пожалуйста… Это не потому, что меня поранили, это пустяки, я поправлюсь… Но не могу я… Понимаете — там наши ребята липнинские… У этих партизанов… я Андрюшку Новикова своими глазами видел… он же мой дружок был… еще Ваську Жигунова… еще Сашку, Ивана, Толика, что были в нашей больнице пленные… Еще дядю Кузьму Завьяловского… он моей мамки браненник… может, и еще там кто есть из свих… Не могу я по ним стрелять… Увольте меня, чтоб я не был больше полицаем…

Бургомистр смотрел на раненого серьезно и ласково.

— Хорошо, Володя, я постараюсь перевести тебя на другую работу, — сказал он. — Хотя теперь это зависит не от меня, но я переговорю с переводчиком, чтоб тебя отпустили, так как ты раненый…

— Потому что я раненый?

— Ну, даю Был бы здоровый, немцы, вероятно, тебя не отпустили бы… А раненый ты им не нужен… Нет худа без добра!..

— Вот как! Значит, хорошо, что меня ранили!.. Ой!..

Володя от радости резко повернулся и вскрикнул от боли.

Вошла Федоровна с прояснившимся лицом: она слышала весь разговор и больше не ворчала и не хмурилась, а наоборот, смотрела на бургомистра с надеждой и лаской.

— Уж вы попросите, Сергеич, чтоб его пустили!.. Вас послушают!.. Один он у меня!.. Что мне делать, коли убьют Володю-то моего?…

И она вытерла глаза передником.

Через час Клавдия Ивановна напечатала приказ по Городскому управлению, где говорилось, что Белкин Владимир, в

связи с ранением, увольняется из полиции и назначается десятником по ремонту домов.

— Немцы имеют полное право посчитать этот приказ пустой бумажкой, — сказал бургомистр, расписываясь на всех трех экземплярах. — Но все же «бефель ист бефель», авось и этот бефель окажется действительным.

* * *

А на другое утро бургомистр нашел в ящике своего стола сложенную треугольником записку, адресованную «Н.С. Венецкому лично».

> «Прощевайте, Николай Сергеевич! От вас я худого не бачив, но тильки не можу я насупротив своих воевать. Колы вы мени друг, не шукайте, куды я подевався. Пиду, куды сердце зовэ, того и вам советую. Друг ваш Иван Вышняченко.»

Венецкий два раза перечитал эту торопливую записку на смеси русского и украинского, порвал ее в мельчайшие клочки и задумался.

Ушел Ваня Вышняченко, хороший, честный парень, ушел, куда его «сердце зовэ»… А он, Венецкий, остался и должен лавировать между комендантами, переводчиками, жандармами, полицаями, партизанами…

А в конце дня его вызвали в комендатуру.

Переводчик из волжских немцев (Владимира Альфредовича почему-то не было) сообщил бургомистру, что теперь русская полиция будет подчиняться непосредственно комендатуре, минуя бургомистра, в связи с чем комендант назначает нового шеф-полицая.

Об исчезновении Вани Вышняченко не было сказано ни слова, как будто его вообще никогда на свете не существовало.

Венецкий молча выслушал все сообщения и при первой возможности ушел из комендатуры, ничего не возражая и не спрашивая.

Шеф-полицаем города Липни был назначен бывший завьяловский староста Василий Данилович Лисенков, по деревенскому прозвищу «Пылик».

* * *

Когда переводчик фон Шток пришел, как уже ни раз бывало, вечером в гости к бургомистру, хозяйка дома встретила его вопросом:

— Владимир Альфредович! Почему вы допустили, что Лисенкова назначили шеф-полицаем? Это мерзавец, каких мало!

Владимир Альфредович насмешливо улыбнулся.

— Дорогая Елена Михайловна! Что значит «я допустил»? Вы преувеличиваете мое могущество… Я всего лишь переводчик, долмечер… Конечно, я долмечер высшего класса, и не только мой непосредственный шеф, но и жандармы предпочитают пользоваться именно моими услугами. Но все же я — долмечер, и только, исполнитель воли начальства… А если Лисенков — мерзавец, это значит, что в должности шеф-полицая он будет как раз на месте.

— Это почему?

— Потому что на эту должность и требуются мерзавцы, причем мерзавцы наивысшей категории… А у нынешнего повелителя Липни есть чутье в данном вопросе… Люди вроде вашего уважаемого супруга на это дело не годны. Вы же неплохо знаете историю, Елена Михайловна, — во все века лучшими друзьями и наивернейшими слугами самодержцев были палачи… У Иоанна Грозного был Малюта Скуратов, у Людовика Одиннадцатого — кум Тристан, у Сталина — Берия… Власть фюрера также нуждается в людях, в совершенстве владеющих ремеслом палача… Это необходимо, иначе нас скушают партизаны…

— Вот ваши квалифицированные палачи и расплодили партизан! — горячо воскликнула Лена. — Я помню, как сразу после взятия Липни был случай: вот здесь, на этом самом углу (она показала в окно)… бегут два красноармейца… рысью бегут, гинастерки без поясов, босиком, без шапок, а рожи сияющие и рты до ушей… Попросили у нас пить… ну, мы их и спросили, кто они такие. Отвечают пленные, домой идем. Немцы нас в плен взяли и домой пустили… Немцы — мировые ребята…. Напились воды и скорее дальше… Я их как сейчас вижу перед собой, этих парней… И если бы немцы и дальше так относились к пленным, чтоб те могли про них сказать «немцы — мировые ребята» — не было бы никаких партизан… Люди сдавались в плен, чтобы жить, чтобы кончить с войной, а их стали голодом морить, гонять хуже всякого скота, издеваться… Их поставили в такие условия, которые хуже всякой смерти!.. Им ничего другого не оставалось, как бежать и партизанить… И если будут продолжать вешать и жечь, как Кафтаненковых, — партизан станет в тысячу раз больше!..

Эмигрант задумался.

— Может быть, вы и правы, — медленно проговорил он, барабаня пальцами по столу. — Я согласен, что репрессии вызывают озлобление, согласен и с тем, что у пленных было безвыходное положение… Но у тех, кто их взял в плен, положение тоже было безвыходное: сдалось в плен в десять раз больше народу, чем вся та армия, которой они сдались; на такое огромное количество нахлебников, да еще сразу, никакое интендантство не могло напастись. Чем же было кормить всю эту ораву?

— Неправда! — вмешался Венецкий. — Если бы захотели — накормили бы!.. И немецких продуктов не требовалось. Я был в плену; нас гнали мимо колхозных полей, было лето, у нас были руки — мы могли копать картошку и варить сами, но нам не давали этого делать!.. А вся эта картошка все равно ушла под снег…. Немцы сделали с пленными непростительную глупость, побили сами себя… Нельзя перегибать палку — она распрямится и ударит того, кто ее держит… А то, что люди испытали в плену — не прощается!..

— И вы не прощаете, Николай Сергеевич?

Венецкий на минуту задумался, потом ответил:

— Я не в счет, мне повезло: я пробыл в плену всего две недели, но и их я до смерти буду помнить!.. Но у меня и с советской властью свои счеты, и тоже такие, которые не прощаются…

После минутного молчания он опять заговорил:

— Вы сказали, что нечем было накормить пленных… среди лета… А когда на мою голову свалились три тычячи пленных, я тот же день сумел их накормить, хотя была зима, а какое в Липне положение с продовольствием, вы сами знаете…

Владимир Альфредович удивленно покачал головой.

— Знаю! — сказал он. — В неразоренном месте это было бы не так трудно, но если вы в Липне, зимой, с места в карьер сумели накормить три тысячи пленных, — мне остается только снять шапку и поклониться — вы герой!..

* * *

В тот же вечер на другой улице, в доме Фрузы Катковской, где еще с января, с самого бегства своего от партизан, квартировал завьяловский староста, происходило пиршество.

На столе стоял заводской спирт, рядом с ним немецкий шнапс и деревенская самогонка, жареное мясо с картошкой, сало,

котлеты, холодец, пшеничные оладьи со сметаной и множество других угощений, вкус и цвет которых большинство жителей города уже начали забывать в эту далеко не сытую зиму.

Новый шеф-полицай торжественно праздновал свое назначение на высокую должность.

— Теперича у нас дела пойдут! Немцы паек обещали, обмундирование, все как положено… Уж я себе полицию подберу на большой и с присыпочкой! — ораторствовал Василий Данилович, и его зеленоватые глаза сияли неподдельным восторгом; восторг этот выражался также в добавлении к каждому слову непечатного ругательства, либо русского, либо немецкого.

— Теперича у меня не такие порядки будут, как у Венецкого, а то он самых боевых ребят не хотел брать в полицию…

— Вот у Баранка, царство ему небесное, работнички были, туды их мать, первый сорт! — прохрипел сильно опьяневший, красный, в расстегнутой рубахе Семен Плющенков, по прозвищу «свинодер». — Так что ли я говорю, Котик? — обратился он к своему соседу.

— А неужели ж! Мы с Иваном дела чисто обделывали! — подтвердил Кот. — А Венецкий все палки в колеса ставил… Вот меня, например: сколько я его раз просил, чтоб он меня взял в полицию, и Витька за меня просил, — ни в какую!..

— Венецкому хотелось, чтоб у него не полицаи были, а дошкольники, послушные мальчики, — усмехнулся Виктор, пальцы которого перебирали клапаны гармоники, выводя не совсем уверенно мотив немецкой солдатской песенки «Лили-Марлен». — Все строгости разводил — цивиль-приват-барахло не смей трогать!.. Стукнуть кого-нибудь — тоже не смей!.. Выпить — тоже нельзя! Теперь хватит! Воля!..

— Воля! — подтвердил Лисенков. — Теперь мы одним немцам подчиняемся, а на бургомистров — чхали с высокой башни!.. Я всех возьму — и Котика, и Петровича… Пойдешь, Петрович?

Но Свинодер, которого величали Петровичем, похлопал своими маленькими глазками, что-то промычал, выпил еще полстакана самогонки и только тогда нерешительно сказал:

— Я, Данилыч, душой бы рад, да только я ведь теперь на бойне… Это же самая разлюбезная работа! Вот! — он указал на стоявшие на столе жареное мясо, холодец, котлеты. — Гляди, все это я, значит, Константиновне принес… Должность дуже хорошая…

— А ты и бойню не бросай, и у нас будешь работать… Как большой спец… по совместительству.

— Коли так, идет! — прохрипел Свинодер и добавил

неведомо к кому обращенного матюга.

— Вот и добро! — шеф-полицай тоже со смаком вставил несколько добавочных слов. — И Иваныча я тоже к себе возьму…

Но Матвей Иваныч Буянов, сидевший за столом хмурый, сердитый и почти трезвый, наотрез отказался от предлагаемой чести.

— Не пойду я больше в полицаи!.. Хватит того, что меня люди кляли, когда я с Баранковым ходил да грабил… Я печки буду делать…

— Печки будешь делать? — приподнимаясь, переспросил Лисенков свистящим шепотом, и его глаза стали узенькими как щелки. — Не хочешь в полицаи?… Гребуешь?… Поглядите, какой чистоплюй выискался!.. А коли мы из тебя с твоими печками блин сделаем?…

Его рука уже схватилась за револьвер, который он сегодня утром получил в комендатуре и еще ни разу не успел пустить в ход. Назревала крупная ссора.

Но хозяйка дома вовремя заметила это.

— Данилыч! Давай песню споем!.. Витечка! Будет тебе эту Лильку немецкую пиликать!.. Давай нашу песню, такую, чтоб все знали!..

Виктор переключил свою музыку на «Коробушку».

— Споем!.. Витя, начинай!.. Данилыч, друг любезный, давай споем!.. «Эх, полным-полна….»

Сильным, немного резковатым голосом она запела, и Данилыч, польщенный, что его персонально пригласили петь, подтянул козлетоном. Песня разрядила грозу.

— Что же вы не пьете? Выпейте!.. Закусочки возьмите!.. — угощала любезная хозяйка.

Лисенков поднял зеленую эмалированную кружку со спиртом.

— За здоровье, значит, нашего коменданта, товарищи… Ох, виноват, вот проклятое слово!.. Само на язык лезет… Господа!.. Господа полицейские!.. И за всех немцев, как они наши освободители!..

— И за Гитлера! — подсказал ухмыляясь Виктор.

— И за Гитлера!.. Хайль Гитлер!..

— А Сталину вечная память!..

Доблестные воины новой липнинской полиции пили кружками спирт и самогонку, тянули, кто в лес, кто по дрова хриплыми пьяными голосами мешанину из десятка песен зараз и не заметили, как Матвей Иванович Буйнов под весь этот шум и гвалт незаметно выскользнул из дома и, осторожно оглядываясь, чтоб не нарваться на немецкий патруль, отправился домой к

милым его сердцу железным печкам.

* * *

— Знаете, что вчера вечером на кладбище четырех человек повесили? — рассказывала, придя утром на работу, Клавдия Ивановна Сомова.

— А кто такие, не слыхали?

— Какие-то деревенские… Написано, что партизаны… одна — женщина… ее узнали, говорят, она была где-то председателем сельсовета… А про других не знаю… А вешали их наши полицаи — Лисенков, Свинодер и еще кто-то…

— А в Чертовом Рву расстреляли на той неделе человек двадцать — так под снегом и лежат, — сказал Ваня Корбанков.

Маруся тоже хотела что-то сказать, но этот разговор был прерван приходом мастера-валенщика, притавщившего пару огромных серых валенок, ступни которых были не менее полуметра длиной.

— Здравствуйте! Переводчика у вас тут нет? Альхредыча? — спросил он.

— Переводчик сегодня не приходил…

— А что это вы такое принесли? — полюбопытствовала Маруся. — Валенки на слона?

— И то правда ваша, что на слона. — отозвался валенщик. — Такие мне немцы заказали и образчик дали. Вот он, за дверями…

И он принес из сеней вторую пару обуви такого же размера, сдлеанную из ржаной соломы.

Все окружили валенщика, с интересом разглядывая великанскую обувь и строя догадки, кому и для чего такая может понадобиться.

Все сомнения разрешились с приходом Владимира Альфредовича.

— Это не для слонов, а для часовых, — объяснил он. — Это новейшее изобретение, специально для России, называется «Штрошуе»… Туда полагается влезать вместе с сапогами, и считается, что тогда не будут мерзнуть ноги… Патрули уже ими пользуются.

Он повел с собой в комендатуру мастера вместе с его чудовищными валенками; в дверях он на минутку остановился.

— Кстати, Николай Сергеевич! Пусть он вашим служащим тоже сделает валенки — дайте ему список.

И он скрылся за дверью.

— Вот молодец, Владимир Альфредович, спасибо ему! —

сказала Клавдия Ивановна. — А то наш Сергеич все стесняется… Другие не это берут…

Списки на валенки были составлены, а про повешенных на кладбище и растрелянных в Чертовом Рву разговор не возобновлялся.

* * *

А по дороге домой в этот самый день Лена услышала за собой быстрые шаги догонявшей ее Маруси.

— Поповна! Стой! Подожди меня!

Лена остановилась и подождала подругу.

— Моей маме вчера бабы рассказывали, что теперь расстреливают уже не в Чертовом Рву — там такой снег, что не пролезешь — а знаешь где? В саду!..

Лена слегка наморщила брови.

— В саду? А ведь верно!.. В той стороне по ночам слышны выстрелы…

— Ты слышала выстрелы? Значит, бабы не врут… Слушай, пойдем, посмотрим!

— Идем!.. Только пропустят ли нас?

— Кто? Немцы? Ничего, мы им зубы заговорим!

— Ну, нет! — усмехнулась Лена. — Жандармерии зубы заговорить трудновато!.. Это не отдыхающие окопники… Да и вообще, теперь уже не то время: «паненка, ди дойч шприхт» теперь для немцев не диковинка — все паненки научились «дойч шпрехен»…

Они свернули по направлению к городскому саду, тому самому, где перед войной играла музыка и танцевала молодежь.

Улицы, окружавшие сад, полностью выгорели еще во время первого фронта, и в этой части города теперь никто не жил.

Подруги прошли мимо двери с висячим замком, около которой стоял часовой, засунув ноги в соломенные слоновые сапоги; на прохожих он не обращал никакого внимания.

Сад был засыпан огромными сугробами, но от расчищенной улицы туда вела узенькая тропинка.

Девушки пошли по этой тропинке, пробираясь между высокими старыми деревьями с множеством грачиных гнезд.

Искать пришлось недолго: тропинка вела прямо в лощину посередине сада, а в этой лощине лежало около трех десятков трупов; некоторые были уже занесены снегом — вчерашние и позавчерашние, другие лежали открыто — сегодняшние…

Подруги вооружились лохматыми еловыми ветками и стали

сметать снег с лиц мертвецов, желая узнать, нет ли среди них знакомых.

— Это пленный, он был у нас в больнице… я его помню… А это… Смотри!.. Фридман!..

Фридман был зубной врач местной амбулатории, старый толстый еврей.

— И откуда он взялся? Его при немцах никто не видел в городе…

Неподалеку Маруся обнаружила старую Рахиль Златкину, ту самую, которой она выписала при рыжем коменданте контрабандный паспорт…

Остальные мертвецы были незакомы.

— Нет, вот еще знакомый! — Лена смахнула снег с лица еще одного покойника.

— Гулиджан! — воскликнула Маруся, узнав часового мастера, рассказчика веселых анекдотов.

Подруги выбрались из сугробов и пошли обратно. Их никто не задержал; даже у запертой двери не оказалось часового: на посту сиротливо и важно стояли одни толстые «штрошуе»…

— А у нас с мамой под печкой жиденята сидят, — вдруг тихим голосом проговорила Маруся.

— Какие жиденята?

— Симкины, соседи наши… саму Симчиху приходили арестовывать, когда она на снегу была… Ну, она пошла в деревню пристанища искать, а киндеры у нас… Ну, до свидания, Аленушка!..

Они разошлись: Лена свернула налево, Маруся пошла прямо.

Под старыми деревьями сада кричали вороны.

Маруся шла домой медленно, посередине дороги, расчищенной до самой земли, и тихо мурлыкала себе под нос привязчивую песенку:

«Гулиджан, Гулиджан,
Ходь на моя лавка!..
Ты тогуешь баклажан,

Разным сортом травка…»

* * *

Прошло еще немного времени.

Рано утром, чуть свет, на квартиру бургомистра в слезах прибежала жена Егоренкова.

— Сергеич!.. Помогите!.. Федю моего забрали!.. Так его били… Господи!.. Сергеич, спаси ты его…

— За что его арестовали? — быстро спросил Венецкий.

— Донесла сволочь какая-то, что в нашу чайную партизаны ходют… А у нас, вы сами знаете, сколько народу за день переворачивается… Почем мы знаем, кто партизан, кто не партизан?… Сергеич, поговори ты с немцами! Скажи, что Федя не виноват!.. Он же вам всегда помогал, если что надо было… Михайловна, голубушка! — повернулась она к Лене. — Поговори ты с немцами, ты по-ихнему знаешь, они тебя послушают…

Венецкий немного успокоил Егоренчиху, обещав похлопотать за ее мужа, и немедленно отправился искать Владимира Альфредовича, но тот оказался в отъезде и появился только к вечеру.

— Не либеральничайте, мой милый! — сказал переводчик, когда бургомистр изложил ему все обстоятельства дела. — Не советую вам соваться в эту историю: у этого трактирщика нашли оружие и советскую литературу…

— Какую советскую литературу? — воскликнул Венецкий. — Вот тоже советская литература!..

Он раскрыл шкаф, вытащил оттуда и бросил на стол «Тихий Дон», «Цусиму» и еще несколько советских книг и журналов. У сотрудников теперь было слишком много свободного времени, и в конторе образовалась полная библиотека книг, которые все читали по очереди.

— Все это советская литература!.. И вы сами брали ее читать! А оружие тоже везде кругом города валяется!..

— Тише, успокойтесь! Ваш милейший Егоренков имел постоянную связь с партизанами. Его «ресторан» был местом свиданий партизанских «вождей»…

— Он мог об этом не знать…

— Теоретически, конечно, мог: в его заведении бывали самые различные люди. Но вероятнее, что он знал, возможно, ему за это платили, а, может быть, он им сочувствовал, или имел среди них родственников… Во всяком случае, обстановка такова, что с ним церемониться не станут… А вы не лезьте, Николай Сергеевич, а то и вас не помилуют!.. Впрочем, вероятно, наши разговоры уже бесполезны! — он иронически посмотрел на бургомистра сквозь очки и пустил к потолку затейливую струю дыма.

— Почему бесполезны?

— Потому, что Егоренков, по всей вероятности, находится уже в селениях праведных…

Венецкий вскочил и, не говоря ни слова, быстро вышел, хлопнув дверью.

Владимир Альфредович улыбнулся.

— И-де-а-лист! — проговорил он, покачивая головой и закуривая новую сигарету.

А Венецкий в это время быстро, крупным шагом шел по направлению к чайной.

Завернув за последний угол, он убедился, что слова переводчика были правильны.

Висевшая ранее над дверью доска с самодельной надписью «Чайная Федора Егоренкова» была прибита к соседнему телеграфному столбу, и на нем висел, покачиваясь, сам хозяин чайной Федор Егоренков.

* * *

— Лена! Леночка!.. Это ты?… Остановись, пожалуйста!..

Лена остановилась на узенькой, протоптанной в снегу дорожке. Она не сразу узнала окликнувшую ее бледную, исхудавшую молодую женщину в стареньком овчинном полушубке со сборами и больших растоптанных валенках.

— Галя?!.. Разве ты здесь?.. Я думала, ты давно уехала…

Галя Сукновалова была в детдоме вместе с Леной и училась с ней в одном классе.

Незадолго до войны Галя приехала в Липню вместе со своим мужем, молодым врачом, который был сюда направлен на работу после окончания института.

Мужа Гали Лена тоже знала: он тоже был воспитанником детдома, но на несколько классов старше. Был он лучшим учеником, активным общественником и любимцем всего детдома.

Звали этого общего любица Абраша Вуликес. Был он еврей, а из-за его чудной фамилии школьные товарищи придумали, что он не русский еврей, а испанский; но это, конечно, была шутка.

С самого памятного июля сорок первого года Лена нигде не встречала в Липне ни Абрама Ефимовича, ни Галину Алексеевну и предполагала, что они давно где-нибудь или далеко в тылу у русских, или в Красной Армии, и вдруг сегодня Галя, в прошлом щеголиха и модница, появилась в Липне в деревенских лохмотьях.

— Леночка, помоги!.. Абраша в тюрьме у немцев!..

— Абраша в тюрьме? Но как вы вообще оказались в Липне? Он же был призван в Красную армию?..

— Он работал на призывном пункте в Маркове до последнего дня… И я там была… Потом его взяли в госпиталь, потом он задержался из-за раненых… потом мы поехали вместе и все

перепуталось… Он хотел явиться в часть или еще куда-то… я не знаю… но мы попали под страшную бомбежку, а потом оказалось, что всюду кругом немцы… и мы остались… у меня его котюм был гражданский… — сбивчиво рассказывала Галина.

— Где же вы были все это время? — спросила Лена.

— В Новом Завьялове. Ведь в городе у нас все сгорело, а там мы нашли квартиру… и вообще в деревне легче… К Абраше столько народу ходило лечиться… Приносили картошки, молока, даже хлеба… И нас никто не трогал… Лисенков, правда, грозился несколько раз, но мы думали — все обойдется… Он ведь тоже приходил к Абраше лечиться, когда руку обварил… А вчера он приехал с немцами…

Галя расплакалась.

— Да не плачь!.. Расскажи толком, как дело было?… И идем к нам — нечего на улице стоять!..

— Нас аретовали!.. — на ходу сквозь слезы говорила Галина. — Лисенков показал на нас: это юда, партизан… Абрашу так били!.. За что?.. Он никому дурного не сделал!.. Леночка, ты же его знаешь! Один раз приезжали партизаны и его позвали перевязать раненых… Это правда, это действительно было… Но он — врач! Он обязан был оказать помощь раненым!.. Они кричали, что он жид… Но разве он виноват, что он еврей?… Леночка, милая!.. Твой муж — бургомистр… Если бы он похлопотал… А то меня отпустили, а Абрашу…

— Кто тебя отпустил?

— Переводчик в золотых очках отпустил меня и посоветовал уходить подальше… А как я могу сама уйти, а Абрашу оставить на гибель?!..

Лена завела плачущую Галину к себе домой.

— Сиди тут и жди меня! Я сама пойду говорить с переводчиком в золотых очках.

Как не раз случалось, Владимир Альфредович сидел в пустой конторе и о чем-то оживленно беседовал с Венецким. Никого больше не было, рабочий день кончился, и все ушли домой.

При появлении Лены переводчик вскочил.

— Елена Михайловна! Извините! Я задержал вашего супруга… До завтра, Николай Сергеевич!

— Нет, Владимир Альфредович, подождите! Мне нужны именно вы! — подчеркнуто деловым тоном проговорила Лена.

— К вашим услугам! — эмигрант слегка поклонился.

— Арестовали доктора Вуликеса; он очень хороший человек… Постарайтесь, чтобы его освободили!

— Дорогая Елена Михайловна! Вы требуете невозможного! Во-первых, он — жид, во-вторых, он сам признался, что лечил

партизан…

— Он — хороший человек! — повторила Лена. — Оказать помощь раненым он был обязан: он врач… — и, помолчав, добавила, — Его жена — моя подруга…

— Ах, к вам обратилась эта дама унылого вида!.. Передайте ей, если она ваша подруга: пусть она Бога благодарит, что ее саму отпустили с миром!.. Мне удалось доказать, что она русская, а не жидовка… Пусть она куда-нибудь убирается подальше, и никому ни слова о том, что она — жена еврея!.. Удивляюсь, как русская женщина могла связаться с жидом?!.

— А как же Абрам Ефимович? — упорно повторила Лена.

— Ах, да! «Он — хороший человек!».. Но поймите — он может быть идеальнейшим человеком, верхом совершенства и добродетели, — но если он жид…

— А вы знаете, с чего началась в Липне карьера Абраши Вуликеса? Он попал в милицию за антисемитизм!..

— Жид попал в милицию за антисемитизм? Это интересно — расскажите, пожалуйста…

Глаза фон Штока зажглись любопытством. Он сел и приготовился слушать.

— А дело было так. — начала рассказ Лена. — Через несколько дней после приезда в Липню он пошел на базар. Видит: продает русский парень хороший костюм и просит много дешевле, чем он стоит, а два жида с ним торгуются, дают половину цены и между собой по-еврейски договариваются, как бы его облапошить… Абраша слушал, слушал, да и бухнул на весь базар:» Жулики вы, жиды пархатые!». Жиды подняли гвалт:» Антисемитизм! В милицию!»… Пошел с ними Абраша в милицию, там составляют протокол, спрашивают: «Ваша фамилия?» — «Вуликес.» (тут Лена заговорила с преувеличенным еврейским акцентом); «Ваша имя-отчество?» — «Абрам Хаимович». По документам он Ефимович, он нарочно сказал — Хаимович… Милиционер глаза вытаращил: «Так вы еврей?» — «Да, я еврей! А это — жиды, потому что они жулики и прохвосты!»… Абрашу отпустили с миром, а жиды остались с носом!..

Владимир Альфредович расхохотался.

— Вот это здорово!.. Такому жиду не грех было бы и помочь!.. Но увы — «бефель ист бефель»… Вы это знаете не хуже меня… Надо было вашему Абраму Хаимовичу пробираться к красным, или хотя бы в такое место, где никто бы не знал, что он еврей, и выдать себя за русского… Ведь даже в Германии очень много жидов раздобыли себе документы, что они чистокровные немцы, и живут преспокойно… Если он этого сделать не сумел, приходится ему пенять на себя… Я рад был бы исполнить вашу

просьбу, Елена Михайловна, но в данном случае я совершенно бессилен помочь!.. Очень прискорбно, но если не случиться чудо, то вашему Абраму вскоре придется переселиться в лоно Авраамово, — не удержался от каламбура переводчик. — Если он удерет, я постараюсь, чтобы его не преследовали, но освободить?… Нет, не имею на это власти!.. Но поздно, темно… Мне пора идти, и вам тоже!

Он поднялся, щелкнул каблуками, с эмигрантской изысканностью поцеловал руку Лены, пожал руку Николаю, который был молчаливым слушателем всего разговора, и удалился.

* * *

Пришлось принести Галине Сукноваловой неутешительные известия.

— Леночка! Может, это поможет?… Я успела захватить с собой… Меня, к счастью, не обыскивали…

Она вытащила маленький сверток; при свете самодельной коптилки блеснули серьги с изумрудами и золотой медальон.

— Даже не знаю, что сказать, — нерешительно проговорила Лена.

«Если он удерет, я постараюсь, чтобы его не преследовали…» — вспомнила она слова переводчика. Организовать побег?… Но как?

Послышался стук в дверь. Поздний гость оказался Виктором Щеминским.

— Здравствуйте! Я ваши книжки принес… Не будете ругать, что задержал?

— Нет, Витя, не буду!

— А еще что-нибудь почитать дадите? Я скоро цурюкну — не беспокойтесь!

— Выбирай!

Лена осветила коптилкой этажерку с книгами.

Часть этих книг была куплена ею еще до войны, но большинство было военного происхождения: однажды, во время первой оккупации, проходя по улице, она наткнулась на целую гору растрепанных книг — их выбросили из окон библиотеки немецкие солдаты, расположившиеся в ней на жительство.

И, к удивлению соседей, Лена, ни разу не сходившая на спиртзавод, целых четыре раза ходила с мешком за книгами.

Когда Виктор присел на корточки около этажерки и начал рыться в книгах, Лена слегка тронула его за плечо. Ставка на

переводчика в золотых очках в деле спасения Вуликеса провалилась, и она решила попытаться сделать новую ставку — на Витьку Щеминского.

— Витя! Ты знал Вуликеса? Доктора?

Виктор поднял голову и загадочно улыбнулся.

— А неужели ж?.. Он моей мамке перед самой войной аппендицит резал…

И вдруг решившись, добавил:

— У нас он сидит!..

— Я знаю, Витя… Что с ним?

Витька махнул рукой.

— Завтра в сад отведем… Капут махен… — проговорил он преувеличенно безразличным тоном.

Лена молча показала ему Галин золотой медальон. Глаза молодого полицая загорелись.

— Золото?… Настоящее?… У жидов всегда золото бывает… Это у вас Вулекесиха сидит в той комнате?

— Да, она… Но что ты насчет этого скажешь? — она указала глазами на медальон.

Виктор задумался.

— Если бы еще что-нибудь… А то одну штуку не разделишь… Мы ведь вдвоем ходим «вирд ершоссен» устраивать…

Лена показала сережки.

— Давайте!

Он протянул руку к драгоценностям, но Лена ее отстранила.

— Ну, нет, дружок! Эти вещи пока побудут у меня. Выручишь Абрама Ефимовича — получишь!

Виктор рассмеялся.

— А вы, Леночка, оказывается, жох! Вас не проведешь! — фамильярно заметил он. А потом добавил: — Ладно! Попробуем! Мы обычно с Котом на пару ходим, а он парень свой… Вот, если Свинодер пойдет, ничего не получится! Тот свиней резать любит, а людей расстреливать ему еще больше нравится… его хлебом не корми, только дай кого-нибудь пристукнуть… Фридман тоже рассказал, где он закопал золото… Свинодер с Пыликом ему пообещали, что отпустят, он, дурак, и поверил… А они золото выкопали, а Фридмана все равно укокошили… А Кот, хотя урка, но честный парень…

И Виктор ушел, забрав с собой несколько приключенческих романов.

Прошла ночь, утро, день, и в вечерних сумерках два полицая с винтовками повели в городской сад избитого, полураздетого, еле державшегося на ногах Абрама Ефимовича Вуликеса.

— А ну, поворачивайся, юда! — поторапливал один из них.

А другой полицай при входе в сад вдруг сказал мягким красивым тенором прямо в ухо своему пленнику:

— А что, доктор, ты ведь с умирающими дело имел, если тебя немножко подранить, самую малость — ты сумеешь прикинуться покойником?

Абрам Ефимович удивленно взглянул на Виктора и ничего не ответил.

— Патронов у нас маловато, — продолжал тот, как бы между прочим. — Больше двух патронов на человека тратить не полагается… Может случиться, что и совсем промажем… Ночь темная… А все же, если маленько снег покрасить, лучше будет… Иной раз немцы интересуются…

Через несколько минут между деревьями сухо щелкнули два выстрела. Вороны стаей поднялись с ветвей и быстро опустились обратно; они были привычны.

А утром Лена вышла много раньше обычного, пошла на работу кружным путем и свернула в городской сад.

Под деревьями по-прежнему лежали замерзшие трупы расстрелянных. Вуликеса среди них не было.

Видны были только пятна крови на снегу и следы санок, хорошо знакомых санок, принадлежавших когда-то старому Титычу, санок, у которых один полоз был немного шире другого.

След этот спрева был легким, как будто санки были пустыми, потом он глубоко врезался в снег, повернул к выходу из сада и потерялся на расчищенной и утоптанной улице.

Рядом со следами полозьев шли следы двух пар ног: одни в разбитых старых валенках, другие — в новых, маленьких…

Лена невольно поставила ногу рядом со вторым следом и на снегу отпечатался его двойник…

В воздухе начал порхать легкий, пушистый снежок.

Лена подняла голову и улыбнулась снегу: пусть заметает следы…

Можно отдать Витьке и Коту честно заработанное ими золото.

Глава 18
Ветры весенние

В первых числах марта в Липню неожиданно приехал Раудер.

Он пришел в тесную «русскую» контору вместе с фон Штоком и каким-то незнакомым немцем, который отличался тем, что был необыкновенно высокого роста.

Раудер был необычно приветлив; от его прежней заносчивости не осталось и следа; он поздоровался со всеми старыми сослуживцами, всем пожал руки, расспрашивал с интересом про все районные новости и даже не постеснялся произнести несколько ломаных русских слов, хотя на лицо имелся лучший на свете переводчик.

И прежние сослуживцы тоже встретили его с искренней радостью, которая его даже несколько смутила.

Его наперебой расспрашивали о Шварце и Эрвине, но об них он сам ничего не знал, кроме того, что они работают где-то в других районах.

Он представил своего спутника, зондерфюрера Курта Шеффера, и сообщил, что именно Шеффер будет теперь работать «альс Крайсландвирдшафт Липнья».

К концу дня Раудер уехал, провожаемый самыми добрыми пожеланиями. Прощаясь, он сказал, что он очень жалеет, что ему лично уже не придется работать в Липне.

Зондерфюрер Шеффер остался.

— Вот видите, Николай Сергеевич, у вас восстановлен дорогой вашемй сердцу Крайсландвирт! Это значит, что скоро будет на земле мир и в человецех благоволение! — пошутил Владимир Альфредович.

* * *

А через несколько дней после восстановления Крайсландвирта главный переводчик пришел на квартиру к бургомистру.

— Ну, Николай Сергеевич, всего вам хорошего! — сказал он, широким жестом протягивая руку. — Я зашел к вам попрощаться: через два часа уезжаю из вашей богоспасаемой Липни!

— Так скоро! — воскликнул Венецкий. — Куда же?..

— Куда начальство прикажет! — уклончиво ответил фон Шток, и Николай почувствовал, что его вопрос был

неуместным. — В Липне восстановлен Крайсландвирт, и вообще можно надеяться, что теперь будет спокойно — партизан скоро окончательно ликвидируют…

Бургомистр промолчал на это замечание.

Владимир Альфредович сел с ним рядом, наклонился и сказал, понизив голос:

— А, все-таки, дружище, вам следует быть поосторожнее с вашим любвеобильным сердцем!.. Я не хочу хвастаться, но вы мне головой обязаны!..

Венецкий поднял удивленные глаза на переводчика, а тот вытащил из кармана большую пачку маленьких бумажек и подал ему.

Это были справки, частью написанные собственной рукой бургомистра Липни Венецкого, частью напечатанные и им подписанные, те самые справки, на основании которых получили немецкие аусвайсы и липнинское гражданство более тысячи человек из числа пленных и беженцев, которые не только не были уроженцами или довоенными обитателями Липни, но даже вряд ли до войны слыхали когда-нибудь, что на свете существует такой город.

— Эти ваши литературные произведения были в руках жандармерии; нашлись люди, которые сумели отобрать настоящих липнинцев от фальшивых… Хауптман равал и метал, хотел их всех разыскать и вздернуть, а также, конечно, и автора сей премудрости, и иже с ним… Мне тогда с трудом удалось отвлечь его внимание на другое дело… К счастью, он уехал, и пользуясь несколькими часами междуцарствия, я изъял эти, с позволения сказать, «документы»… Теперь уже сменилось несколько комендантов, это дело замято и забыто… Вы в безопасности, господин бургомистр!.. Но предупреждаю: больше таких фокусов не выкидывайте, за это по головке не гладят… И к тому же около вас не будет больше такого Аргуса, как я…

Переводчик подошел к печке, засунул в топку всю пачку бумаг и поджег зажигалкой.

— А где Елена Михайловна? — спросил он, когда от бумажек остался один пепел.

— В церкви… Должна скоро придти… Вот она идет!

Хлопнула наружняя дверь, и по коридору послышались быстрые легкие шаги Лены.

— Дорогая Елена Михайловна! Я пришел проститься с вами, наверное, навсегда!..

Владимир Альфредович крепко сжал обе руки Лены и его бесстрастный голос чуть заметно дрогнул. — Будьте осторожны! Следите за вашим Дон Кихотом, чтобы он не наделал глупостей!..

Он любит играть с огнем!..

— Владимир Альфредович, я сама люблю играть с огнем, — с улыбкой возразила Лена. — И Дон Кихота моего люблю как раз за то, что он иногда умеет делать глупости!..

— Тогда плохо дело!.. Меня очень огорчит, если я узнаю, что он погиб из-за какого-нибудь дурацкого рыцарства… И еще более огорчит, если это случиться с вами, Елена Михайловна!..

Он неожиданно вытащил блокнот и карандаш.

— Вот Берлинский адрес моей жены… Если что-нибудь случится плохое, постарайтесь сообщить мне. А если все будет хорошо, если война закончится, я буду очень, очень рад видеть вас обоих своими гостями!.. Прощайте!.. Мне пора!..

* * *

Предсказание переводчика Владимира Альфредовича, что партизан скоро окончательно ликвидируют, не сбылось. Передышка была короткой.

К концу марта потекли ручьи; снег таял под жаркими весенними лучами солнца, обнажая прошлогодние пожарища.

В это время к Липне вплотную подступили партизаны с явным намерением завладеть, наконец, этим полуразрушенным городком, который продолжал оставаться центром немецкого владычества во всей округе.

На помощь партизанам прилетели со стороны фронта советские самолеты.

В одну из весенних ночей, когда легкий морозец сковал натекшие за день лужи, Липня подверглась сильнейшей бомбежке.

Снова задрожала и заколыхалась многострадальная липнинская земля, только стекла из окон теперь уже не вылетали: нечему было вылетать — окна были заделаны досками, тряпками, горелым железом и прочими небьющимися материалами.

С разных сторон города поднялись зарева пожаров. Всю ночь слышалась ожесточенная перестрелка.

Венецкий нервничал. Когда зарево показалось за Базарной площадью, в районе мельницы, он не выдержал и, несмотря на строжайший запрет ходить по ночам, вышел из дома и направился в сторону пожара.

На первом же углу его остановил патруль и хотел загнать в чей-то чужой дом.

Николай показал свой аусвайс, где было сказано, что «бюргермайстер» имеет право ходить по городу в любое время и,

мобилизуя весь свой немецкий словарь, объяснил, что он беспокоится за судьбу мельницы.

Патрульный солдат сказал, что мельница цела, что на ней находятся немецкие солдаты, и из уважения к бургомистровскому званию Венецкого проводил его обратно домой, предупредив однако, что если тот вторично попытается нарушить запрет, его застрелят, хотя он и бургомистр.

Утром ему с большими спорами на каждом углу удалось добраться до своей конторы. Оказалось, что там удобно расположились на ночлег немецкие солдаты.

Венецкий выбрал из столов и шкафа все уцелевшие документы и отнес их к зондерфюреру Шефферу, который охотно взял их на сохранение.

Длинный Шеффер, недавно принявший в Липне хозяйственные дела, тоже болел душой за целость и сохранность своих «бетрибов» и, выбрав минуту затишья, отправился вместе с бургомистром выяснять положение.

Патрульные солдаты козыряли офицерской форме Шеффера и с ним вместе беспрепятственно пропускали его «цивильного» русского спутника.

Мельница, зерносклад и недавно восстановленный маслозавод оказались целыми, хотя немалая часть продуктов была растащена неизвестно кем. Сильно пострадала электростанция и полностью был разрушен мост через Ясну.

На обратном пути Шеффер зашел с Венецким к нему домой, по приятельски поприветствовал «фрау бюргермайстерин». в которой с удивлением узнал своего же агронома, и посоветовал обоим сидеть дома, пока не кончатся бои, а в случае надобности обещал прислать за ними солдата.

Так Николай и Лена оказались под домашним арестом.

* * *

Бомбежка прекратилась, но ближе и ближе становились пулеметные очереди и сухие хлопки винтовочных выстрелов. Партизаны явно были уже на окраинах города.

После полудня в бывший Ложкинский дом явилось все соседское семейство Иголкиных.

— Пустите нас, Сергеич? — спросил в дверях Марк Захарович. — У вас как будто затишье, а у нас вся стена как решето сделалась. Строчит и строчит там какой-то из-за базара, и все по нашей хате…

— Заходите, заходите…

Вошла Паша с огромным узлом, Володя с чемоданом и младшая восьмилетняя девочка Люся, закрученная во множество одежек.

— Так и строчит, так и строчит! — тараторила Паша, усаживаясь и развязывая платок на голове. — Никакого спасу нет… Мы и на пол ложились, и поушками укрывались, и под печку лазили… Хотели в окоп пойти, а там воды натекло выше колена… Нигде не схоронишься…

— Мамка у меня всего боится! — пробасил четырнадцатилетний Володя. — А чего там страшного? Просто партизаны стреляют в немцев, а немцы в партизан… Ничего особенного…

Паша напустилась на сына с упреками, а Лена не могла удержать улыбки, вспомнив, как эта самая Паша тряслась перед толстым Вилли и повторяла: «Пан, мы боимся!»…

— Вот в ваш дом как будто ничего и не попадает, — проговорил Захарыч. — Посидим немного, может, они и совсем угомоняться…

В Ложкинский дом попадало ничуть не меньше пуль, чем в Иголкинский, такие же самые были дырки в стенах и в окнах, и Захарыч это прекрасно видел и понимал, а говорил он с единственной целью успокоить свою далеко не храбрую невестку.

И Прасковья Ильинична действительно, неизвестно почему, почувствовала себя в безопасности и завела с хозяйкой дома разговор о картошке, запасы которой подходят к концу, о сапогах, которые промокают, о погоде, о соседях, трещала не умолкая и совершенно перестала прислушиваться к стрельбе.

Венецкий сперва тоже поддерживал эти совсем для него неинтересные разговоры, потом потихоньку вышел в соседнюю комнату и прилег на койку дочитывать какую-то из многочисленных книг, стоявших на этажерке.

Всю эту зиму у него редко бывала возможность читать: днем было некогда, а вечером слишком темно, и он наверстывал это упущение, получив принудительный выходной день.

— Тетя Лена! Есть у вас вода попить? — вдруг попросил Володя.

— Там в кадушке посмотри!

Но ни в кадушке, ни в ведрах не оказалось ни капли воды.

— Ну, что же делать? Потерпи, не помрешь! — сказал внуку Захарыч и добавил. — У нас тоже со вчерашнего дня нет воды, и на колодец по такой стрельбе не сходишь… Ничего, не век же они стрелять будут…

Лена молча стала надевать пальто.

— Куда вы, Михайловна?

— За водой!

— Да что вы! Там же стреляют! — воскликнул Захарыч. — Не ходите!.. Цел он будет, Володька-то…

— Я сама тоже хочу пить! — возразила Лена. — И сварить что-нибудь надо… А стрелять они, может быть, целую неделю не перестанут — неужели же нам из-за этого без воды сидеть?

Она оделась, взяла ведра и вышла на улицу.

Хлопнула наружная дверь, и сразу вслед за этим звуком послышался треск пулеметной очереди и несколько винтовочных выстрелов.

— Господи!.. Подстрелят ее! — закричала Паша. — И зачем она только пошла?.. И все через тебя, хулиган! — набросилась она на сына, хотя тот и не думал хулиганить.

Венецкий, который, увлекшись чтением, не слышал предыдущих разговоров, только теперь из возгласа Паши понял, что произошло.

Он бросился к окну, открыл форточку и высунулся на улицу.

Лена шла по деревянному тротуару медленно, ровным шагом. До колодца ей нужно было пройти мимо трех домов и трех огородов и повернуть за угол.

— Фью! фью! — свистели над ее головой пролетавшие пули, но она не ускорила шаг, напротив, даже замедлила.

В пустом полуразбитом доме около самого колодца сидели немцы в белых маскировочных халатах.

При виде молодой женщины с ведрами из двух оконных проемов сразу высунулось несколько голов.

— Цурюк!.. Назад!.. Паненка! Хир нихт геен!.. Ферботен!.. Нэльзья!.. Шиссен!.. Штрельят!.. — закричали на двух языках более двух десятков голосов.

Лена подошла вплотную к колодцу, поставила ведра на землю и только тогда повернулась к немцам.

— Ихь браухе вассер немен! — отчетливо проговорила она. — Ихь бин хир гекоммен унд оне вассер верде нихт вег геен!

Спокойный звучный голос и неправильная, но уверенная немецкая речь обезоружили немцев.

Обмениваясь между собой замечаниями, высунувшись из окон чуть ли не до пояса, они с интересом наблюдали, как русская «паненка» не торопясь вытащила из колодца цепь, защелкнула висевшую на этой цепи защепку на ручке ведра, опустила ведро в колодец, потом стала размеренными движениями крутить ручку вала, сперва в одну сторону, опуская пустое ведро, потом в другую, вытаскивая полное, как она сняла это полное ведро с защепки, поставила на землю, зацепила второе, опять опустила, опять вытащила — и все это, не обращая

ни малейшего внимания на свистящие и стрекочущие пули.

Наконец, она зацепила коромыслом оба ведра и подняла их на плечо.

— Ауфвидерзейн! — сказала она немцам с чуть насмешливой улыбкой и пошла в обратный путь.

Венецкий ругал себя за то, что вовремя не прислушался к разговору, не отобрал у Лены ведер и не пошел к колодцу сам; он знал, что это была единственная возможность задержать ее дома.

Когда из форточки уже не стало видно Лену, он, несмотря на уговоры Захарыча и Паши, вышел на крыльцо и хотел идти встречать.

Но с крыльца он увидел, как Лена с полными ведрами показалась из-за угла. Она была цела и невредима.

Николай стоял на крыльце, загородившись от пуль дверью, и смотрел, как она не спеша поднимается в гору по мокрым скользким мосткам. Стрельба затихла — видимо, стрелки с обеих сторон, не сговариваясь, решили пропустить путешественницу, и Николай понимал, что если он теперь пойдет ей навстречу, он этим самым может навлечь на нее новый обстрел.

И он ждал, не двигаясь с места.

Вдруг Лена остановилась, сняла коромысло с плеч и поставила ведра на землю.

— Что с ней такое?!..

Николай еле удержался, чтоб бегом не броситься ей на помощь….

Но нет, она стоит спокойно, что-то шарит в карманах, потом наклонилась и что-то сделала с одним из ведер. Вот она опять подняла коромысло и пошла дальше…

Время тянулось бесконечно долго.

Но вот Николай разглядел на лице приближавшейся Лены неожиданную улыбку, такую веселую, озорную, какой он не видал у нее с самого новогоднего вечера… И он не смог произнести слов упрека…

— Пейте!.. Водичка свежая, вкусная!.. — громко сказала Лена, входя в кухню со своими ведрами.

— Но почему ты останавливалась на дороге? — спросил Николай.

— Аварию исправляла!.. Хорошо, хоть чистый платок в кармане нашелся…

И, подняв одно из ведер, она перелила воду в кадушку и показала в стенках ведра, немного повыше дна, две дырки, заткнутые разорванным платочком.

— Ведерко ранили навылет!.. Теперь оно — инвалид… А жалко — новенькое… А что это у тебя на подбородке кровь?

Оцарапался? — спросила она неожиданно.

Наблюдая за ее походом, Николай сам не заметил, как в кровь искусал себе губы.

А Лена, как будто не замечая его тревожных глаз, пила воду, поила Володю и Пашу и весело смеялась.

— А интересно, когда вокруг пули летают!.. Цвирк!.. Цвирк… то спереди, то сзади… — говорила она возбужденно.

— Убить же может! — Паша смотрела на нее с испугом и восхищением.

— Это и интересно, что убить может!..

— Вот тетя Лена — молодец, храбрая!.. — солидно заметил Володя. — А ты, мамка, трусиха!..

* * *

К вечеру стрельба прекратилась, и семейство Иголкиных отправилось к себе домой.

Но, как только стемнело, опять прилетел «русский Иван».

Над городом повисло в небе несколько нестерпимо ярких ракет, и между многострадальными серыми домиками начали рваться бомбы.

Лена подошла к окну и при свете ракет принялась что-то писать.

— Что ты там записываешь? — окликнул ее Николай.

— Оставь!.. Подожди!..

Она нетерпеливо отмахнулась.

Ракета погасла; Лена продолжала писать ощупью, в темноте, не обращая внимания на то, что весь дом ходил ходуном от близких взрывов.

А когда загорелся на небе следующий «фонарь», она протянула Николаю исписанный карандашом листок бумаги.

— Теперь можешь читать!

… Летит товарищ вдаль под гул моторный,
За ним снаряды вражии летят…
Любимый город — дым пожара черный,
Знакомый дом, зеленый сад, последний взгляд…
Летят, гудят подобно стае птичьей…
Неравный бой, последний перелет…
Любимый город стал врага добычей
И в тишине ночной гостей незванных ждет…
Летит назад товарищ к нам войною,
Удары бомб и взрыва черный дым…

Любимый город жжет своей рукою,
И сам горит и умирает вместе с ним…
В родной земле спокойно спи, товарищ!..
Листвой осенней ветры шелестят…
Любимый город — черный ряд пожарищ,
Разбитый дом, отцветший сад, угасший взгляд..

Венецкий прочитал и улыбнулся.

— Вот как! Нас бомбят, а мы стихи сочиняем!.. И хорошие стихи!.. Только не знаю, как это назвать: породией нельзя, потому что это серьезные стихи… Подражание — тоже не то слово…

— По церковному это называется — «подобен»…

— Пускай будет подобен!.. А жаль, что эти стихи нельзя послать тому «Ивану», который лампы зажигает…

Лена ничего на это не ответила, отошла от окна к кровати и легла.

— Ты спать собралась? Думаешь, «Иваны» дадут тебе уснуть?

— Заснуть, пожалуй, не удастся… Но, если пристукнут, то я предпочитаю умирать на койке, а не в луже под забором… Садись сюда, Николай! Пусть нас вместе убивают!.

Она подвинулась к стенке.

Николай осторожно присел около нее на край кровати. Наверху над крышей снова завыли самолеты. «Иван» не заставил себя долго ждать.

И Венецкому под грохот взрывов ярко-ярко вспомнилась история его любви к Лене от первой встречи до сегодняшнего дня, до этих неожиданных стихов… Он вспомнил военную игру, ревность Валентины…. Потом шлагбаум среди поля и около него стройную фигуру девушки в синем ситцевом платье… Поцелуй на глазах немецкого конвоя, когда Лена решительно объявила оборванного, страшного, голодного пленного своим мужем и увела из колонны обреченных к себе домой… Потом вспомнилась ее яркая, радостная улыбка, когда он, сын неверующей семьи, пришел на Рождество в ее церковь, на ее клирос… Потом веселый новогодний бал… И, наконец, слова, сказанные ею фон Штоку:» Я люблю моего Дон Кихота за то, что он умеет иногда делать глупости…»

— Леночка! Хорошая моя! — взволнованно заговорил Николай, и в его голосе прозвучали какие-то новые глубокие, низкие ноты, которых она еще никогда от него не слыхала. — Милая, родная, радость моя!.. Может быть, нас убьют сейчас, сегодня, обоих вместе, и мы так и умрем чужими?… Я же люблю тебя, больше всех на свете люблю!..

Ракеты погасли, было темно, выли самолеты…

И в темноте Николай почувствовал, что Лена крепко сжала его руки и молча привлекла его к себе… Он наклонился и прижался к ее губам горячим долгожданным поцелуем…

— Радость моя!.. Моя звездочка ясная!.. Любимая, желанная!..

— Хороший ты!..

Где-то очень близко, одна за другой, разорвались четыре бомбы.

Самолеты гудели, и земля гудела, слышался лай зениток и треск пулеметов, в окна, мелькая по стенам красноватыми бликами, заглядывало зарево пожара.

И в то самое время, когда весь город дрожал под страшным налетом, в одном доме был праздник — великий праздник любви, которая приходит, не спрашивая дня и часа, имени и места, разрешения и права, и расцветает на обгорелых развалинах еще пышней и ярче, чем в тишине и уюте мирной жизни.

* * *

Партизаны не взяли Липню.

Гражданское население не знало причины, могло только строить догадки, что именно заставило их отступить, но они отступили…

Отступили не только от Липнинской подгородчины, где бывали только налетами, но также из Коробова, Терехина, Маркова и многих других деревень, где они больше двух месяцев властвовали открыто, и на этих вчера еще советских территориях, где официально существовали райкомы и сельсоветы, снова начали командовать немцы. Возвращались обратно перезимовавшие в Липне старосты-беженцы, на место убитых назначались новые…

Один только Вороний Мох, дремучий, непроходимый, куда немецкие войска заглядывали с большой опаской, оставался партизанским государством в государстве.

* * *

— Воскресный день! И просветимся торжеством!.. — звучало в Липнинской церкви.

Пасха была в этом году очень ранняя, снежная, морозная, было даже холоднее, чем в дни партизанского налета.

Но проезд в Липню теперь, после отступления партизан, был

свободен, и в последние дни Страстной недели народу в церковь съехалось множество.

Лена договорилась с Шеффером, и на Страстной почти не сходила с клироса, появляясь в Крайсландвирте только в перерывах между церковными службами. Маруся последовала ее примеру и заявила, что она тоже певчая, хотя «поповна» и дразнила ее, что она не отличает стихиры от стихаря.

И сегодня, на Пасхальной заутрене, собралась в церкви вся Липня: ходили крестным ходом, звонили в единственный дребезжащий колокол, святили вместо куличей бесформенные черные лепешки — и радовались, как будто неделю тому назад на улицах не рвались бомбы, не стрекотали пулеметы, как будто не кончались почти у всех запасы мерзлой картошки, как будто голод не хватал уже за горло жителей маленького городка.

— Христос воскресе!

Маруся расцеловалась с Леной, а потом повернулась к Николаю Сергеевичу.

— Христос воскресе, господин мэр!

— Христос воскресе! — ответил тот, слегка краснея.

— Полагается отвечать — воистину воскресе!.. Это даже я знаю!.. И три раза целоваться! А ваша поповна пусть смотрит и ревнует!..

— Разве я ревнивая? Уж в этом-то меня трудно обвинить… — рассмеялась Лена.

Маруся троекратно расцеловалась с Венецким, а затем опять обратилась к его жене:

— Не хотела говорить тебе по случаю праздника, да надо! Отругай хорошенько своего губернатора!

— За что?

— За скупердяйство!.. Ты из церкви не вылазила, так не знаешь, какой у нас с ним был бой!. Мы составили праздничные списки на муку, на творог, на головы с ногами — Шеффер все разрешил и подписал без единого слова, а твой Плюшкин не хотел давать дополнительную муку: говорит, склад разграбили, зерна нет, скоро совсем останемся без хлеба…

— Знаю, знаю!.. А потом он сам домой принес все припасы.

— Принести-то принес, а склад действительно почти пустой! — вздохнул бургомистр.

— Бог не выдаст — свинья не съест, а сегодня праздник! — отпарировала Маруся.

* * *

Через неделю, на Фоминой, в церкви было несколько свадеб, и к удивлению многих, первым стал под венец молодой бургомистр.

Маруся Макова была самой деятельной участницей этой свадьбы: она раздобыла для Лены кусок парашютного шелка, из которого при помощи Анны Григорьевны подруги соорудили подвенечное платье; она пела на клиросе и держала венец над головой Лены…

А под вечер, оставшись дома наедине с матерью, Маруся вдруг сказала:

— А, все-таки, я не понимаю, почему они именно теперь венчаться надумали — задним числом?

— Так был же пост — постом не полагается венчаться! — ответила Анна Григорьевна.

— А до поста? Ведь церковь у нас с самого Рождества открыта…

— А тогда партизаны помешали… Не до того было… Вся эта суматоха как раз на святках началась, а мямоед в этом году был совсем короткий…

На том и порешили…

* * *

Крайсландвирт вторично проводил в Липнинском районе перепись людей, скота, домов и посевов. Ноябрьские сведения устарели: партизанский фронт, который зимой прокатился по району, одни деревни смел начисто с лица земли, другие наполовину разрушил, третьи переселил.

А население этих деревень с цепкой живучестью, которой больше всех существ на земном шаре наделен именно человек — строилось, копалось, селилось в самых неожиданных местах, и наперекор войне и всем воюющим жило!

По некоторым деревням эту перепись сделали свои старосты и агрономы, как уцелевшие прежние, так и вновь назначенные, а в другие деревни Крайсландвирт послал специальных переписчиков.

* * *

— Поповна! Аленушка! Вот кстати пришла!.. Иди есть кригсблины!..

— Это еще что за «кригсблины»? — удивленно спросила

Лена, переступая порог Маковского домика.

— Новейшее кулинарное изобретение!.. Пайковому регламенту не подлежит! Можно есть в неограниченном количестве!.. На!..

И Маруся протянула подруге пару жестких лепешек, черных с серым налетом, похожих на куски растоптанной резиновой подошвы.

— Ну, как?

— Ничего, вполне съедобно!.. Из чего это?

Маруся залилась смехом.

— Ну вот самый верный способ определить, кто как живет!.. Пузенчиха все ноет, что голодает, а как мама ее этими лепешками угостила — она зафыркала: это же нельзя есть, это гадость!.. А я одному немцу предложила попробовать, так он, бедный, из вежливости глотал, глотал, давился, давился — чуть глаза на лоб не вылезли, пока проглотил… А вот мадам бургомистриха уже одну одолела и за вторую принялась!..Кушай, светик, не стыдись!.. Еще дам!..

— Так они вкусные!

— Очень даже вкусные! Мы с мамой уже третью сковородку печем да уплетаем!.. Только для них одна приправа нужна!

— Какая приправа? Ты же мне дала без всякой приправы.

— А вот есть одна такая приправа, с которой все вкусно! — продолжала смеяться Маруся. — Может быть такое кушанье: с маслом — дрянь, с салом — дрянь, с сахаром — тоже дрянь!.. А вот если с голодком — за уши не оттянешь!..

Лена тоже рассмеялась.

— Видно, у Пузенчихи и у немца «голодка» не было, что они твои кригсблины забраковали… Но, все-таки, из чего они сделаны?

Маруся сделала серьезное лицо.

— Слушай рецепт! Внимательно! В Молоховце не найдешь!.. Прежде всего следует, — она начала говорить бесстрастным монотонным голосом, как будто читала поваренную книгу. — Взять ведро и лопату и идти на паханое поле, где грязь не ниже колена, покопаться часа три в этой грязи, вымазаться по уши и набрать полное с верхом ведро прошлогодней картошки…

— Прошлогодней картошки?

— Да, вот она!.. — Маруся показала несколько клубней серо-зеленого цвета с отставшей шелухой, таких, какие в мирные годы при посадке картошки нередко попадались в бороздах, и обычно с отвращением выбрасывались.

— Но ты слушай дальше рецепт: следует ободрать шкурку; середку положить в кастрюлю, промыть в двадцати водах и

толочь; эта штука будет вонять, как ассенизационный обоз — надо, чем больше воняет, тем больше толочь, а когда вся вонь вытолчется — тесто готово! Можно лепить лепешки и на сковородку! Жира не требуют, подгорать не умеют!..

Неизвестно до сих пор, кто первый придумал печь лепешки из перезимовавшей картошки, многократно перемерзшей и истлевшей под снегом, но на поиски этих разноцветных кусочков грязного крахмала с отставшей тонкой шкуркой высыпал весь город и все окрестные деревни. Тысячи женщин и ребятишек копались в весенней грязи и с торжеством возвращались домой с полными ведрами. В трудную весну сорок второго года этой прошлогодней картошки оставалось в земле великое множество, и многих спасла она от голодной смерти.

Вскоре жесткие лепешки, которые при наличии «голодка» казались очень вкусными, получили от народной мудрости прозвище «тошнотики». Это название пережило войну на много лет: отзвучали бомбежки, отстроились пожарища, прошел не один мирный год, а по весенней грязи в тех краях все еще «ходили в тошнотики», так же, как летом «ходили по грибы», «в орехи», «в малину»…

— Теперь живем, поповна! — продолжала ликовать Маруся, уплетая очередной блин. — А то мама моя совсем загоревала: как она не экономила, а все ресурсы к концу пришли, а раздобытчики мы с ней никудышные…

— Соль кончается — вот что плохо!.. — вздохнула Анна Григорьевна.

— Соленых щепок принести? — предложила Лена. — У меня их порядочно — могу поделиться.

— Какие такие соленые щепки? — удивилась Анна Григорьевна.

— Один бывший мастер сырзавода изрубил солильные чаны и формы и открыл торговлю солеными щепками. Мне он по старому знакомству принес полную корзинку. Суп варить хорошо: щепочку положишь — и вода соленая… Я вам принесу — это лучше удобрения…

— Какого удобрения?

— А разве Маруся вам не рассказывала? Около станции лежали суперфосфат и калийная соль. Их еще до войны там выгрузили и забыли… Теперь эти кучи вылезли из-под снега, и кто-то попробовал солить… Народ сразу набросился… Шеффер распорядился продавать за деньги… Там уже полный базар открылся.

— Вот не знала! Что же ты мне не сказала? Я бы сходила… А не отравишься, если им солить?

— Все может быть!

— Целы будут! — усмехнулась Маруся. — «Голодок» — лучшее противоядие, без него мы и этими блинами могли бы отравиться, а с голодком — мнем так, что только за ушами трещит!..

Все помолчали.

— А у нас вчера гость был! — сообщила Маруся. — Сам господин шеф-полицай явился с визитом. Меня-то дома не было… Он тут с мамой сидел битый час, рассуждал о политике, а как только мама на минуту из хаты вышла — сразу полез проверять под полом и под печкой: жиденят наших искал…

— Откуда же он узнал?

— Милые соседушки! — Маруся мотнула головой в сторону дома Пузенковых. — Лидочка с мамашей, больше некому! Недаром они нос воротят от этих блинов, а мы с тобой, хоть и большие должности занимаем, едим да похваливаем…. От трудов праведных не наживешь палат каменных, а за помощь в борьбе с жидами и партизанами платят продуктами.

— А где же они были, ваши жиденята?

— Опоздал немного господин Лисенков! Как раз накануне Сара Осиповна пришла и их забрала. Сказала, что в деревне где-то устроилась, а мне сдается, что она к партизанам пошла в Вороний Мох…

— А знаешь, я завтра тоже пойду в Вороний Мох! — неожиданно сказала Лена.

В глазах Маруси отразилось удивление и даже испуг.

— В Вороний Мох?… Ты?… Тебя-то зачем туда понесет нелегкая?

— Пойду Моховский сельсовет переписывать!

— Кто тебя посылает? Неужели больше не могли переписчика найти? Это же самое партизанское гнездо!

— В том-то и дело! Туда никто не хочет идти: боятся… А никаких сведений оттуда нет с января. Надо же узнать, что там делается.

— Это ты сама, сумасшедшая поповна, набилась туда идти?

— Конечно! Но мне туда идти легче, чем другим: это мой бывший сельсовет, я там два года работала, все ходы и выходы знаю… Кроме того, мне интересно выяснить, жив ли Гнутов — его не было в церкви на Пасху.

— Эх, поповна, поповна! — задумчиво проговорила Маруся. — А ведь и в самом деле интересно посмотреть, как теперь Вороний Мох выглядит!.. Добрый путь!..

Глава 19
Лесная советская власть

В шести километрах от города начинался лес. Высокие березы чередовались с мохнатыми елками., по краям дороги стеной стоял орешник.

Лена шла по мокрой весенней дороге, шлепая по лужам большими солдатскими сапогами.

Под кустами и в лощинах еще сохранился почерневший снег; на земле ковром лежали полуистлевшие прошлогодние листья, сквозь которые зелеными иголочками пролезала молодая травка, а сверху над головой уже распускались новые листочки, мелкие, блестящие, нежно-зеленые…

Послышался шорох; впереди из зарослей орешника вышли на дорогу два человека и пошли Лене навстречу. Один из них был молодой парень, почти мальчик, с полупустым мешком за плечами, другой — уже пожилой бородатый человек с топором в руках.

— Здравствуйте, — сказал молодой, поравнявшись с Леной.

— Здравствуйте, — ответила она.

Старший ничего не сказал, только смерил путницу внимательным взглядом, и ей показалось, что она где-то встречала этого человека, в котором, несмотря на деревенскую одежду, явно чувствовалось что-то не деревенское.

Пройдя сотню шагов, Лена обернулась: на дороге уже никого не было, очевидно, встречные опять свернули в заросли орешника.

Она пошла дальше.

А из-за кустов за ней следило множество невидимых глаз.

— Бургомистриха!.. Венецкого жена новая!.. Она прежде агрономом работала… Она и теперь аграном, только у немцев… Куда это ее понесло?.. Задержать ее надо, товарищи!..

— Ни в коем случае! — властно вмешался тот самый пожилой человек с топором, который выходил на дорогу. — Следите за ней, куда она пойдет!.. Но чтоб никто не смел ее пальцем тронуть!.. Куда бы она ни шла, она должна вернуться в Липню целой и невредимой!..

А Лена все шла и шла вперед, километр за километром, наломала мимоходом вербы, которая цвела только теперь, через три недели после Вербного воскресения, собрала букет сиреневых подснежников, и не подозревала, что за каждым ее движением следит неотступный, невидимый конвой.

Между деревьями замелькали крыши домов. Дорога свернула вправо и уперлась в околицу деревни Новое Мохово.

Во время первых фронтов половина этой деревни выгорела, но строительного материала здесь было более чем достаточно, и со всех сторон весело смотрели маленькими, по военному времени, окошечками недавно срубленные, еще желтые хаты.

Кое-где на дворах и огородах копались люди; на Лену многие оглядывались и провожали ее взглядами. Встречная баба с ведрами поздоровалась с ней.

— Михайловна! Никак это ты к нам в гости пожаловала? — послышался из-за высокого плетня знакомый голос.

На огороде стоял с лопатой в руках высокий, грузный, с курчавой бородой, Прохор Гнутов.

— Прохор Ермолаич! Здравствуйте! Значит, вы живы? — радостно воскликнула Лена.

— Жив! Да и помирать не собираюсь!.. А разве меня в Липне уже за упокой поминают?..

Он воткнул лопату в мягкую землю огорода и вышел к калитке.

— Заходи в хату, Михайловна!.. Я все расскажу про наши дела… Даша! Принимай гостью!..

Последние слова относились к вышедшей на крыльцо высокой женщине лет тридцати пяти.

— Это хозяйка моя, Дарья Николаевна! — представил ее Гнутов. — Молодовата, правда, для такого старого лешего, как я, да в войну и не то бывает.

Хозяйка ответила «старому лешему» веселой усмешкой, которая ясно говорила, что она придерживается несколько иного мнения, а затем обратилась к гостье:

— А я помню вас, Михайловна: вы при советской власти к нам в колхоз приезжали от райзо… Еще мне помогли льняные семена сортовые достать…

Лена вгляделась в лицо Дарьи Николаевны и тоже ее вспомнила: до войны эта женщина командовала льноводным звеном в колхозе имени Сталина, одном из девяти колхозов этого наименования.

— Давай, Даша, обедать, и гостью с дороги покорми! Хотя теперь разносолов нету, а все же у нас посытнее будет, чем в городе… Ты пешком шла, Михайловна?

— Пешком! Я эту дорогу хорошо знаю!

— А лесовиков не встретила?

— Каких лесовиков? — удивилась Лена.

— Да партизанов!.. Их тут в нашем лесу, что грибов… Под каждым кустом по партизану… Нам без ихнего разрешения

никуда ходу нет — останавливают, спрашивают: куда, зачем?… Захотят — пропустят, захотят — назад воротят!.. Может, они тебя нарочно пропустили… Ну, садись, кушай, а после потолкуем.

Хозяева и гостья уселись за обед.

— А знаете, Ермолаич, почему я думала, что с вами что-нибудь случилось? — сказала Лена между двумя ложками похлебки. — Потому что вы не были в церкви на Страстную и на Пасху.

Гнутов рассмеялся.

— Вот чего ты меня в покойники-то зачислила? А мы с Вербного свою церковь открыли — в Старом Мохове на кладбище.

Яркая улыбка озарила лицо Лены.

— Правда? Я хотела завтра домой идти, а раз так — до воскресенья останусь, хочу в вашей церкви побывать!..

— Хорошая церковь!.. Хоть за это немцам спасибо приходится говорить, что верующим волю дали!..

Покончив с обедом, Дарья ушла на огород, а Прохор облокотился на стол и заговорил:

— Ну, теперь давай, Михайловна, говори, с чем пришла?..

Лена раскрыла свой видавший виды довоенный портфельчик и вынула бланки.

— С переписью, ермолаичюю Зимняя уже недействительна. Теперь все изменилось.

— С переписью, говоришь? — Гнутов взял бланк и начал разглядывать. — Лошади, коровы, гектары… Взялись, значит, опять немцы за сельское хозяйство?… Ну, это примета неплохая!.. Только не знаю я, что мне писать в эту твою перепись — половину правды или четвертую часть?…

— Не половину, не четвертую часть, а то, что есть на самом деле!..

— Нет, Михайловна! То, что есть на самом деле, я не могу писать!.. Рад бы, да не могу! Мне бы самому лучше иметь одно начальство, да ничего не выходит… Два надо мной царя — один в Липне, «шпрехен зи дойч», другой — в лесу под березой — «за Сталина, за совесткую власть»!.. И у обоих царей на мою шею припасены веревки… С работы меня ни один не гонит — люб я обоим… Немцы говорят: командуй, и партизаны тоже говорят: командуй!.. Ну, я и командую… А спрашивают с меня обои, и кормить надо обоих, а подчастую и самим жрать нечего… Коли я тебе тут, в этом талмуде, напишу, что столько-то у меня есть коров, телков, коней, свиней, поросят, курчат… а лесовики завтра пожалуют да половину себе на жаренку заберут — чем я в твоем Крайсландвирте отчитаюсь?… Глазами светить буду?… Сказать немцам, что у нас партизаны хозяйничают — себе хуже сделать:

наедут, все позаберут под метелку, чтоб, мол, партизанам не досталось… да еще, чего доброго, как тут в Хохловке было, да в Вершинине — хаты пожгут, а людей повыгоняют, куда Макар телят не гонял… Может, еще и вздернут кого-нибудь, чья морда не понравится… Если партизанскую руку держать — еще того хуже: они нам не защита, они пошебаршат да и в кусты!.. А деревенские — отдувайся за ихние дела!.. Вот я, Михайловна, и прилаживаюсь; как немцы к нам приедут, говорю им — нету у нас партизанов! За лес, говорю, не отвечаю, лес большой, может, где, говорю, и сидят, а в деревню они не ходят… А как те гаврики заявятся, договариваюсь так: берите жратву и еще, коли вам нужно, только поблизости от нас никакой каверзы не устраивайте!.. Они мне это обещали: тут дорог ходовых нет, мостов нет, складов нет, взрывать им нечего… Если немцы какие приезжают — они их не трогают, им самим не с руки свою штаб-квартиру выказывать, а немцы далеко от дороги в чащу не лазают — побаиваются… Так вот и живу, под двумя царями…

Этот разговор «по душам» был прерван приходом сына Гнутова, высокого, широкоплечего парня, довольно хмуро посмотревшего на гостью. Прохор замолчал, взял бланки и начал над ними раздумывать, сколько ему чего показать в наличии, чтоб «и на правду походило, и немцам хватило, и лесовикам досталось, и мужикам оставалось».

* * *

А вечером того же дня, когда Лена уже спала в теплой хате Моховского старосты, в ее городской квартире раздался стук в окно, выходившее на огород.

— Кто там? — спросил, подходя к окну, Николай Сергеевич.

— Венецкий! Открой и впусти! — послышался явственный, требовательный голос.

В распахнутое окно влез бородатый человек в домотканном армяке. Он быстро закрыл за собой окошко, опустил маскировочное одеяло, и только тогда повернулся лицом к хозяину дома.

— Здравствуй, товарищ Венецкий!

— Шмелев! Александр Федорович!.. Вот не ждал!.. Откуда ты взялся? — и Венецкий крепко обнял старого сослуживца.

Шмелев слегка отстранился и внимательно посмотрел ему в лицо.

— Ты, кажется, в самом деле рад меня видеть?… Тем лучше!.. Я к тебе по делу! Разговоры будут большие.

— Я сделаю для тебя все, что смогу!

— Очень хорошо!

Хозяин и гость прошли в комнату, освещенную маленькой лампочкой, и сели у стола. Шмелев скинул свою потрепанную шапку и оглянулся на открытую дверь в соседнюю темную комнату.

— Разговор будет такой, что нас никто не должен слышать!

— Я один… Сегодня даже моей жены нет дома…

— Знаю! Твоя жена сегодня в деревне Мохово у старосты Гнутова, — сказал Шмелев и, встретив удивленный взгляд Венецкого, добавил. — Как видишь, у меня более свежие сведения, чем у тебя!.. За нее можешь не беспокоиться, она вернется целой и невредимой… Но я нарочно выбрал для своего прихода день, когда ее нет дома. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о нашем разговоре, даже твоя жена!

Николай хотел было возразить, что Лена не чета его весьма болтливой первой супруге и умеет молчать лучше многих, но потом сам счел за лучшее промолчать.

Он поправил нагоревший фитиль коптилки и приготовился слушать.

Шмелев заговорил, тихо, медленно, выделяя и подчеркивая каждое слово.

— Ну вот, Николай Сергеевич, слушай: немцы тебя назначили бургомистром Липни, и ты на это согласился… Согласился, без сомнения, скрепя сердце, потому что ты — советский человек и не можешь быть предателем!..

Венецкий потемнел.

— Что ты хочешь этим сказать, Александр Федорович? — спросил он деланно безразличным тоном.

— Только то, что ты слышал! Хотя ты не был членом партии, но я всегда считал тебя настоящим беспартийным большевиком!.. У нас о тебе был спор: некоторые товарищи доказывали, что ты изменник, что ты продался немцам… Но я-то тебя знаю, и я был другого мнения! — Поэтому я к тебе и пришел… Пришел, как к советскому человеку! Ты должен работать вместе с нами! То, что ты находишься на должности бургомистра, что немцы тебе доверяют — это как раз очень хорошо для нашего дела! Тебе придется еще некоторое время продолжать играть свою роль бургомистра, пусть немцы воображают, что ты их преданный слуга!.. А задание, как действовать, получишь от нас…

— От кого это «нас»?

Шмелев посмотрел на нахмуренное лицо Венецкого, вслушался в его ледяной тон и на секунду задумался; затем улыбнулся и сказал:

— Ты что, мне не доверяешь? Что ж, в такое время действительно трудно сказать, кому можно верить, кому нет… Но меня-то ты знаешь!.. И я говорю с тобой, товарищ Венецкий, от имени подпольного райкома коммунистической партии, от имени партизанского штаба, который руководит всеми действиями партизан в нашем районе!..

— И что хотят от меня подпольный райком и партизанский штаб?

— Очень многое! Первое задание: достать шестнадцать немецких паспортов по этому списку!

Венецкий взял список, приблизил его к огню лампочки и стал читать:

— Иванов Григорий, столяр, 1920 год;

Семенов Александр, механик, 1916 год;

Андреев Федор, шофер, 1922 год;

Антонов Иван, возчик, 1919 год;

Петров Алексей, плотник, 1915 год…

— Однако, фантазии у вас маловато: почему все фамилии именные?

Шмелев немного смутился.

— Правильно! Это я недосмотрел!.. Давай, переделаем фамилии!.. Документы ты передашь мне. Когда кто-нибудь из этих людей придет к тебе — ты его устроишь на работу, поближе к немцам, а также обеспечишь квартирой, продовольствием и всем необходимым!.. Кроме того, достань для партизан килограмм пятьдесят соли…

— Соли?!.. — вдруг взорвался Венецкий. — Пятьдесят килограмм соли?… Да ее во всем районе столько нет!.. Много вы знаете в своем подпольном райкоме, а то, что люди минеральным удобрением щи солят — это вам неизвестно?… Соль — это теперь золотая валюта, дороже всякого золота!.. Вот суперфосфата могу дать в неограниченном количестве!.. Им приладились солить, и вам невредно попробовать!.. А насчет липовых документов — вы поздно спохватились… То время давно прошло, когда немцы по моим шпаргалкам паспорта выдавали!.. Они теперь ученые!..

— И все же, — он заговорил спокойнее. — Если бы эти документы нужны были людям, чтобы жить, я бы в доску разбился, а документы достал бы!.. Но вы жить, как люди, не собираетесь, а в лесу документы не требуются!..

— Они нужны для подпольного райкома!

— Для подпольных райкомов и партизанских штабов я ничего делать не стану! — резко сказал бургомистр.

Шмелев встал.

— Значит, я в тебе ошибся! — сказал он хмуро и горько. —

Выходит, правы были те товарищи, которые говорили, что ты — изменник родины!

— Товарищи могут говорить все, что им угодно! Никаких ваших заданий я выполнять не собираюсь! — отчеканил Венецкий.

— Николай Сергеич! Не верю я, что ты продался фашистам! Хоть убей меня — не верю!.. Я тебя знаю слишком хорошо!.. Я помню, как ты работал!.. Ты никогда всоей личной выгоды не искал, всегда выше всего ставил интересы дела…

— А я и теперь выше всего ставлю интересы дела, потому и не хочу с вами связываться!

Сильная рука Венецкого тяжело легла на плечо гостя и заставила его снова опуститься на стул.

— Садись, Александр Федорович! Я тебя выслушал, теперь ты слушай меня!

Венецкий прошел несколько раз взад и вперед по полутемной комнате и остановился перед Шмелевым, который внимательно смотрел на него и ждал.

— Когда меня выбрали бургомистром, — заговорил Венецкий. — Не все бургомистры могут сказать, что их «выбрали», но я имею право сказать это слово! Так вот, когда меня выбрали — тут в то время были развалины после трех переходов из рук в руки; была полная анархия после полугода без всякой гражданской власти… И были тогда здесь на весь район два немца, причем такие, что их даже нельзя было назвать военными: сельскохозяйственные, крайсландвиртовские… И хотя у вас принято считать, что все немцы — мерзавцы, только потому, что они — немцы, но эти немцы были неплохие люди, с ними можно было договориться… Они искренне хотели не разрушать, а строить… И вот я начал работать с этими немцами, мы начали приводить в порядок разгромленный район, восстанавливать нормальную человеческую жизнь… Привлекли к работе многих, кто мог и хотел работать… Нелегко это было, но за какие-нибудь два месяца, только своими силами, без всякой помощи извне мы сделали очень много… Я знаю, твердо знаю, что если бы тут не впутались вы со своей партизанщиной, на сегодняшний день мы восстановили бы почти все довоенные производства, обеспечили бы все население работой и заработком, снабдили бы все разоренные деревни семенами и продовольствием, ликвидировали бы голод, отстроили бы заново не все, конечно, но очень многое из того, что было сожжено и разрушено! Все это было начато, и дело спорилось!.. Вы помешали!.. Из-за вас приехали сюда карательные отряды!.. Из-за вас здесь, за сотни километров от фронта, сожгли и разорили Ковалевский,

Марковский, Федотовский сельсоветы!.. А это были лучшие деревни, уцелевшие от фронта, — они полрайона могли накормить хлебом! На той недели мы похоронили четыреста двадцать шесть человек, растрелянных и повешенных этой зимой, — эти люди погибли из-за вас!.. Их всех обвиняли в партизанстве и помощи партизанам… А кто из них действительно у вас работал, кто просто под руку попался — никому неизвестно!.. Вы подстрелите из-за угла какого-нибудь зазевавшегося немца — и в кусты!.. А вместо вас вешают людей, которые и близко-то не были!.. Об этом вы думаете, когда совершаете свои подвиги? Чем виноваты те, которых вешают вместо вас?

— А хотя бы тем, что остались у врага! — хмуро ответил Шмелев. — Лес рубят — щепки летят…

— Вот как?! Значит, кто остался у врага, тот не человек, а щепка, и им можно пользоваться, как заслонкой? Подставить вместо себя на виселецу?… А я считаю своим долгом заботиться именно об этих людях, которых вы же сами оставили у врага, а теперь щепками считаете!..

— Если они остались у немца, — возразил Шмелев. — И хотят себе при немцах мирную жизнь устраивать — то таких нечего жалеть, если их и повесят!.. Это даже не щепки, а балласт, лишний груз, который только мешает!.. А если они настоящие советские люди — они должны не подлаживаться к оккупантам, а помогать нам с ними бороться!..

— А во имя чего, скажи, пожалуйста, бороться?

Этого вопроса Шмелев не ожидал.

— Как «во имя чего»? Ты еще можешь спрашивать!.. Во имя родины!..

— Родина здесь, мы на ней находимся!..

— Во имя советской власти!

— Так бы сразу и сказал! Родина — это одно, а советская власть — другое!.. Когда здесь была советская власть, я работал, и ты прекрасно знаешь, что я честно работал, честнее многих коммунистов!.. Но теперь советской власти здесь нет!..

— Есть советская власть! — горячо воскликнул Шмелев. — И я пришел к тебе от имени советской власти, от имени партии!

— Я беспартийный!

— Но ты русский!.. Ты советский человек!.. Если ты верен родине, ты должен помогать нашей работе!

— Не ваша ли работа со Щелкановским мостом? — осведомился Николай с чуть заметной усмешкой.

— А ты думаешь, мост сам собой взлетел на воздух? Конечно, это сделали те, кто борется с фашистами за нашу советскую

власть!

— Нет здесь советской власти! — хмуро, но твердо проговорил бургомистр. — Не советской власти, и я не стану рисковать ни своей, ни чужими головами для того, чтобы она вернулась! Свет клином не сошелся на советской власти, можно жить и без нее!.. Вы говорите, что немцы жестоки, немцы несправедливы, немцы вешают невинных людей — и это все правда!.. Но чего же от них требовать — они же завоеватели!. И очень трудно ожидать, что они будут говорить спасибо за Щелкановские мосты!.. Но скажи, Александр Федорович, почему при советской власти, при своей власти, при власти, которая провозглашает себя справедливой, к тому же не в военное, а в мирное время, погибло столько невиныых людей? Мало сказать — невинных, людей, которые всю жизнь, всю душу свою положили за советскую власть!.. И хорошую от нее награду получили!.. Конечно, их открыто, посереди города не вешали — это было бы слишком просто!.. Их объявляли «врагами народа», «вредителями»! А потом — «приговор приведен в исполнение» и весь Советский Союз обязан выражать свое одобрение, аплодировать и лить на головы осужденных грязь, всю клевету, какую сумеют выдумать!.. Не стоит советская власть того, чтобы за нее бороться! Чтоб жизнью людей жертвовать ради ее возвращения!.. Немцы вешают и расстреливают, но хоть не требуют аплодисментов палачам!..

— Стой, Венецкий! У нас говорили, будто твой отец всю жизнь работал и боролся за советскую власть, сидел в царской тюрьме, был на каторге, воевал в гражданскую войну — а через два десятка лет получил «врага народа» и бессрочную высылку, где вскоре и умер от туберкулеза, которого у него никогда в помине не было!..

Наступило молчание.

— Ну, что ж, бургомистр! — сказал, наконец, Шмелев. — Я в твоих руках, со мною даже оружия нет… Я шел к тебе как к другу… Зови своих полицаев, выдай меня немцам! Я командир партизанского отряда — такая добыча им не каждый день попадается!..

Венецкий широкими шагами подошел к двери и распахнул ее настежь.

— Иди, Александр Федорович!.. Видно, разошлись наши дороги… Ты у меня не был, я тебя не видел и с тобой не говорил!..

Шмелев взглянул настороженно, как бы желая проверить, не скрывается ли за красивым жестом бургомистра какой-нибудь подвох, потом перешагнул порог, и уже на улице обернулся и

тихо сказал:

— Спасибо и за это!

* * *

На другой день бургомистра остановили на улице двое полицейских; оба были не местные: один из пленных, другой из беженцев.

— Николай Сергеевич! Пойдите сюда! Мы человека задержали: одна баба сказала, что это здешний коммунист Шмелев… Мы-то не здешние, в лицо его не знаем… Так мы этого человека завели вот сюда, в этот дом, пока его кто-нибудь точно опознает, а то, если отвести в полицию, Лисенков сразу потащит в жандармерию, а там и правого, и виноватого в расход пустят…

— А где он? Я-то Шмелева хорошо знаю — три года с ним вместе работал.

Полицейские указали на полуразрушенную хатку.

— Ну, показывайте вашего Шмелева! — громко проговорил Венецкий, переступая порог хатки и наклоняясь, чтоб не стукнуться головой о притолоку.

В пустой комнате с пробитым давешней бомбежкой потолком сидел на подоконнике полицай с винтовкой, а посередине на каком-то ящике — Шмелев со связанными за спиной руками.

При входе бургомистра он поднял голову, и на его лице мелькнуло что-то вроде усмешки. Он хотел заговорить, но не успел.

— Это — Шмелев? — спросил Венецкий сопровождающих его полицейских, и в голосе его явственно звучало удивление.

— Да, этот самый! — отозвался полицай.

— Какой дурак вам это сказал? Вот уж действительно, усердие не по разуму! Хватают кого попало!..

— Значит, это не Шмелев?

— Конечно, нет!.. Даже сходства никакого нет! Что это вашей бабе почудилось?.. Как вас зовут? — обратился он к Шмелеву.

— Беляев Иван Петрович! — назвал тот первую фамилию, какая пришла в голову. — Я из Маркова.

— Немедленно отпустите его! — приказал бургомистр. — И никому не рассказывайте, а то сами же окажетесь в дураках!..

— Спасибо, Николай Сергеич! — сказал один из полицейских, а другой проговорил, перерезая веревки на руках пленника:

— Ну, дядька, иди своей дорогой, да благодари Бога, что все так хорошо обошлось!..

Глава 20
Депутат Верховного Совета

— Маруся! Стойте! Подождите! Дело есть!

Маруся Макова, как обычно идущая утром на работу, остановилась посреди улицы, глядя на быстро подходившего к ней Виктора Щеминского.

— Ну, что такое случилось, господин зам-пом-шеф-полицай?

Голос ее звучал насмешливо: ничего дельного услышать от Витьки она не ожидала, но приглядевшись, заметила, что лицо беспутного парня сегодня было очень серьезным и встревоженным.

— Маруся!.. Только никому об этом ни слова!.. Знаете, кого вчера арестовали?

— Кого? — Маруся сразу перестала смеяться.

— Козловскую, Евдокию Николаевну, учительницу…

— Евдокию Николаевну? — тревожно переспросила Маруся. — Но каким образом она в Липне оказалась?

— Черт ее знает!.. Она не говорит… Пришла зачем-то и попалась… Ее Пылик опознал… А у него с ней старые счеты, еще с советского времени… Он сделает все, чтоб ее угробить… А брат ее — главный партизанский командир.

Маруся задумалась и медленно пошла дальше; Виктор шел рядом.

— Брат — партизанский командир… — как бы про себя рассуждала Маруся. — Сама — коммунистка, депутат Верховного Совета… Да еще впридачу старые счеты с Лисенковым… Не важно!.. Ее могут расстрелять в два счета… Еще тебя, Витя, расстреливать пошлют…

— Если бы меня послали, я бы знал, что делать! — воскликнул Виктор. — Да меня Пылик не пошлет, не доверит!.. Он знает, что я у нее учился… Да такого человека, возможно, сами немцы пустят в расход…

Некоторое время оба шли по улице молча.

— Где она сейчас? — деловито осведомилась Маруся.

Виктор с досадой махнул рукой.

— Да в жандармском подвале… Там день и ночь у дверей немецкий патруль, и замок два пуда, и окна заделаны… Если бы она у нас в полиции сидела, мы бы с Котом что-нибудь придумали, а там…

Он вдруг замолк, заметив, что лицо его собеседницы неожиданно прояснилось.

— Это подвал, где Ольховский дом? — спросила она.

— Ну, да!

— А еще там есть арестованные?

— Нет никого… Раньше сидело человек двадцать, да их на днях куда-то отправили. Она одна сидит.

— Ну, вот что, Виктор! — решительно сказала Маруся. — Если ее куда-нибудь переведут — ты мне сразу скажешь! Хорошо?

— Ладно!.. А что вы хотите делать?

— Что я хочу делать, того полицаям знать совершенно незачем! Иди куда-нибудь, чтоб твои приятели нас вместе не видали!.. До свидания!..

И она свернула на большой Крайсландвиртовский двор, исполосованный множеством грядок. Крайсландвирт теперь помещался в новом месте: в заново отремонтированном двухэтажном доме, окруженном выгоревшими пустырями, на которых расположилось его большое подсобное хозяйство.

* * *

А после обеда агроном города Елена Михайловна Соловьева ходила с козой и саперной лопаткой по пустырям на задворках сгоревших домов, в которых когда-то размещались главные районные учреждения, и мерила землю.

Она с наступлением весны получила новую нагрузку: распределить между липнинскими гражданами земельные участки под огороды. Если кто ее и видел на этих пустырях, тот подумал, что она кому-то отмеряет огород.

Никто не видел, как в старый, осыпавшийся, заросший прошлогодними лопухами окоп около сгоревшего Ольховского дома, скользнула ее лопатка и какой-то сверток.

А в сумерках обе подруги подошли к другому сгоревшему дому — тому, где раньше были райисполком и райзо.

И снова никто не видел, как они спрыгнули в длинную зигзагообразную траншею — ту самую, которую они копали прошлым летом, пробрались через все полуосыпанные зигзаги через два двора и добрались до самого конца, до фундамента, который один только и уцелел от Ольховского дома.

Фундамент этот немцы накрыли крышей и использовали старый овощной склад в качестве тюрьмы.

Солнце заходило. Погода была тихая, теплая. Было слышно, как на соседнем дворе разговаривали немцы, фыркали лошади.

Подруги принялись откапывать ту самую яму, которую они случайно обнаружили в прошлом году. Края окопа осыпались и

надежно ее замаскировали.

Но, чтоб добраться до дырки, надо было убрать всю осыпавшуюся землю, а ее было немало.

Работали в тесноте, по очереди, сменяя друг друга, перебрасывая землю тут же, внутри окопа.

— Поповна! — шепнула Маруся, не выдержав молчания. — А ведь пригодилась наша дырка!.. Совсем по способу графа Монтекристо!..

— Молчи ты, графиня Монтекристо!.. Еще неизвестно, тут ли Евдокия Николаевна — за день ее могли перевести куда-нибудь…

— Она там! Если бы перевели, Витька мне сказал…

— Если бы имел возможность…

— Как тут много осыпалось!..

— Тише! Может быть, ту яму давно изнутри закопали, и мы напрасно стараемся…

Почти вся короткая весенняя ночь пошла на то, чтоб прочистить осыпавшийся окоп и прорыть лазейку под фундамент.

Наконец, лопата в руках Лены прошла под фундамент насквозь. Сомнений больше не было: яма существовала, засыпать ее никто не додумался.

— Аленушка, давай я полезу!

— Некогда тут местами меняться! Жди здесь!

И Лена, сдвинув внутрь часть земли, на четвереньках полезла под фундамент.

Яма была пуста, как и год тому назад. В подвале царила абсолютная темнота: два маленьких окошка, существовавшие в прошлом году, теперь были заделаны и засыпаны снаружи.

Лена ощупью вылезла из ямы на пол подвала и прислушалась: в другом конце подвала кто-то тихо стонал.

Она осторожно, нащупывая каждый шаг, пошла на этот стон, держась рукой за мокрую каменную стенку.

— Евдокия Николаевна! — позвала она шепотом, когда ей показалось, что стон уже недалеко.

— Кто здесь? — послышался из темноты слабый, дрожащий голос, в котором явственно звучал испуг.

Еще вчера смелая партизанская разведчица бесстрашно стояла на допросе перед жандармами и полицаями, и те дивились ее твердости, но здесь, в полной темноте, этот неожиданный шепот так ударил по ее взвинченным нервам, что она еле удержалась, чтобы не закричать от ужаса.

— Свои!.. Друзья!.. Только тише!..

— Где вы? — передохнув, прошептала Евдокия Николаевна; уверенный голос неожиданной гостьи несколько успокоил ее, но все же ее сердце колотилось так, что казалось, на этот стук вот-

вот сбегутся все немцы и полицаи, какие только есть в Липне в наличии…

— Идите по стене ко мне навстречу!..

Через несколько бесконечно долгих минут пленница и освободительница в темноте натолкнулись друг на друга.

Было слышно, как на улице, за запертой дверью, немецкий часовой ходит взад и вперед и мурлыкает намозолившую уши «Лили-Марлен»…

Лена взяла Евдокию Николаевну за руку и повела ее за собой вдоль стены, ощупывая ногой землю.

— Лезьте вниз в яму, потом в дырку под фундамент!.. Маруся, ты здесь? Дай Евдокии Николаевне руку!..

Когда все выбрались из подвала в зигзагообразную траншею, на востоке уже разливалась широкая розово-желтая полоса зари.

— Утро! Как мы долго возились!

При бледном свете восходящего солнца они рассмотрели, что платье Евдокии Николаевны было в клочьях и окровавлено, волосы растрепаны, а под глазом красовался огромный синяк.

Идти в таком виде по городу — значило привлечь всеобщее внимание.

— Хорошо, что я догадалась взять запасное платье!

Лена быстро развязала заброшенный еще днем узелок.

В узкой траншее, низко наклоняясь, чтобы не высунуть голов, коллективными усилиями переодели Евдокию Николаевну в чистое платье, повязали ей голову большим платком и выбрались на другой конец зигзагов, посыпая свои следы табаком самосада, так как было известно, что в жандармерии есть собаки.

— Пошли! Авось теперь пройдем благополучно!

— Подожди, Маруся! — остановила подругу Лена. — Ты хочешь ее вести к себе домой?

— Ну, да!.. Больше же некуда!.. Мама знает, я ее предупредила…

— Твоя квартира и так на подозрении из-за жиденят; а, кроме того, придется идти мимо жандармерии, мимо полиции и мимо Пузенчихи.

— А что делать?

— Идем к нам!.. Тут ближе и дорога безопаснее…

— Молодец поповна! — воскликнула Маруся. — Идем к вам!.. У бургомистра искать никто не станет!.. Только знаешь, что: я пойду вперед одна — тут может оказаться патруль, я ему заговорю зубы, а вы тем временем пройдете…

Так и пошли: Маруся впереди, Лена и закутанная Евдокия Николаевна метров тридцать сзади.

Предосторожность оказалась ненапрасной.

— Хальт! — послышался резкий окрик часового.

Маруся смело пошла к нему навстречу; Лена остановилась у стены погорелого каменного дома и прижала к углу свою спутницу.

До них долетел звонкий голос Маруси, которая объясняла немцу, что она работает в Крайсландвирте, что сегодня ей приказано явиться на работу рано-рано, как только взойдет солнце…

Часовой улыбнулся и закивал головой: он узнал веселую переводчицу из Крайсландвирта.

Он отпустил несколько тяжеловесных, чисто немецких острот, Маруся звонко рассмеялась, и они оба пошли рядом посередине улицы, оживленно разговаривая.

А тем временем Лена за их спиной быстро перевела свою спутницу через эту самую улицу и свернула в переулок; здесь не было никаких охраняемых объектов, и встреча с немцами была маловероятна.

Когда они были уже почти у дома, Евдокия Николаевна спросила взволнованным голосом:

— А что с ней, с Марусей? Куда ее этот немец повел? Неужели ее арестовали из-за меня?…

Лена удивилась, потом рассмеялась.

— Арестовали? Марусю? И не думали!.. Вероятно, еще не родился такой немец, который арестовал бы Марусю! Просто она ему сказала, что идет в Крайсландвирт, и ей пришлось волей-неволей идти по направлению к Крайсландвирту.

— Что это значит «Крайсландвирт»?

— Это очень симпатичное учреждение, самое мирное… Попросту управление сельским хозяйством, вроде райзо… Маруся там работает, и я тоже…

Евдокия Николаевна отшатнулась.

— Вы работаете у немцев?!

— Ну, да!

— Что же они там заставляют вас делать?

— Почему «заставляют»? Я работаю агрономом, как и до войны… Но идемте быстрее, не останавливайтесь!.. А то люди уже просыпаются… Не следует, чтобы вас кто-нибудь видел!..

Солнце уже взошло. На улицах людей еще не было, но гарантии, что их никто не видел из окошка, тоже не было.

— Кто это? — Козловская испуганно схватила Лену за руку.

На крыльце дома, к которому они подходили, на фоне зеленого куста сирени выделялась высокая фигура человека…

— Это хозяин этого дома и хозяин города Липни!.. К тому же, по-моему, он ваш хороший знакомый?

— Николай Сергеевич Венецкий!

— Он самый! — подтвердил «хозяин города Липни». — Здравствуйте, Евдокия Николаевна!

Он пропустил их в дом, а сам задержался на крыльце, чтобы не мешать женщинам.

Лена помогла Евдокии Николаевне умыться, перевязать и подлечить все, что болело после «допроса с пристрастием», и более основательно переодеться в чистое.

Псоле этого они обе поднялись на чердак, и там в углу под крышей Лена устроила постель для своей гостьи.

— Ложитесь и отдыхайте! В доме бургомистра вряд ли станут вас искать, но старайтесь, конечно, сидеть тихо!.. Нам пора идти на работу, так что все разговоры будут вечером!

Лена принесла на чердак хлеба и молока, слезла вниз, закрыла люк, приняла подставную лестницу и вынесла ее во двор.

Евдокия Николаевна осталась одна на чердаке.

Она тяжело опустилась на матрас, накрылась одеялом. В первый раз после ареста, допросов с угрозами и побоями, мучительного ожидания своей дальнейшей участи в темном и сыром подвале, она, наконец, почувствовала себя в относительной безопасности.

Наступила реакция. Эта сильная духом женщина, гордо и смело державшая себя на допросах, не проронившая перед врагами ни единой слезинки, теперь, в одиночестве, когда ее никто не видел, долго плакала, уткнувшись в подушку и сама не заметила, как заснула.

Проснулась она уже после полудня; прислушалась — все было тихо; сквозь щели играли солнечные лучи, деловито прял свою паутину паук…

Слезть с чердака она не могла, так как лестница была убрана, посмотреть в окно ей тоже не удалось, оно было забито досками.

Евдокия Николаевна лежала и думала.

Ей вспоминались все подробности неожиданного освобождения, и в душу ей начали закрадываться невольные сомнения.

Она видела трех человек, принимавших участие в этом деле; все трое — Елена Соловьева, Маруся Макова и Николай Венецкий — были ей знакомы еще в довоенное время; за всех троих она могла бы тогда поручиться, что они настоящие советские люди, хорошие, честные и неспособные на подлость…

Она всегда несколько идеализировала людей, меряя их на свой аршин, но война заставила ее о многом и о многих изменить свое мнение.

В партизанские лесные лагеря, где люди жили по советским

законам и меряли жизнь советской меркой, доходили сведения о том, что некоторые советские граждане теперь работают у немцев. В психологии Евдокии Николаевны, страстной, убежденной коммунистки, не укладывалась сама возможность совместной работы с врагами и фашистами, и она с болью и скорбью вычеркнула этих людей из своего сердца: они были предатели, изменники родины, они работали на врагов.

Она знала, и Лена сегодня подтвердила это, что Венецкий — бургомистр Липни; сегодня она узнала, что сама Лена работает агрономом, и особенно ею любимая Маруся Макова тоже работает в немецком учреждении.

И эти самые люди, сотрудники врагов, с риском для собственной жизни, освободили ее, попросту выкрали из тюрьмы под самым носом у немцев!..

Почему они это сделали? Что их заставило?…

Мелькнула страшная догадка: вдруг это провокация, чтоб выпытать у нее те сведения о партизанах, об их местопребывании, количестве, вооружении, намерениях, — сведения, которых безуспешно добивались от нее и жандармский хауптман, и его переводчик, и шеф-полицай Лисенков!..

Может быть, это освобождение, через лазейку под фундаментом, было заранее согласовано с немцами, потому они и не помешали?…

При этой мысли ей стало холодно, и больно, и гадко… Нет, этого не может быть!.. Это уж слишком подло!..

А что если?…

Если они — наши, если они связаны с партизанами и работают для общего дела, а их служба в немецких учреждениях — только маскировка для отвода глаз?

Ее сердце, только что больно-больно сжимавшееся при мысли о подлости провокаторов, при новой догадке переполнилось радостью. Она вскочила с постели, начала ходить по чердаку взад и вперед, даже запела, но, вспомнив о конспирации, поспешно замолчала и притихла.

Но вскоре она вновь начала сомневаться…

Лена, уходя, сказала: «Разговоры будут вечером!», и пленница ждала этого вечера с великим нетерпением.

Наконец, внизу стукнула дверь, раздались шаги и голоса; слышно было, как принесли лестницу, как приставили ее к стене, как она заскрипела, когда кто-то на нее полез… Крышка люка приподнялась и показалась голова Лены.

— Евдокия Николаевна! Где вы там? Слезайте!

Спустившись вниз, Евдокия Николаевна оказалась лицом к лицу с Венецким.

— Здравствуйте! Садитесь с нами обедать!

Козловская рассеянно поздоровалась и удивленно переводила взгляд то на него, то на Лену.

— Кто же живет в этом доме? — спросила она, наконец.

— Мы живем! — ответил Николай Сергеевич. — Это губернаторский дом… Я же теперь важное лицо: бургомистр города Липни… Но кого вы ищете?

— Где же Валентина Федоровна?

— Вот вы кого вспомнили!.. Не знаю, где она теперь, вероятно, в советской России, куда я никогда не вернусь, а, если придется вернуться, то меня отправят в такое место, которое Валентине Федоровне никак не может понравиться… Меня с ней связывал только сын, он погиб, и теперь никакой связи больше нет… Впрочем, для вас это хорошо, что ее здесь нет: она бы уж наверняка всему свету разболтала бы, что у нас на чердаке гость… А теперь у меня другая жена!

И он с ласковой улыбкой положил руку на плечо Лены.

Евдокия Николаевна покраснела.

— Простите!.. Я не знала этого!.. Я не могла понять, почему вы тут оказались вместе с Леночкой…

— Вместе! С тех пор, как она спасла меня из плена, вместе живем и работаем, воюем и горюем!.. Вместе умирать будем, если убьют, вместе отвечать будем за все свои дела, если спросят!..

Гостья продолжала внимательно всматриваться в лица своих хозяев.

— Так, значит, вы?… Но я ничего не понимаю… Почему вы никогда не вернетесь в советскую Россию?… А главное, почему вы меня спасли?

— Потому, что вы — хороший человек, Евдокия Николаевна! — ответила Лена. — Вы всю жизнь делали людям только хорошее, и люди это помнят!

— Как? Значит, это ради меня лично?

— Да, ради вас лично! — подтвердил Венецкий.

— Николай Сергеевич! Со мной можно говорить откровенно! Вы получили задание от подпольного центра, да?

— Не получил, получать не собираюсь и ни с какими подпольными центрами знаться не желаю!

— Николай Сергеевич! Как вы можете так говорить? — воскликнула задетая его насмешливым тоном Козловская. — Вы же советский человек!

— Был когда-то!

— Но не могли же вы перемениться!.. Конечно, конспирация требует… Но, неужели вы меня спасли, и мне же не доверяете! Мне это очень тяжело! Леночка! Я вас прошу, скажите мне

правду! Это для меня очень важно!.. Вы наши?… Оба наши?.. Да?…

Она смотрела на молодую чету с надеждой, страстно желая услышать утвердительный ответ, но оба отрицательно качали головами.

— Но что же это?… Я там, сидя на чердаке, все передумала… Мне даже приходила в голову мысль, что вы — провокаторы, что вы хотите выпытать у меня сведения о партизанах, а потом опять предадите немцам…

Глаза Венецкого гневно сверкнули, но он сдержался и насмешливо раскланялся.

— Вот за это спасибо! Час от часу не легче!.. То в партизаны нас записали, а теперь в провокаторы…

А Лена звонко рассмеялась.

— Евдокия Николаевна! Милая!.. Ну, подумайте: если бы мы были провокаторами, мы же непременно стали бы вас уверять, что мы ваши, что мы для партизан работаем!.. Ведь так?.. Вы сами нам давали такую возможность… А Николай первым долгом бухнул вам, что не желает знаться с подпольными центрами…

— А ты не сердись! — обратилась она к мужу. — Если бы ты посидел по подвалам да по чердакам, тебе бы тоже всякая чушь в голову полезла…

— Пожалуй, полезла бы… — согласился он и продолжал:

— Вот что, Евдокия Николаевна, не мучайте себя страшными мыслями: ния, ни моя жена, ни Марья Владимировна — не провокаторы! А больше никто не знает, что вы здесь находитесь… Мы вас ни о чем не спрашиваем, никаких партизанских тайн у вас выпытывать не собираемся!.. Хотя вам трудно себе представить, что люди могут помочь один другому просто так, по собственной инициативе, без приказов подпольных центров — но это так! Никаких заданий нам никто не давал и дать не мог — просто мы узнали, что вы попались в жандармерию и решили попробовать вас освободить… Попытка увенчалась успехом!.. Но мы-то сами работаем у немцев и не имеем ничего общего с партизанами!.. Более того, мое лично самое горячее желание, чтоб все ваши подпольные центры и партизанские отряды куда-нибудь убрались подальше и не мутили народ!..

— Неужели вы не хотите, чтобы сюда вернулась наша родная советская власть? — удивленно воскликнула Козловская. — Не хотите, чтобы кончились ужасы гестапо?

— И чтоб на смену пришли трибуналы, ГПУ, НКВД, МГБ и как там они теперь называются?… — вопросом на вопрос ответил Венецкий. — Вы — идеалистка, Евдокия Николаевна! Вы так страстно и так слепо верите в непогрешимую справедливость

советской власти!.. Я понимаю вас: я сам когда-то так верил, и мне очень больно было потерять эту веру, когда пришлось столкнуться с изнанкой советской справедливости!.. Мы с Леночкой оба — дети отцов, погибших в «советском гестапо» и по опыту знаем ему цену!.. И право же, толкать людей под расстрелы и виселицы, как это делаете вы, только для того, чтоб все это вернулось, чтоб снова получить возможность петь хвалебные гимны товарищу Сталину!.. Не стоит овчинка выделки…

На глазах Евдокии Николаевны показались слезы.

— «Хвалебные гимны товарищу Сталину»!.. — повторила она с возмущением. — Как у вас язык поворачивается так говорить?!.Вы совсем фашистом сделались!.. С именем Сталина советские люди идут в бой, идут на смерть!.. С именем Сталина отождествляется понятие о родине!..

— Вот это и плохо! Не только отождествляется, но Сталин уже заслонил родину своей особой… И заметьте: теперешние немцы тоже официально прославляют не столько Германию, сколько Гитлера… Даже здороваться полагается «Хайль Гитлер!»… Кстати сказать, обычно это произносится очень небрежно… Получется, что с обеих сторон стоит у власти по самодержцу, и ради их прихоти дерутся и гибнут тысячи людей!..

— Это товарищ Сталин, по-вашему, самодержец? — гоький упрек слышался в дрожащем голосе Евдокии Николаевны.

— Самый настоящий! Николай Второй ему и в подметки не годился!.. Самодержец, почище Иоанна Грозного! Вся разница, что тот открыто рубил головы и сажал на кол, а этот «приводил приговор в исполнение» потихоньку, так, чтоб никто не видел… Но Сталин, Берия, Ежов и компания не меньше погубили невинных людей, чем Иоанн Грозный!..

— А все-таки наши победят!.. Сталин победит, хотя вы этого и не хотите!.. И ваших немцев прогонят до самой границы!.. А вашему Гитлеру место на виселице!

Теперь в голосе заслуженной учительницы звучало что-то детское, напоминающее школьников.

— Вот против последнего не возражаю! — сказал Венецкий. — По нашему бефайеру давно веревка плачет!

— Как вы сказали? Фрайеру?…

— «Гитлер — бефрайер» — «Гитлер — освободитель» — так пишут на его портретах… Немцы «освобождают» города и страны от коммунистов, а советские войска в свою очередь, тоже «освобождают» эти же самые города от фашистов. В результате взаимных освобождений от освобожденных остаются одни воспоминания… Знаете, я вчера вот этот учебник древней истории перечитывал — ассирийские цари писали на своих

памятниках: «Я покорил столько-то народов. Я разорил столько-то городов. Я взял столько-то тысяч рабов. Я перебил столько-то тысяч непокорных!»… А вот современные поработители заявляют: «Я освободил! Я спас!»… Нет у них древне-ассирийской правдивости, чтоб назваться теми, кто они есть на самом деле, вот и величают сами себя освободителями!..

— Хватит вам спорить, а то еще поссоритесь! — вмешалась Лена. — Суп готов, садитесь обедать!

Козловская молча села за стол и стала есть щавелевый суп. В конце более чем скромного обеда она спросила:

— Леночка, как вы сумели подкопаться в этот подвал?

— Это случайно! Еще до прихода немцев мы с Марусей рыли там окопы и обнаружили яму в подвале, а теперь эта лазейка пригодилась.

— Но ведь вы могли попасться?

— И сейчас еще можем!.. Мы засыпали следы табаком, немец, с которым любезничала Маруся, кажется, ничего не видал, но ручаться ни за что нельзя… Вас сейчас ищут по всей Липне, могут и сюда придти, хотя пока непохоже…

Лена говорила спокойным, беззаботным тоном, как будто речь шла о погоде.

— Но если меня найдут, вас могут обвинить? — тревожно спросила Евдокия Николаевна.

— В укрывательстве беглой партизанки? Конечно, могут, и не без оснований!

— И что тогда?

— А кто их знает? Могут вздернуть, могут расстрелять, а то еще что-нибудь придумают…

Козловская вскочила.

— Я тогда уйду! Я постараюсь уйти!.. Я должна уйти!.. Я не могу, не имею права вас подводить!..

— Сидите смирно! — Венецкий положил ей руки на плечи и с силой посадил обратно на стул. — Придти сюда, конечно, могут, но это мало вероятно: квартира бургомистра — одно из самых безопасных мест… А, если вы пойдете сегодня, вас поймают сразу, из города вы не выйдете: сейчас везде усиленные патрули, и немцы, и русские полицейские… А вас вся Липня знает, да еще этот фонарь сильно подозрителен! — он указал на кровоподтек у нее под глазом.

— Это Лисенков меня ударил…

— Этого мерзавца тоже веревка ждет — не дождется! А сейчас он особенно зол, потому что вы от него ускользнули…

— Но что же мне делать? — спросила Евдокия Николаевна.

— Сидите здесь и никуда носа не показывайте!.. Леночка не

для того под фундаменты лазала, чтоб вас опять посадили!.. Мы дело начали, мы и кончим!.. Пока надо подождать, а когда вас перестанут искать, мы сами вас переправим к вашим.

— Переправите к нашим?

— Да! Крайсландвирт выдает старостам зерно на посев. На днях должне приехать за этим зерном Моховский староста Гнутов… Ему верить можно, он не Лисенкову чета!.. С ним отправим вас в Мохово, а там и ваш штаб рядышком — Вороний Мох!..

* * *

На следующий день пришла Маруся.

— Поповна, я не к тебе, я к Евдокии Николаевне! Где она у тебя?

— На чердаке! Не хочет слезать, чтоб ее кто-нибудь не увидел.

— Это правильно!.. Я полезу к ней!..

Маруся влезла на чердак.

— Евдокия Николаевна! Здравствуйте!

Козловская, которая лежала в своем углу и дремала, услыхав этот звонкий голос, вздрогнула и приподнялась.

— Кто это?… Маруся, милая, это вы?… Как я рада, что вы пришли!.. Значит, вам удалось благополучно пройти?… Я боялась, что вас арестовал тот немец, жандарм…

Маруся рассмеялась.

— Тот немец был вовсе не жандарм, а из зенитной части и совсем не страшный!.. И с какой стати меня будут арестовывать? Я — переводчица Крайсландвирта, человек, уважаемый всеми национальностями!.. Да вообще, Евдокия Николаевна, вы там сидите в своем лесу и совсем превратно понимаете, как мы тут живем. Вам кажется, что нас немцы живьем грызут, а они вовсе неплохие люди, с ними кашу сварить можно!..

Евдокия Николаевна опустила голову, и плечи, и руки, как будто на нее легла непосильная тяжесть.

— Неплохие люди! — прошептала она горько. — Враги нашей родины — неплохие люди!.. И вы можете это говорить, Маруся!.. Они вторглись на нашу родную землю, они отняли у нас нашу счастливую жизнь — а вы еще с ними «кашу варить» собираетесь!.. Это враги!.. Их надо уничтожать всеми средствами, пока ни одного не останется на нашей советской земле!.. Я их видела на допросе, этих ваших «неплохих людей»! Это изверги!..

— Евдокия Николаевна, милая! Нельзя же по нескольким

мерзавцам, которых потому и взяли в жандармерию, что они мерзавцы, судить о всех немцах вообще! Ведь и среди русских, и среди всех национальностей есть мерзавцы! А большинство немцев такие же люди, как мы… Но нельзя же требовать, чтоб они вас, партизан, очень любили, когда вы им все время вредите из-за угла!..

— И будем вредить! Будем вредить, чем только можем! — воскликнула Евдокия Николаевна, и глаза ее засверкали жгучей ненавистью, которая казалась странной и неуместной на лице этой добрейшей из добрых женщин.

Она выпрямилась и крепко схватила Марусю за руку.

— Маруся! Ведь вы комсомолка! Вспомните свой комсомольский долг! — заговорила она вдохновенно. — Я от имени партии говорю вам! Идемте к нам в лес!.. Будем бороться за советскую власть!.. Вы искупите перед родиной свою измену!..

Маруся нахмурилась.

— Я вас очень люблю, Евдокия Николаевна! — сказала она. — Вам лично я всегда помогу, если будет нужно, и другим хорошим людям тоже… Но к вам в лес я не пойду!.. И уничтожать никого не буду!.. Вы так крепко верите в свою правоту, что готовы уничтожать виноватого и не виноватого!.. А у меня нет такой уверенности…. и вашей — не обижайтесь — фанатичной ненависти к немцам у меня тоже нет, вероятно, потому, что я их знаю лучше, чем вы… И я к вам не пойду!..

Наступило неловкое молчание.

— Полезу-ка я вниз! — сказала Маруся. Ведь я на минутку пришла… Вот вам от мамы…

Она поставила около матраса мисочку со студнем и положила пучек мелкой ранней редиски и две лепешки.

— До свидания!..

Козловская не ответила. Они расстались людьми разных миров.

* * *

Последующие дни Евдокия Николаевна почти безвыходно сидела на чердаке: с одной стороны, она опасалась подвести своих спасителей, а с другой, когда она поняла, что эти люди совершенно чужды ей по убеждениям и очень далеки от партизанской деятельности, ей было трудно снова вступать с ними в разговоры. И она сидела на чердаке, стараясь не шуметь и ничем не выдавать своего присутствия.

До приезда Гнутова пришлось ждать целых четыре дня.

Подлинных виновников побега арестованной партизанки никто не заподозрил: решили, что она сама нашла выход в старый окоп. Ее искали по всему городу, но обыскать дом бургомистра ни жандармскому хауптману, ни Лисенкову в голову не пришло.

На третий день поиски прекратили, предполагая, что беглянка давно скрылась из города. Был только развешен по всем углам новый громовой указ, грозивший расстрелом все укрывателям партизан.

Случилось так, что в жандармерии испортилась пищущая машинка, а русской машинки у них вообще не было, и этот приказ принесли в Крайсландвирт с просьбой перепечатать в возможно большем количестве экземпляров.

Русский текст печатала Сомова, а немецкий с особенным удовольствием отщелкала Маруся, и она же принесла несколько экземпляров Венецкому.

— Вот вам, Николай Сергеевич, новый «вирд эршоссен», — проговорила она с еле скрываемым торжеством, и в ее глазах так и прыгали искорки смеха. — Надо будет разослать его всем старостам, чтоб не прятали партизан, а то говорят, что некоторые бургомистры — деревенские, конечно — занимаются такими делами!..

— Возможно, кто-нибудь и занимается, хотя я этого не думаю! — в тон ей отозвался городской бургомистр и погрузился в чтение нового приказа.

* * *

Наконец, приехал долгожданный Гнутов.

Лена остановила его на Крайсландвиртовском дворе.

— Прохор Ермолаич, вы зайдете к нам сегодня?

— Нет, Михайловна, некогда! Хочу сегодня же назад обернуться, — ответил тот. — У меня четыре подводы, я уже все повыписал, там мои люди на складе зерно получают, а я только на минутку к Шефферу зайти хочу, поговорить…

— Прохор Ермолаич! Задержитесь! — подчеркнуто произнесла Лена. — Зайдите к нам!

Моховский староста посмотрел на нее настороженно.

— Ну, ладно, вот подводы свои отправлю, и к вам зайду… Тогда я у вас заночую, а завтра домой — пешака!..

— Нет, одну подводу задержите! Без людей и чтоб на ней было несколько мешков!

Настороженность в темных глазах Гнутова сменилась искоркой деловитой усмешки.

— Несколько мешков, говоришь?… И чтоб без людей?… Занятно!.. А с чем мешки-то надобе чтоб были?… Али порожние?…

— Нет, полные… все равно с чем… Только — никому ни слова!

Прохор чуть заметно кивнул головой и пошел, бросив на ходу:

— Ладно, дожидай!

Часа через четыре он приехал на телеге с тремя мешками, наполненными зерном. Лена была дома одна.

— Где Сергеич-то твой?

— Еще на работе! Заходите, Ермолаич!

Лена раскрыла ворота и пропустила подводу во двор.

Прохор зашел в комнату, огляделся, сел у стола и вопросительно поглядел на хозяйку.

— Зачем звали-то, Михайловна?

— А вы, Прохор Ермолаич, смерти боитесь?

Гнутов удивленно открыл глаза.

— Смерти-то? Нынче такое время, что кто и дуже ее боялся, так и тому надоело бояться… Не хватит страху, коли эта самая смерть кажинный день над головой висит… поневоле привыкнешь… А я никогда ее особо и не боялся… В чем дело-то?

— Как по-вашему, есть на свете хорошие люди? — задала Лена второй вопрос, как будто не имеющий никакой связи с предыдущим.

— Маловато, Михайловна, хороших людей, а которые и были, так тех поубивало… А ты это про кого?

— Про Козловскую Евдокию Николаевну!

— Вон про кого! Это учительница, что депутатом выбирали?… Она нашему главному шалопуту лесному сестрой приходится… А правду говорят, что ее арестовали, а она сбежала?

— Правда!

— Молодец-баба!.. То-то Пылик, верно, злится, что из рук добыча ушла!.. А как она сбежать уладила, ты не знаешь?

Лена загадочно улыбнулась.

— Она очень хорошая, и многим добро делала, когда была депутатом и директором школы. Люди это не забыли!..

— Это верно!.. И мне у нее разок побывать пришлось!.. Правильная баба была!.. Так ей, значит, сбежать люди подсобили?… Ну, счастливый ей путь!..

— Вам с ней по дороге, Ермолаич! Подвезите ее до Вороньего Мха!

Этого Гнутов не ожидал.

— Подвезти до Вороньего Мха? Да ты, что — смеешься?

— Нет, не смеюсь! — ответила Лена. — Я вас для этого и звала!

— Да где же она?

— У нас на чердаке!

Прохор крякнул.

— Н-да!.. Дела!.. У самого, значит, бургомистра?… Как же я ее повезу?… Ее все знают, и документа нет… Али ты ей ауйвайс заготовила?

— Нет, документы сечас достать трудно, и можно вызвать подозрения… Мы другое придумали: вы ее в мешке повезете!..

— Ну и ну!.. Вместо ячменя с гречкой?!.. А, была не была!.. Давай мешок, а то у меня нет порожнего… И депутата своего давай сюда!.. Завидно и поедем!..

Евдокия Николаевна, слышавшая весь этот разговор, слезла со своего чердака.

— А, здравствуй, Николаевна! — приветствовал ее Прохор.

— Здравствуйте, товарищ Гнутов!

Старик мотнул головой.

— У нас теперь товарищи отменены! — сказал он. — Господами нынче все лаптежники заделались!.. Ну, давай, Николаевна, полезай в мех, повезу тебя в Мох!

Лена принесла большой пустой мешок; Евдокия Николаевна забралась в него и свернулась калачиком. Лена напихала в углы мешка и во все пустые места тряпья и сена и, когда мешок принял округлый вид, завязала его. Гнутов, не говоря ни слова, взвалил этот мешок себе на спину, вынес во двор и уложил на телегу, в самую середину, между другими мешками.

— Как вам там? Не задохнетесь? — спросила Лена.

— Нет, нет! Воздуху достаточно!.. Спасибо вам! — послышался слабый голос из мешка.

— Ишь ты! И не поймешь, где говорит! — усмехнулся Гнутов, усаживаясь на телегу и разбирая вожжи. — Ну, лежи тихо, Николаевна, не брыкайся, а то немцы подумают, что швайн везу, да и отберут на жаренку…

— А вы сядьте на меня, тогда и незаметно будет, — посоветовал голос из мешка.

— И то верно! — и Прохор слегка одним боком передвинулся с мешка с гречихой на мешок с пленницей. — А не дуже тяжело, Николаевна?

— Ничего, Тарас Бульба под кирпичом ехал! — попробовала пошутить Козловская.

— А, знаю, знаю!.. Занятная книжка! Под кирпичом ехал да еще жид сверху сидел… Ну, добре!.. Терпи, значит, Тарас Бульба, пока из города выберемся!.. Бывай здорова, Михайловна!.. Н-но!..

Пошла!..

Телега, запряженная гнедой кобылкой, тронулась. Уже в воротах Гнутов всем телом повернулся в ту сторону, где находилась полиция, и добавил с выразительным жестом:

— А Пылику — дуля!!!..

Глава 21
Иван-чай

Второе военное лето вступило в свои права.

Вокруг двухэтажного здания Крайсландвирта на пустырях развернулось в самой середине города обширное подсобное хозяйство, на котором работало более сотни рабочих. На эту работу шли охотно, так как помимо хлебного пайка и денежной оплаты — за последней никто не гонялся — можно было принести домой пару огурцов, пучок морковки, кочан капусты, а это было дороже денег.

На этих огородах, рядом с общеизвестными овощами, росли ранее совершенно неведомые в Липне: шпинат, салат, кольраби, мохнатая декоративная капуста, и хозяйки, проходя мимо немецких огородов, не раз удивлялись, чего это немцы всякую траву на грядках сажают, как будто мало растет кругом лебеды и крапивы!..

Немного отступя от центральной улицы города расположились поля, засеянные ячменем, гречихой, льном, и даже горчицей и кок-сагызом. Какие семена привезли немцы, те и пошли в липнинскую почву.

Душой всех этих огородных дел был Анатолий Петрович Старов. Уехав с немцами в январе, он провел около двух месяцев в Днепровске и весной был возвращен в Липню. Он уже почти не хромал.

Он проводил на огородах целые дни, с увлечением устраивал всевозможные опыты с немецкими и русскими семенами, руководил рабочими и очень сердился, когда последние по липнинским законам вежливости величали его «Петровичем».

Около прошлогодних окопов росла рожь: во время фронта немецкие солдаты спали в этих окопах на необмолоченных снопах, и теперь хозяева тех дворов, где выросла эта рожь-самосейка, тщательно за ней ухаживали в надежде собрать хоть немного зерен.

Вновь в городе и в некоторых деревнях работали мельницы, но мололи они, в чаянии грядущего урожая, самые необычные вещи: сушеную картофельную шелуху, козелец — цвет щавеля —, клеверные «башки», лебеду, колоду — гнилое дерево… Из всей этой смеси жители Липнинского района приладились печь хлеб цвета мокрой сажи и соответствующего вкуса.

Партизаны то исчезали, то вновь появлялись. В народе шли разговоры об отрядах «Бати», «Дедушки», «Ивана Иваныча», о

десантных войсках генерала Чернова, но вместе с тем в окрестностях Липни стало сравнительно тихо; причиной этому была, по всей видимости, невозможность добывать пропитание…

Лесная советская власть откочевала в более хлебные и менее выбитые места, предоставляя тошнотики, хлеб из козельца и колоды на долю гражданского населения.

С начала войны прошел год. Много за этот пережили люди: и страх, и горе, и разлуку с близкими, и смерть любимых, и потерю имущества, и голод, и холод, и плен, и многое еще более страшное, и ко всему умудрилось привыкнуть и приладиться существо, именуемое человеком.

Жили в окопах, в подвалах, разбитых хатах, мерзли, ели тошнотики и крапиву, солили суперфосфатом, и все равно — жили, упорно и цепко, и не только жили, но и веселились, шутили и любили, даже больше, чем до войны.

Казалось, что в это тяжелое время любовь должна была бы подождать, отступить на задний план, сосредоточиться на воспоминаниях о далеких любимых, но это только так казалось — любовь не хотела ждать!

На практике под гром войны любилось особенно легко. В промежутках между налетами «русского Ивана» и перепалкой карательного отряда с группой партизан, по городам и деревням справлялись многочисленные свадьбы: тихие — в голодных и выгоревших местах и шумные, с гульбой и самогонкой — там, где война пощадила хлебные запасы.

Люди жили по принципу: хоть час, да мой! У большинства женихов и невест были где-то далеко «родные» мужья и жены, а здесь, куда их привела извилистая дорога войны — «неродные», военного времени…

На прошлогодних пожарищах, поднимая выше обгорелых печных труб яркие кисти сиренево-розовых цветов, возвышаясь над лопухами, крапивой и конским щавелем, буйно цвел король всего бурьяна — иван-чай!

И так же пышно цвела со смертью рядом не требовательная, не ревнивая, не спрашивающая национальности, имени и звания, полузаконная любовь военных дней.

* * *

Из всех многочисленных свадеб в Липне особенно всем запомнились две.

Первая из них была в жаркий летний день.

В Городское Управление явилась чрезвычайно торжественная

пара.

Это были: Василий Данилович Лисенков, в новом с иголочки костюме из перекрашенного в темно-синий цвет офицерского сукна, со сверкающим в петличке немецким орденом на зеленой ленточке, который был ему недавно пожалован за активную помощь в борьбе с партизанами, и — Фруза Катковская, в пышном ярко-розовом платье из парашютного шелка, также перекрашенного. На груди ее красовалась позолоченная брошка диаметром около вершка, со множеством красных и зеленых стеклышек, изображающих рубины и изумруды.

— Здравствуйте, кого не видал! — громко возгласил входя начальник полиции и, когда глаза всех присутствующих обратились к нему, развязно продолжал:

— Просим, значит, нас с Фрузой Константиновной проздравить с производством, так сказать, законного брака!.. И документики просим обтяпать!

— И всех к нам в гости просим, на свадьбу! — добавила с любезной улыбкой Фруза.

— Ну, самый главный черт сотню немецких сапогов с подковками стоптал, пока эту пару подобрал!

Это сказала Маруся, как всегда оказавшаяся там, где происходило что-либо интересное; сказано это было шепотом, но этот шепот несомненно долетел до чутких ушей новобрачных.

Бургомистр молча выписал брачное свидетельство, не вспоминая ни «родного» мужа невесты невесты Петра Кузьмича Катковского, который когда-то работал под его начальством, а в настоящее время находился в красной армии, ни «родную» жену жениха, которая осталась в деревне Завьялово в трех километрах от Липни; если бы он об этом заикнулся, ему тоже могли бы припомнить Валентину… Да и не стоило из-за формальностей связываться с таким человеком как Лисенков.

От любезного приглашения на свадьбу он хотел отказаться под предлогом занятости, но не тут-то было!

— Обидите нас, Сергеич, если не придете! — разливалась с медовой улыбкой Фруза. — У нас сам комендань будет, и переводчик, и хауптман из жандармерии, и все зондерфюреры, а вы вдруг не придете!.. Очень нам будет обидно!

— Некогда мне, Константиновна!

— Да как вам не совестно так говорить — некогда! И слушать не хочу!.. Непременно приходите!..

— А вы, Михайловна! — обратился Лисенков к Лене. — Как вы у нас в церкви видное лицо, попросим вас с попом поговорить насчет, значит, венчанья…

— Что же вы на недельку раньше не собрались? Теперь

Успенский пост — венчать не положено…

Жених и невеста были несколько озадачены.

— Не полагается венчать, коли Успенский пост?… А я и не знал, какой еще там Успенский пост бывает… Петровки — это я слыхал от старух… Ну, да черт с ним, с попом!.. Без него свадьбу справим… Самогонки будет у нас!..

Лисенков сделал рукой широкий жест, долженствующий означать: «разливанное море»…

— А если не придете, погребуете, я в большой обиде буду! — скозь любезное приглашение призвучало нечто похожее на угрозу. — И вас прошу, Ивановна, в гости!.. И вас, Владимировна!.. Всех приглашаем!

— Спасибо, я приду обязательно! — сказала Маруся.

— Неужели ты в самом деле собираешься идти на эту свадьбу? — спросила свою подругу Лена, когда за молодоженами закрылась дверь.

— А почему нет? Пойду! Это интересно!.. Случай понаблюдать полицейские нравы и обычаи… А кроме того, теперь не время без надобности злить этих господ… И тебе с Николаем я бы советовала «не гребовать» и почтить шеф-полицайскую свадьбу своим губернаторским присутствием.

* * *

Лене и Николаю очень не хотелось идти на Лисенковскую свадьбу, но за ними прибежала сама невеста, ранее никогда у них не бывавшая, и почти насильно потащила к себе обоих.

Лена захватила с собой в качестве подарка коробочку пудры, ту самую, что она год тому назад подобрала в разоренном магазине. К ее удивлению, этот подарок привел Фрузу в неописуемый восторг.

— Пудра! Настоящая! Довоенная!.. Ой, Михайловна, где же ты достала? Вот спасибо!.. А я-то все горюю, что нос блестит… Нигде ведь теперь не достанешь!..

И она поспешно начала пудрить свой нос, чтоб не блестел.

По дороге на пышную свадьбу Венецкий забежал в Крайсландвирт и застал там одного пожилого зондерфюрера Шлиппе, помошника Шеффера. Шлиппе наотрез отказался от приглашения шеф-полицая, и Венецкий договорился с ним, что тот его вызовет с этого пиршества.

Подвыпивший Лисенков начал хвастаться своим многочисленным гостям, что немцы за его заслуги пожаловали ему двадцать гектаров земли и разрешили выбрать любой участок

в Липнинском районе.

— Любую землю, говорят, бери!.. Какая на тебя смотрит!.. Потому, значит, я верный и преданный слуга германской власти… Германская власть, кто ей хорошо служит, хорошо награждает!.. Я теперь помещик!.. Я сказал: в Шантарове участок возьму… Там сад фруктовый мировой!.. Будет теперь мой!.. А мужиков оттуда погоню к чертовой матери!..Я помещик!.. Я заслужил!.. И орден выслужил!.. У кого еще в Липне орден есть? Ни у кого!.. Вот мужики говорят: Пылик такой-сякой, а германская власть Пылику орден дала, потому германская власть понимает, кто к ней всей душой, а кто…

Излияния нового помещика были прерваны появлением крайсландвиртовского конюха Мишки Зайцева.

— Сергеич! Вас новый комендант требует!

Венецкий поспешно встал из-за стола.

— Извините, я должен идти!

Фруза повисла на его руке.

— Не ходи, сергеич! Этот шлюп старый сам не пришел и людям не дает повеселиться!.. Мы Шефферу скажем… Он прикажет, чтоб ты никуда не ходил…

— Нет, нет, Константиновна! — бургомистр мягко, но решительно отстранил хозяйку дома. — Я пойду узнаю, что ему надо, а если какой-нибудь пустяк, я вернусь к вам…

Конечно, он не вернулся.

Через полчаса, под предлогом церковной службы, ушла и Лена.

Маруся Макова оставалась довольно долго и занималась наблюдениями за полицейскими нравами.

* * *

Другая многим в Липне запомнившаяся свадьба была в начале зимы, когда свежий снег уже плотно укрыл поля и улицы.

К бургомистру явился Виктор Щеминский.

— Ну, Сергеич, давайте мне свидетельство о женитьбе, на этот раз по-настоящему!

Рядом с расфранченным Виктором, смущаясь и краснея, стояла хорошенькая белокурая Зиночка Тимченкова.

Она окончила школу перед самой войной. При немцах она спрева ходила на чистку снега, потом работала на огородах крайсландвиртовского подсобного хозяйства; наконец, недавно, когда в городе появился немецкий магазин Цет-О, Зиночка устроилась туда продавщицей.

Зарегистрировали новобрачных в субботу, а в воскресенье Виктор пришел со своей невестой в церковь и заявил, что хочет венчаться. Отец Макарий исполнил его желание.

Свадьбу справляли на новой квартире, в доме, который Виктор недавно для себя отремонтировал. Приглашено было пол-Липни.

Но многие гости, в том числе бургомистр с женой, скоро ушли, и после ухода «черезчур самостоятельных» пьяное пиршество развернулось без всякого стеснения.

Самогонка лилась рекой, гармонь не умолкала, новые доски пола гнулись под ногами пляшущих…

Разошлись гости, не считаясь ни с какими запретами и комендантскими часами, уже после полуночи.

Виктор обнял свою молоденькую жену, посадил ее на колени и не успел поцеловать, как зазвенело стекло и в окошко влетел камень.

— Ах, черт возьми!..

Виктор бросился к дверям. На пороге стояла вдребезги пьяная Александра Степченкова.

Она была на свадьбе, вместе со всеми гостями пила самогонку, пела песни, танцевала и ушла одной из последних; а теперь хмель и ревность привели ее обратно…

— Чего тебе надо? — крикнул Витька.

Шурка, шатаясь, вошла в комнату и протянула к нему руки.

Уже несколько месяцев она не напоминала Виктору о прежней близости, и он считал, что старая любовница, наконец, поняла, что не нужна ему, и отвязалась, оставила его в покое…

Но не тут-то было!..

— Витя!.. Милок!.. Давай с тобой спать ложиться! — схватив Виктора за рукав, она потащила его к постели. — Ты ведь мой миленочек!.. А лахудру эту прогони, Зинку-то!.. К черту ее!..Пусть домой идет!.. Она же ничего не понимает… Пусть она идет к своей мамке!.. Пусть деточка идет к своей мамочке!..

И Шурка тяжело плюхнулась на голубое пикейное одеяло.

Виктор рванул ее за руку с постели.

— Иди домой! Уходи!..

Он сжал зубы, чтоб не выругаться: еще вчера он обещал Зиночке бросить ругаться…

— Чего это я пойду?… Я дома!.. Я к мужу своему пришла!.. Это неважно, что по немецкому закону нельзя, коли больше десяти лет… Мы с тобой, Витечка, русские…

— Тетя Шура, встаньте, идите домой! — попробовала вмешаться Зиночка.

— Ишь!.. «Тетя Шура»!.. Племянница нашлась!.. Какая я тебе

«тетя Шура»? Да еще домой посылает!.. Ах, ты чушка!.. А ну пошла сама отсюдова вон, пока я тебе морду не набила!.. Я ему жена, понимаешь — жена, а ты так себе…

Она добавила несколько слов, от которых личико Зины стало краснее ее коралловых бус.

Виктор сделался белее свеже-выбеленной стенки.

И вдруг бессознательно ожило в нем, не воспоминание, нет, а чувство, испытанное им много лет назад, когда он был еще мальчишкой.

… В детстве Виктор был большим любителем собак, кошек и всякого зверья и вечно с ними возился. Но однажды, когда ему было лет тринадцать, произошел случай, который он не любил вспоминать.

На их двор забежала небольшая соседская собачонка, мохнатая, белая с черным, ничем не примечательная.

Витька, бывший один дома, дал ей хлеба и костей, начал с ней играть и возиться и нечаянно сильно отдавил ей лапу; собака отчаянно завизжала, а мальчика охватила жалость к животному, сознание своей вины перед ним, и он хотел приласкать собачку…

Но собака, еще не опомнившаяся от боли, укусила гладившую ее руку мальчика…

— Ах, дрянь!.. Вот ты как!.. Кусаться?… Ну, погоди же!..

Жалости как ни бывало; вместо нее нахлынула на Витьку ненависть, страстная, бессознательная ненависть к этой мерзкой собачонке, желание жестоко отомстить ей за боль в прокушенной руке, и еще больше — за оскорбление, за непонятое доброжелательство…

Он схватил собаку за ошейник, повалил на землю, крепко привязал ее к столбикам забора так, что она почти задыхалась, и начал, весь кипя от злости, методически отдавливать твердыми каблуками новых сапог все четыре лапы и хвост…

Собака рвалась, визжала, но ошейник, вплотную прикрученный к забору, сдавливал ей горло, и визг получался слабым и хриплым…

А Витька радовался…

— Вот тебе, вот тебе!.. — повторял он, продолжая ставить свои каблуки и наваливаться всей тяжестью тела то на одну, то на другую мохнатую лапку и с наслаждением прислушиваясь, как трещат собачьи кости…

Потом ему этого показалось мало — он стал одной ногой на голову, другой на живот несчастной жертвы и, держась руками за забор, принялся выбивать чечетку новыми сапогами, уже испачканными собачьей кровью…

Кто-то из соседей увидал эту расправу и сказал хозяйке

злополучной собаки. Тетка Михеевна прибежала, с криком отобрала у мучителя свою собачонку с выбитым глазом, переломанным позвоночником и раздавленными в лепешки лапами…

Здоровенной пощечиной привела она в чувство самого Витьку, который против ожидания, не убежал, не отругивался и не оправдывался, а только ошалело посмотрел на Михеевну, отошел и сел на завалинку; он чувствовал себя усталым и разбитым, как после тяжелой-тяжелой работы…

Собаку пристрелили, чтоб не мучилась, а Витьку сперва отлупила ремнем мать, а затем вызвала в учительскую Евдокия Николаевна и долго стыдила его, все добиваясь, почему, за что он был так жесток с собакой?…

Но Виктор и сам не понимал, откуда у него взялся этот приступ жестокости; единственным оправданием было то, что собака его укусила, но ведь он-то еще раньше отдавил ей лапу — если бы на этом дело кончилось, их можно было бы считать в расчете?…

Витька пообещал учительнице, что никогда больше не будет мучить животных, и сдержал обещание…

Долгое время после этого случая он сторонился собак, и вообще животных, у него было даже нечто вроде страха перед ними…

Впоследствии это забылось…

И вот сегодня с ним произошло нечто похожее на тот давнишний случай.

Под сердце подкатила волна звериной злобы, страшной ненависти к Шурке, за то, что она отравила и испачкала его светлую, ласковую любовь, любовь, которая оживляла все хорошее, что еще было в душе человека, привыкшего к крови, убийствам, пьянству, грабежам…

И она эту любовь оскорбила, втоптала в грязь!.. Ненависть затуманила его сознание, застлала кровью глаза…

Он сунул руку в карман, но револьвера там не оказалось: он сам перед началом попойки отдал его Зининой матери и попросил спрятать подальше.

Между тем, Шурка опять взгромоздилась на кровать, раскинулась и захрапела.

Внезапно Виктор гибким движением наклонился и открыл дверцу топившейся печи.

В эту печку кто-то перед самым уходом гостей подложил дров, но подгрести жар наперед никто не догадался, и дрова горели только сзади, а передние концы их были холодные…

Виктор вытащил одно тонкое, круглое полено; его горящий

конец оказался раздвоенным, как вилка…

Одну секунду Витька стоял неподвижно, держа в руке дымящееся полено, и вдруг, повинуясь страшной силе бессознательной злобы, подогретой выпитой самогонкой, сунул пылавшую головешку в лицо Шурке; два конца пришлись, как по мерке, прямо в глаза…

Раздался страшный, звериный рев… Шурка вскочила и схватилась за обожженные глаза, а Виктор еще несколько раз с силой ткнул ей в лицо головешкой, целясь в один глаз, в другой, в разинутый рот…

Вспыхнули рукава Шуркиного платья, вспыхнули волосы, с воем ослепленная женщина заметалась по комнате…

Тут опомнилась Зиночка.

С криком бросилась она на кухню, схватила ведро с водой и облила горящую Шурку… Та упала и продолжала выть, катаясь по полу…

У ней вытекли оба глаза…

— Зинка, отойди! — хриплым голосом проговорил Виктор.

Зина взглянула на него и в ужасе попятилась — никогда не думала она, что оюбимый ею, веселый, красивый, озорной Витя может быть таким страшным!..

Виктор поднял лежавший у печки тяжелый топор и с размаху раскроил голову бившейся в судорогах Шурки…

— Витя!.. Что ты?… — воскликнула Зина и голос ее пресекся, она не смогла выговорить: «что ты сделал?»…

— Капут махен! — жестко усмехнулся Виктор, вытирая топор о Шуркину юбку. — Она же ослепла, чего ее в живых-то оставлять? Кому она теперь нужна?… Да и покою нам с тобой она все равно не дала бы… А так — пристукнул и ганц фертих!.. Где у нас санки?

— В сенцах стоят! — машинально ответила Зина.

Она стояла неподвижно и с ужасом смотрела, как ее молодой муж обернул половиком тело убитой, положил ее на санки, надел пальто и шапку и повез свою поклажу прочь от дома.

— Пол подмой, а то накровянили! — бросил он ей, поворотясь вполоборота уже в дверях…

Под весну труп Шурки нашли в Чертовом овраге и долго спорили и гадали, кто мог ее убить: немцы или партизаны?…

Глава 22
Обратное течение

Тяжелый сорок второй год, голодный и кровавый, пришел к концу. Наступил новый год — сорок третий.

Немцы побывали под Москвой, под Ленинградом, под Сталинградом, но ни Москвы, ни Ленинграда, ни Сталинграда не взяли и на всех фронтах медленно, но верно откатывались назад — нах хаузе…

В Липню нерегулярно попадали разрозненные номера издававшейся в Днепровске газеты «Новый путь», но сведения там были такие расплывчатые, что уяснить по ним обстановку на фронте было очень трудно.

В феврале появились в Липне беженцы из городов и сел, взятых немцами в прошлом году, а теперь отданных обратно.

Главным образом, это были старосты, полицаи и служащие немецких учреждений, но встречались и люди, не занимавшие никаких постов: просто из некоторых мест все население поголовно было выгнано в тыл, и теперь искало пристанища в чужих районах.

К этому времени в маленькой Липне было уже не меньше учреждений, чем в довоенное время; были они немецкие, русские и смешанные, и кто кому подчинялся, разобрать было очень трудно; иногда они помогали друг другу в работе, а чаще мешали.

Сменилось несколько комендатур. На месте уехавшей жандармерии появилось учреждение, которое сами немцы предпочитали обходить стороной, — на его дверях было начертано: Гехайм Полицай.

Распределение на работы теперь ведало Арбайтс-Амт, которое русские называли биржей труда.

Крайсландвирт, где уже было пять или шесть зондерфюреров, теперь совершенно отделился от Городского Управления, и сам разделился на два: сельско-хозяйственный, где главным по-прежнему был долговязый Шеффер, и промышленный, которым заведовал свободно говоривший по-русски зондерфюрер Паппе, величаемый всеми «папой».

По всему городу располагались, приезжали и уезжали различные воинские части; во всех этих воинских частях теперь работало множество русских. В бывшем здании ресторана был открыт «Зольдатенхайм» — нечто вроде клуба для немецких солдат.

Среди множества немцев в военной форме появился один единственный в гражданской одежде и круглой шляпе — представитель торговой фирмы «Цет. О»; этот немец, получивший прозвище «шляпа», устроил в Липне магазин, где принимал от населения глиняную посуду, деревянные бочки и кадки, топорища, холсты и, конечно, яйца, и платил солью. По ходатайству бургомистра, поддержанному Шеффером, он выдавал соль и за деньги, по спискам, по цене один рубль за килограмм. Цена была не маленькая и наживалась на этом организация Цет. О порядочно.

Но липнинцы уже давно привыкли к тому, что деньги ничего не стоят, а соль — золотая валюта, за которую можно достать все на свете, и были благодарны «Шляпе» за то, что он наконец разрешил соляную проблему — самую тяжелую из всех продовольственных проблем.

Появлялись в продаже в его магазине косы, грабли, лопаты, иголки, брошки, бусы, краски для материй, иногда также бывали спички, табак и другие дефицитные товары.

Русские учреждения разрослись так же, как и немецкие. Более года известный всем и каждому Николай Сергеевич Венецкий был бургомистром города Липни и Липнинского арйона, и все считали это в порядке вещей, а теперь вдруг спохватились, что это две разные должности.

Районным бургомистром одна из недолго властвовавших комендатур назначила Петра Михайловича Смолкина, беженца из Подмосковья, где он тоже был бургомистром какого-то небольшого города.

Но в Липне Смолкин не знал ни людей, ни условий района, и не только не облегчил работу Венецкого, но наделел ему множество лишних хлопот.

Из Городского Управления были выделены в отдельные учреждения: Банк, Лесничество, Строительное управление.

В помощь шеф-агроному Старову также придали несколько человек.

И все новые многочисленные начальники и подначальники суетились, спорили, требовали, путали, соперничали, мешали друг другу, а когда с них спрашивали, все как один человек прятались за широкую спину старого бургомистра Венецкого, и Венецкий должен был распутывать и улаживать все то, что как будто бы его уже и не касалось совершенно.

И коренной «хозяин города» исправлял и распутывал, потому что он по-прежнему все знал, все умел и, главное, все любил в своей маленькой Липне.

* * *

Маруся Макова сидела у окна нижнего этажа Крайсландвиртовской конторы и демонстративно читала, показывая всем своим видом, что здесь «внизу», в комнатах, где занимались под начальством Старова русские служащие, ей — переводчице совершенно делать нечего.

Почти год Маруся работала «овен», наверху, на втором этаже, в немецком «бюро». Весь город Липня и все деревенские, бывавшие в городе по делам, знали, что Красландвирте у длинного Шеффера и его помощников работает переводчицей Мария Владимировна Макова, та самая Маруся Макова, что до войны работала на радио. Знали также, что Владимировна — справедливая, что она всегда разберется в деле каждого просителя, всегда правильно переведет, а иногда и умолчит, если немецким ушам лучше не все слышать, иногда сама замолвит словечко, и сельско-хозяйственные коменданты с ней считаются…

Но когда вследствии отступления немецкой армии в Липню наехало множество беженцев, сотрудников немецкой гражданской власти, в Крайсландвирте появилась новая переводчица, Софья Антоновна Штейн, худощавая, остроносая дама лет тридцати пяти, в пальто с лисьим боа и черной шляпке — природная русская немка, до войны преподававшая немецкий язык, и не в какой-нибудь захолустной семилетке, а в институте иностранных языков.

Немцы величали ее «фрау София», она имела документы «фолькс-дойч», получала военный паек и, конечно, занала немецкий в тысячу раз лучше, чем Маруся.

Единственное, в чем липнинская «Владимировна» имела перед ней преимущество — было знание местных условий и местного наречия, которое фрау София вначале не всегда понимала.

Немцы на Марусины грамматические ошибки не обращали внимания — лишь бы понятно было!.. Но фрау София начала ежеминутно, авторитетным педагогическим тоном ее поправлять и довела самолюбивую прежнюю переводчицу до того, что у той в ее присутствии уже язык не поворачивался произнести хотя бы одно немецкое слово.

Наконец, Софья Антоновна тем же авторитетным тоном заявила, что она вошла в курс дела, благодарит Марию за помощь, но теперь она больше в этой помощи не нуждается, и Мария может работать внизу.

Она сразу же повторила эти слова зондерфюреру Шефферу, уже на немецком языке.

Шефер покраснел: он привык работать с Марусей, хорошо ее понимал, и она его понимала, а новой переводчицы, важной дамы, он стеснялся и даже немного побаивался, но возразить не посмел.

— Я, я, Марие, ду канст унтен арбайтен!..

И вот Маруся сидит «унтен» и в сотый раз перечитывает растрепанных «Трех мушкетеров»…

Почти целую неделю она совсем на работе не была: шла первая неделя поста, в церкви служили ежедневно, утром и вечером, и Маруся воспылала неожиданно религиозным рвением и не пропустила ни одной службы.

Но на второй неделе ежедневных служб уже не было, пришлось идти в опостылевший Крайсландвирт.

И самое досадное было то, что прямо напротив нее и тоже без всякого дела, сидела Лидия Пузенкова.

В памятный день пятнадцатого января 1942-го года Лидия совсем не пришла на работу, и с тех пор на крайсландвиртовском горизонте не появлялась.

В их доме, одном из лучших из числа уцелевших, поселились немецкие офицеры — сперва зенитчики, потом жандармы, потом еще какие-то, и наконец — Гехайм-Полицай, и всем им мать и дочь Пузенковы сумели угодить… В то время, когда все население города выгонялось на очистку снега — они ни разу не прикоснулись к лопате; когда все пекли тошнотики — у них не переводились первосортные продукты.

Лидия больше года нигде официально не работала и вдруг неожиданно явилась в Крайсландвирт с направлением из Арбайтс-Амта и еще какой-то маленькой бумажкой.

Видимо, эта-то бумажка и была причиной того, что ее приняли; Маруся — это было еще до появления фрау Софии — постаралась объяснить Шефферу, что это за работник, но тот только махнул рукой и произнес какую-то мудреную комбинацию из глаголов «зитцен» и «лассен», которую Маруся поняла: «пусть сидит, места не просидит»…

И вот Пузенчиха сидит, болтает о всякой ерунде и действует Марусе на нервы…

Дверь в коридор была открыта, рядом с ней находилась лестница наверх, в немецкое бюро; услышав топот шагов и оживленную немецкую речь, Маруся взглянула на эту дверь…

Промелькнула бесконечно-долговязая фигура Шеффера, потом еще несколько человек, лиц она не разглядела — они мелькнули в дверном проеме слишком быстро…

Но вдруг до Марусиного слуха донеслось несколько немецких

слов…

Она вздрогнула и опустила книгу. Что именно было сказано, она не запомнила, но голос показался ей страшно знакомым…

— Что за глупости!..

И она опять стала листать дальше знакомые страницы.

Но минут через пять по лестнице прогрохотали быстрые шаги, как будто кто-то в сапогах бегом спустился сверху, в дверях выросла высокая фигура молодого офицера и послышался веселый голос:

— Дразтутье!

Эрвин!.. Откуда он взялся?…

Его обступили, распрашивали, рассказывали, он всем жал руки, вспоминал имена, смеялся, радостный, шумный, красивый…

Но Марусино сердце стучало так громко, что заглушало даже звучный смех Эрвина. Она стояла в стороне, у окна, она не могла себя заставить вмешаться в общую толпу приветствующих старого знакомого…

Но Эрвин сам увидел ее, оставил всех и подошел к ней.

— Мария!

Его рука крепко и ласково сжала ее дрогнувшую руку…

— Я говорил, Мария, что я вернусь!.. Я свое слово исполнил: я вернулся в Липню!..

И он добавил еще два коротких слова, сказал их так тихо, что нельзя было услышать, можно было только догадаться:

— Цу дир! — к тебе!

А Маруся, никогда за словом в карман не лазавшая, стояла и молчала, и не могла вспомнить ни одного слова, ни русского, ни немецкого…

Только глаза ее говорили и, видно, сказали все понятнее и лучше всяких слов!..

— Мария, ты мне должна показать Липню и все рассказать, что здесь случилось, пока меня здесь не было!..

И он увел Марусю из конторы, повел ее по всем старым и новым «бетрибам», по всему городу. Они были в МТС, на мельнице, на молокозаводе, у старой больницы, на кладбище, у церкви, в городском саду, на развалинах кирпичного завода, около Чертова рва, исходили всю Липню вдоль и поперек и, наконец, уже под вечер, когда у обоих от ходьбы гудели ноги, Маруся показала своему спутнику маленький домик с красной крышей:

— Дас ист майн вонунг!

Эрвин спросил, почему она его не приглашает в свой дом, ведь они старые друзья, и он хочет быть ее гостем…

Через минуту гость вошел в приземистый домик и по неосторожности стукнулся лбом о низкую притолоку…

Ушел он из этого дома, когда над Липней уже стояла полная круглая луна, и с тех пор бывал там почти ежедневно.

* * *

Возвращаясь с работы домой, Венецкий увидел, что у его крыльца стоят сани, запряженные рыжей лошадью.

Лена и высокий мужчина в овчинном тулупе тащили в двери большой мешок.

Подойдя ближе, Николай узнал в госте Прохора Гнутова.

— Здравствуй, Сергеич! Вот, гостинца тебе привез!

— Ну, зачем это? — смущенно пробормотал Венецкий.

— Эх, Сергеич! Будто я не знаю, как ты живешь?… Другой на твоем месте драл бы с живого и с мертвого, а ты только что голодный не сидишь!.. Вот как я был у вас в прошлый раз, Михайловна призналась, что у вас картошка кончается… Ну, я и привез мешок… И мешок-то ваш, тот самый, что Николаевну возил… А ты небось марки свои получаешь, а какой с них толк? Стенки оклеивать? С деньгами сидите и голодаете…

— Нет, Прохор Ермолаич, нам нельзя жаловаться! — возразила Лена. — Люди голодают хуже нас…

— Знаю, знаю, небось у тебя полное лето тошнотики со сковородки не слазили!..

С этими словами Прохор вытащил из саней другой мешок, поменьше; в нем оказалось больше пуда чистой ржаной муки; затем появился кусок свинины килограмма на четыре с довольно толстым слоем сала и в довершение всего большой горлач с кислой капустой.

— А в том мешке, Михайловна, вместе с картошкой еще бурачки есть красные и турнепса… У нас тупнепсы много; Шеффер весной дал семена, ну мы ее и наторкали всюду, чтоб земля не пустовала. теперь и варим, и в хлеб добавляем… Коли понравится, я ее еще привезу.

— Спасибо, Прохор Ермолаич, привезите! — просто сказала Лена, у которой гора с плеч свалилась: теперь, если экономно расходовать, они были на всю весну обеспечены продовольствием…

— Только вот что, хозяева, ночевать я сегодня у вас буду, другого ночлега искать поздно — темнеет. Хотя у меня и есть всякие там аусвайсы, а все равно патрули могут задержать…

— Конечно, у нас будешь ночевать, Прохор Ермолаич! Кому-

кому, а тебе мы всегда рады!..

— Вот и добро!

Прохор скинул тулуп, сел за стол, огляделся и медленно, с расстановкой, начал свою речь.

— Приехал я к тебе, Сергеич, и к твоей хозяйке нарочно: по душам поговорить хочу… Дел у меня собралось невпроворот, а посоветоваться-то и не с кем…

Он помолчал немного и, видя вопросительные взгляды хозяев, продолжал:

— Перво-наперво, растолкуйте вы мне, сколько у нас теперь в Липне комендантов и какой — самый главный?

— На этот вопрос и ответить трудно!.. — сказал Венецкий. — Ортскомендатура сейчас в аптеке; меня туда вызывали несколько раз, но кто у них главный, я сам не могу понять: каждый раз приходилось разговаривать с новым…

— Это ты говоришь — в аптеке?… А те, что в доме, где многолавка была?

— Фельджандармерия? Эти уехали… Теперь там какая-то фронтовая часть и склады.

— Ну, слава Богу, что уехали!.. Эти были самые вредные!..

— Есть и повреднее! — заметила Лена. — Вот в Заготскоте сейчас поселилась «Гехайм-Полицай» — эти будут еще почище жандармерии.

— А кто это такие? Я что-то не понял…

— Тайная полиция!

— Подожди, подожди, МИхайловна! Ты помнишь, русские все писали перед войной, что у немцев есть Гестапо какое-то… Так у нас в Липне оно есть или нет?

— Голубчик, Ермолаич! Сами мы голову ломаем и толку не добьемся: учреждения с вывеской Гестапо — нет; была Фельджандармерия, теперь завелась Гехайм-Полицай, может быть, это и есть Гестапо… Ведь звали же их русские фашистами, а скажи какому-нибудь немцу, что он фашист — он обидится: он — национал-социалист! Возможно, и здесь то же самое…

— Ну, пес с ними!.. А наши-то — Шеффер, и Шлиппе, и Эрвин — кто они такие теперь?

— Крайсландвирт, как и раньше.

— Это значит, сельское хозяйство?

— Да!

— Ну, а «Папа» кто такой?

Лена рассмеялась:

— Паппе — начальник над промышленностью!

— То-то он на мельницу зачастил… Он-то мужик толковый, и по-русски хорошо говорит, только мы все никак разобраться не

могли, кто он такой… Раньше мельницы и маслозаводы были под Крайсландвиртом.

— То было раньше! А еще раньше и комендатура была вместе с Крайсландвиртом, когда было у нас два немца на весь район, они были по совместительству — всем… Вот смотрите!..

Лена показала Гнутову свой старый аусвайс, выданный еще в сорок первом году и подписанный «Шварц СДФ и Ортскоммандант».

— Это тот сивый, что был, когда нас старостами ставили?… Хороший старик был!..

— Очень хороший!.. Потому, вероятно, недолго и продержался!.. А теперь у нас перепроизводство начальников: комендатура отдельно, Крайсландвирт — отдельно, Паппе с промышленностью — отдельно…

— А «Шляпа» кто такой?

— «Шляпа» попросту торгаш; он начальник только над своим магазином.

— Ну, добро!.. «Шляпа»-то хорошо сделал, что к нам приехал: у него хоть соли можно разжиться… А вот кто такой Смолкин? Чего он распоряжается?

На этот вопрос ответил Венецкий.

— А Смолкин — теперь ваше непосредственное начальство — бургомистр Липнинского района.

— Это как так — бургомистр? А ты, Сергеич, кто?

— Под моей командой оставили город Липню, а вам, деревенским старостам, я больше не начальник!

— Ну, это еще как сказать! — проворчал Гнутов, которого последнее сообщение задело больше всего. — Мы-то все по-старому, к тебе, Сергеич… Смолкин этот не знает ничего путем про наши дела, а туда же… А ты с нами был все время, и в голодуху, и в партизанщину!.. Кабы тогда не ты был, а какой-нибудь Смолкин, у нас, может, половина народа передохла бы!..Да, авось, ты у нас и останешься, а все эти Смолкины приехали да и дальше поедут?…

Венецкий улыбнулся.

— Значит, не хотите менять Сергеича?… Все по старой привычке идут ко мне, и я по старой привычке продолжаю распоряжаться и своим, и Смлкинским… Да и нельзя иначе: как все эти новички из сытой местности чего-нибудь намеряют на свой аршин и напутают — сейчас же к Венецкому: распутывай!.. Потому что Венецкий здесь все знает, и его все знают… А право, лучше было, когда было поменьше начальства!..

— Лучше! — согласился Гнутов. — Знали мы коменданта да тебя, Сергеич, и хорошо было… А теперь их развелось больше,

чем при советской власти, не знаешь, кого и слушать… И переводчица теперь новая, да такая нотная!.. Я сегодня пришел к Шефферу, хотел с ним заговорить — я всегда с ним сам по-немецки разговаривал, я же трошки маракую… Так не дает эта баба!.. Тиснется меж нас в середку, чтоб только вот через нее говорили!.. А сама про наши дела — ни бум-бум!.. Владимировна, та с полслова понимала, всегда все расспросит как следует, разберется сама, что к чему, тогда переводит, а что мы сболтнем, а немцам знать не след — то промолчит… А эта, знай, трубит все подряд, как машина заводная!..

— Это все беженцы, Ермолаич; надо же их было к месту определить! — сказала Лена.

— Это верно, приткнуть людей надобе! — согласился Прохор. — Одно только скверно, что уж дуже много они власти забрали, эти беженцы… Но Бог с ними, у меня к вам и другое дело есть: я вам тут кой-чего привез…

С этими словами он приподнял лежавший на сундуке тулуп и вытащил из его бездонного кармана пачку газет.

— «Комсомольская правда» и «Известия»!.. Да они совсем недавние!.. Где вы их достали, Прохор Ермолаич? — удивленно воскликнула Лена.

На столое лежали два номера «Комсомольской правды», один «Известий» и один «Красной звезды».

— Неужто, Михайловна, не догадываешься?… Вороний-то Мох у меня под боком… И «Правда» была, да ее соседи зачитали…

— Значит, в Вороньем Моху опять партизаны? — спросил Николай.

— А они оттудова и не уходили; там у них штаб-квартира обжитая… Летом они тихо сидели, а теперь опять зашевелились… Чуть не каждую ночь то в одну, то в другую деревню заявляются… А днем немцы… Вот я, старый дурак, и кручусь между двух огней… Народу к партизанам ушло — я уже и счет потерял… Сын мой Сашка с ними дружбу водит и меня все агитирует, только мне с ними дружить не в коня корм… А они красных ждут, самолеты к ним часто летают, сбрасывают и оружие, и продукты, и всякое снаряжение… Вот и газеты отттудова… А что это ты, михайловна, за газеты принесла? Немецкие?

— Сводки хочу сопоставить!

Лена положила рядом с советскими газетами Гнутова несколько номеров издаваемой в Днепровске газеты «Новый путь» и стала их сличать.

— Интересно, кто же их них больше врет? — проговорила она. — Противник потерял восемь тысяч человек убитыми, взято

тысяча пятьсот пленных, сбито тридцать самолетов, уничтожено сорок два танка — это немецкая сводка… А русские про то же самое место и то же число пишут: сбит восемьдесят один самолет, уничтожено сто пять танков, вято в плен две тысячи триста человек, убито одиннадцать тысяч восемьсот… И те, и другие подсчитывают только потери противника, а про себя умалчивают… Это сводка за один день… Если эти астрономические цифры близки к истине, то уже давно ни у русских, ни у немцев не осталось бы ничего — ни самолетов, ни танков, ни людей… вообще ничего!..

— А ну, давай, расшифруем астрономию!..

Николай подошел к ней сзади, протянул через ее плечо руку с карандашом и начал отчеркивать запятой по две последние цифры в каждом числе.

— Вот теперь будет правильно, или во всяком случае, похоже на правду! — сказал он.

— … Восемьдесят человек убитых… — читала Лена новую редакцию. — Пятнадцать пленных… Ты уже сделал три десятых самолета?…

— Так и есть: один за три дня!..

— Как из колхозов сводки подавали. — вставил Гнутов. — Вспашут три гектара, а пишут, что тридцать засеяли, а на деле еще и семян не получили… Липа это все!..

Он свернул самокрутку, закурил и замолчал. Лена ушла на кухню готовить ужин, а Николай читал давно невиданные советские газеты.

Когда газеты были отложены в сторону, Гнутов снова заговорил:

— Скажи мне, Сергеич, что ты дальше делать думаешь? Ведь красные в Вязьме, это уже не липа, а сущая правда, а далеко ли от Вязьмы до нас?

Венецкий задумался.

— Мне, Прохор Ермолаич, возврат отрезан! — не сразу ответил он. — В партизаны я не пойду, хотя меня и приглашали…

— Депктат, что ли, звала? Николаевна?

— И Николаевна звала, и еще раньше Николаевны Шмелев ко мне нарочно приходил договариваться, чтоб я им помогал… Я отказался, наотрез отказался, и теперь мне к ним идти милости просить не приходится. Они нас зовут изменниками родины, а я не считаю себя виноватым ни перед людьми, ни перед родиной… Родина огстается родиной, какая бы на ней ни была власть, не обязательно советская… А людям я вреда не делал…

— Да люди-то на тебя и не обижаются!..

— Не знаю, некоторые, может быть, и обижаются: на всех не

угодишь!.. Но с тех пор, как попала мне в руки эта кукольная власть, я все силы кладу, чтоб моим подчиненным жить можно было, чтоб с голоду не дохли!.. И чтоб их меньше вешали и расстреливали… Ко мне люди идут по таким различным делам, что иногда нарочно не придумаешь, и каждый раз приходится голову ломать, выдумывать, как помочь… А тут еще чуть ли не каждый день новое немецкое начальство!.. Только к одному коменданту приладишься, узнаешь, с какого боку к нему надо подходить, — уехал, на его место новый, с новым нравом, с новыми вывертами!.. Как мне тут нелегко приходится — вот она только знает, моя Елена Михайловна!.. Да что об этом говорить!..

— Мне-то говорить можно! — тихо сказал Гнутов. — Ты вот про себя говоришь, а мне сдается, что это все про меня!.. Я ведь тоже на такой самой должности!.. Выходит, мы с тобой на одном курошесте сидим, Сергеич!..

— Оба — изменники родины?

— Ну да!

Оба помолчали, затем Венецкий спросил:

— Говоришь, у твоих соседей народу прибавляется?

— А неужели ж? Теперь все в партизаны захотели: красные-то близко!

— Так!.. Значит, когда немцы красных гнали, они к немцам подмазывались, а как стали красные немцев гнать, — они глядят, как бы примазаться к партизанам!..

— А как же? Нос по ветру!.. Как красные придут, — они правые!

— Ну, нет! Мне к ним идти, да еще перед ними каяться — для них много чести будет!..

— Горд ты, Сергеич!

— Садитесь ужинать! — Лена принесла большую сковородку жареной картошки и тарелку кислой капусты.

— Спасибо, Михайловна!

— Не за что, Ермолаич, это ведь все ваше: и картошка, и сало, и капуста.

Все принялись за ужин.

А после ужина Прохор Гнутов задал Венецкому еще один вопрос:

— А скажи-ка ты мне правду, Сергеич, был ты до войны партейным или нет?.. Про тебя ведь всякое болтают…

Венецкий не стал скрытничать и откровенно рассказал всю историю ареста своего отца, и все, что за этим последовало. Гнутов внимательно слушал, иногда кивая головой и приговаривая:

— Так, так!..

— Вот оно, значит, как ты в нашу Липню-то попал? — сказал он, когда рассказ был окончен. — Не помиловала тебя, выходит, советская власть!.. А, правду-то говоря, и мне ее благодарить особо не за что — чуть-чуть она меня в свое время не раскулачила!.. А, спрашивается, кого это я… как это?… соплотировал?…

— Эксплуатировал?

— Не выговорю я это поганое слово, Сергеич; а вот что оно обозначает — хорошо знаю по собственной шкуре: смолоду батрачить пришлось немало!.. У бати моего, покойника, — помяни его, Господи, не супротив ночи, а супротив светлого дня, — хотя и надел был немаленький, двенадцать десятин, да нас-то у него было четырнадцать!.. Восемь сынов да шесть дочек!.. Вот я и ходил по людям в заработки, и плотничал, и на мельнице работал… По копейке деньги собирал, все хотел заиметь свое хозяйство, чтоб из чужих рук не глядеть, хозяевам не кланяться, чтоб меня, значит, не «експотировали»… Купил я тогда сперва две десятины, потом еще три прикупил… Хату поставил… День и ночь тогда работали, и сам, и баба моя покойница, Настасья Ивановна… А тут война началась… Был я в солдатах, был в плену — там-то я и по немецкому научился… Потом революция была… Только в наших краях особо не было белых да красных, как в других местах… Тихо обошлось… Пришел я тогда из плена, давай опять работать, хозяйство мое на ноги поднимать… Записали меня середняком, и все давай поглядывать, как бы меня в кулаки перевести: у Прохора, мол, и хлеб есть, и сало, и всего до горла!..А почему? С того, что Прохор и за землей, и за скотиной, и за яблоней, и за пчелой, как за малым дитем ухаживал!.. Как пришлось в колхоз идти — двух коней, третью кобылу отдал… Какие кони были!.. И всех троих загубили чужбинщики! — голос его дрогнул…. — Там же, в колхозе, все не мое, дядино, так можно голодом морить скотину!.. А сколько было грызни, сколько бестолочи!.. А как стали с хуторов сгонять, сад мой порубили, двор порушили — я не выдержал, бросил все, в город подался, на строительстве работал… Только как война началась, опять в свою деревню приехал…

Он немного помолчал, потом продолжал:

— Вот как пришлось мне на Украине побывать, там видел я колхохы трошки потолковее наших, а у нас только тому и житье было, кто хорошо красть умел, да за чужую спину ховаться!..

— По существу, сама идея колхоза неплохая… — начал было Венецкий, но Гнутов не дал ему договорить.

— Эх, Сергеич, «идея», «идея»!.. Ты скажи, много ли у нас партийных-то было с идеей? — Николаевна, да Шмелев, да твой

батька покойник — раз, два да и обчелся!.. А то все только норовят, как бы в начальники пролезть, портфель таскать потолще да грошей получать побольше!.. Вот тебе и вся ихняя идея!.. Шкуродеры!

Тут в разговор вступила Лена.

— А, по-моему, в любой партии чисто-идейный состав без примеси шкурничества бывает только тогда, когда эта партия преследуется. До революции коммунистическая партия действительно состояла из идейных людей, хотя между ними было множество разногласий, но в идейности им никак нельзя было отказать!.. Но стоило партии придти к власти — в нее хлынули все те люди, которые везде и всегда принадлежат к правящей партии, какой бы она ни была: в Совесткой России — они коммунисты, в Германии — национал-социалисты, в Англии — лейбористы или консерваторы, в Америке — демократы или республиканцы… И так в любой стране они стремятся проникнуть в ту партию, которая стоит у власти, потому что это выгодно, а вовсе не потому, что они считают эту партию правой!..

— Верно, Леночка! — сказал Николай. — И еще можно добавить: кто шел партизанить в сорок первом году — это идейные люди, и они заслуживают уважения, а кто теперь бежит в Вороний Мох искать партизан, это… — он махнул рукой — … это крысы с тонущего корабля…

— А как ты думаешь, Сергеич, потонет наш корабль? — серьезно спросил Гнутов.

— Во всяком случае, пробоину он получил основательную!

— И когда же, по-твоему, до нашей Липни очередь дойдет?

Венецкий молча пожал плечами.

— Советскую-то власть встречать ты, выходит, не останешься?

— Мало охоты в трибунал попадать!

— Тогда давай, Сергеич, договоримся: коли придется нам с тобой, изменникам-то родины, отсюдова пятки показывать, — вместе поедем? Я тоже не останусь!..

— Хорошо, Прохор Ермолаич!..

Глава 23
Между двух огней

Вторая военная зима отвеяла метелями, оттрещала морозами; стало пригревать солнце, наступила оттепель, снег таял, по улицам стояли большие лужи.

После довольно долгого спокойного периода темной мартовской ночью снова послышался над Липней гул самолетов.

— Маруся, Маруся! — тормошила свою крепко спавшую дочь Анна Григорьевна. — Русские летят!.. Вставай, пойдем в окоп!..

— Да ну его, окоп! — сквозь сон пробормотала Маруся. — Там воды полно, в окопе… Столько раз уже бомбили — мы целы оставались, и теперь ничего нашей хате не сделается!..

Она все-таки встала, надела платье, поискала боты, но вспомнив, что они сушатся на печке, за ними не полезла, а сунула ноги в туфли; затем накинула на плечи платок и вышла на крыльцо — посмотреть бомбежку.

Два военных года выработали у нее бессознательную и бессмысленную уверенность, что их и ихнего дома бомбежки почему-то не касаются.

Но на этот рах очередь дошла и до них.

Маруся стояла на крыльце и смотрела, как стреляют по самолетам зенитки, которые размещались на горке, совсем близко от их дома; в темноте вспышки выстрелов и полет пуль были ярко видны…

Ей стало холодно в одном платье и туфлях на босу ногу, и она уже взялась за ручку двери, чтоб войти обратно в дом, как вдруг эта дверь подскочила, ударила ее по руке и по голове, в глазах сверкнуло пламя, и последнее, что дошло до ее сознания — был грохот, слишком сильный, чтобы быть хорошо слышным…

Сколько времени она пролежала без сознания, она не знала; ее привел в чувство жгучий холод в правом боку и правой ноге.

Ей было трудно открыть глаза, и пошарив рукой, она как сквозь сон сообразила, что лежит в большой луже, что была у ворот… А сверху на нее почему-то веяло теплом и очень хотелось спать…

Стучало в голове, звенело в ушах, страшно хотелось покоя, но несносная ледяная лужа жгла и кусала холодом мокрый бок…

… Если бы не эта досадная лужа, можно было бы хорошо выспаться… — мелькали у нее в голове обрывки мыслей. — И угораздило же попасть прямо в лужу!.. Как будто на всем дворе нет другого места!..

Маруся с трудом, лениво приподняла веки…

В ту же секунду она была уже на ногах…

Дом пылал как огромный костер, пламя вырывалось из окон, лизало крышу… Вот, оказывается, откуда веяло теплом…

— Мама! — крикнула Маруся.

Но ее голос потонул в шуме пожара, гуле самолетов, тявканьи зениток… Она бросилась на поиски матери в сарай, в окоп, обежала вокруг пылавшего дома…

Везде было пусто…

Тогда она взбежала на крыльцо; в сенях было полно дыма, но огня еще не было.

— Мама! Мамочка! Где ты?!

Маруся сунулась в дом, отскочила назад, опять сунулась… Дым ел ей глаза, перехватывал дыхание. Языки огня лизали ее платье…

В комнате горел пол, горела висевшая на стене одежда, стол, кровать…

Маруся тоже, вероятно, сгорела бы, если бы добралась, как хотела, до кровати матери, но она недалеко от входа, около печки, наткнулась на неподвижное тело…

— Мамочка!..

Маруся с зажмуренными от дыма глазами нащупала руки и платье и волоком потащила мать из горящей хаты; не отстанавливаясь, она втащила ее в ту самую лужу, в которой недавно лежала сама и принялась тушить на себе и на матери тлеющую одежду.

Она думала, что Анна Григорьевна без сознания.

Она почти ничего не видела: ночь была очень темная, а главное, ей разъело глаза дымом, она их протирала, мочила ледяной водой…

Но вот с треском провалилась крыша, столб огня взметнулся к небу и осветил все вокруг…

Тогда Маруся увидела, что ее матери не было половины головы… Она вытащила из огня мертвое тело…

У нее опустились руки…

Неизвестно, сколько времени просидела Маруся на обгоревшем бревне, глядя на мертвую Анну Григорьевну и догорающий дом. Небо на востоке посветлело, самолеты улетели, зенитки замолчали, все стихло…

Неожиданно около догорающего домика остановилась легковая машина, и из нее кто-то вышел; до Марусиного слуха донеслись какие-то немецкие слова, но смысл до ее сознания не дошел.

— Еще немца какого-то принесла сюда нелегкая! —

прошептала она про себя.

Но «какой-то» немец назвал ее по имени, положил ей руку на плечо, она подняла глаза и узнала Эрвина.

И веселая, никогда не унывавшая Маруся горько-горько разрыдалась.

Она, как сквозь сон, чувствовала, что Эрвин поднял ее, крепко обнял, гладил по голове и ласково утешал, как ребенка.

Он помог спрятать в сарай мертвую Анну Григорьевну, потом подвел Марусю к машине и тут только, при свете фар, разглядел, что она на холоде совсем раздетая, в одном мокром прогоревшем платье и туфлях на босу ногу.

Он быстро снял шинель, завернул в нее девушку, посадил ее рядом с собой в машину и взялся за руль.

Через десять минут Маруся уже сидела в пустой Крайсландвиртовской канцелярии, крепко прижавшись к печке и подвернув под себя ноги; ее бил сильнейший озноб.

Эрвин притащил ей одеяло, шерстяной свитер, носки, давал какие-то порошки, мазь от ожогов, поил горячим кофе с мятными лепешками.

Она натянула свитер, закуталась в одеяло, пила, всхлипывая, кофе, а Эрвин сидел с ней рядом; все время он что-то говорил ей, ласковое, доброе, говорил по-немецки, на этот раз он, против своего обыкновения, не сказал ни единого русского слова, но Маруся поняла решительно все, даже такие слова, которых она никогда не слыхала ранее.

Она доверчиво прижалась головой к его плечу и затихла.

Эрвин рассказал, что, когда начался налет, он отправился не в подвал, как другие, а на чердак, оттуда из окна, с высоты двухэтажного дома открывался вид на всю Липню и, в частности, прекрасно был виден маленькый переулок среди выгоревших пустырей, и в переулке низенький домик с красной крышей, где жила Маруся, и где он не раз бывал, как гость и друг.

С чердака он увидел пожар и, хотя не мог в темноте определить, какой именно дом горит, как только стихла бомбежка, он спустился вниз, никому не говоря ни слова, вывел из сарая машину и поехал в знакомый переулок.

Маруся начала приходить в себя. Было уже утро, и она живо представила себе, что скоро соберутся все ее сослуживцы, будут сочувствовать, расспрашивать, любопытничать, ахать, а она была в таком состоянии, что совершенно не смогла бы отвечать на вопросы… Особенно, если заявится Пузенчиха… А она, Маруся, в рваном платье, которое наполовину сгорело, на лице и на руках вздулись пузыри…

— Аленушка, подружка! Единственный человек, которому не

совестно показаться в таком виде!..

И по ее просьбе Эрвин снова посадил Марусю, на этот раз крепко закутанную, в машину и отвез ее к подруге раньше, чем в Крайсландвирте появился кто-либо из служащих.

Лена переодела ее в свою одежду, привязала к ожогам тертой картошки и уложила в постель. Ожоги стали спадать, но к вечеру у нее поднялась температура, и она совсем разболелась.

Когда через два дня хоронили Анну Григорьевну, Маруся через силу встала и пошла в церковь и на кладбище, но после этого ей стало еще хуже.

Она проболела почти целый месяц.

* * *

Чем ближе к Липне подвигался фронт, тем усерднее работала Гехайм-Полицай.

Почти каждый день кого-нибудь арестовывали; ни виселиц, ни публичных расстрелов, как в прошлом году, теперь никто не видел, но люди исчезали бесследно.

Так бесследно исчез шеф-агроном Анатолий Петрович Старов; никому в голову не могло придти, что этот человек, всецело занятый селецкионными опытами, мог иметь какое-то отношение к партизанам, но тем не менее, его вежливо пригласили… и на следующий день на его место был назначен агроном Волков из беженцев.

Шеффер сделал вид, будто ничего не случилось; Эрвина в ту пору в Липне не было, он приехал дней через пять.

Узнав об исчезновении шеф-агронома, он вспыхнул и бегом помчался в грозное учреждение; вернулся он оттуда хмурый и злой и на расспросы о Старове сквозь зубы ответил:» Цу шпет, эр ист шон вег!»

Венецкий нервничал, даже начал снова изредка курить. Сперва он курил только в отсутствии Лены, но однажды она его застала на месте преступления.

Он покраснел как школьник и поспешно выбросил папиросу.

— Извини меня, пожалуйста, как-то так вышло! — виновато пробормотал он.

Но Лена на этот раз не стала его ни упрекать, ни высмеивать.

Она подошла к нему молча, крепко обняла и прижала его голову к своей груди.

— Леночка, радость моя! Здездочка ясная!

— Сколько у тебя седых волос! — тихо сказала Лена, гладя его голову. — Скоро ты совсем седой станешь!..

— Тогда буду солиднее выглядеть, а то люди говорят, что я слишком молод для бургомистра! — пошутил Николай.

Но вскоре его ждало испытание, которое тоже прибавило ему немало седых волос.

В Городское Управление явился немецкий солдат и вежливым, но недопускающим возражения тоном пригласил бургомистра в Гехайм-Полицай.

В учреждении, из которого почти никто не возвращался, Венецкого встретил немец в чине обер-лейтенанта и переводчик с погонами фельдфебеля; около двери стоял еще один солдат.

Переводчик говорил по-русски чисто и правильно, хотя, конечно, до фон Штока ему было далеко.

Накануне в Липне, около самой станции, был подорван и спущен под откос состав с немецкими войсками и оружием. От взрыва сильно пострадали соседние дома, среди населения было несколько человек убитых и раненых.

О потерях среди немцев никто, конечно, русскому бургомистру не сообщал, но по всем признакам они были не маленькие.

— Кто взорвал поезд?

— Не знаю! — ответил Венецкий.

Обер-лейтенант подскочил на стуле и застучал кулаком по столу.

— «Нье знайю, нье знайю!» Вас ист дас «нье знайю»? — дальше последовали совершенно непонятные слова, пересыпанные ругательствами.

— «Не знаю» — дас ист: «их вайс нихт»! — спокойно сказал бургомистр, как будто его всерьез об этом спросили, и он с готовностью отвечает.

Неизвестно, понял ли обер-лейтенант насмешку, но рассердился и раскричался он пуще прежнего; переводчик несколько раз пытался вставить слово в его стрекочущую речь, но безуспешно.

Наконец, он выкричался и затих.

Тогда заговорил переводчик.

— Обер-лейтенант говорит, что бургомистр должен знать, кто это сделал!

— У меня никто разрешения взрывать поезда не спрашивал! — ответил Николай.

— Но поезд взорвали в Липне, а вы бургомистр Липни, вы должны знать своих людей!

— Своих-то людей я знаю, а вот люди, которые поезда взрывают, мне подчиняться не хотят, следовательно, они вовсе не мои: партизаны немецкого бургомистра не признают за

начальство.

— Подождите! — прервал его переводчик. — Если это сделали не жители города, а партизаны, то все равно, в городе у них должны быть сообщники.

Венецкий только пожал плечами.

Переводчик передал его слова своему начальнику, и обер-лейтенант, который уже успел несколько успокоиться, долго что-то говорил. Венецкий напряженно вслушивался, стараясь хоть что-нибудь понять, но напрасно: ему еще не приходилось встречать немца, который говорил бы так невнятно; пришлось дожидаться переводчика.

— В городе есть люди, имеющие родственников среди партизан, — миролюбиво заговорил переводчик. — Эти родственники, конечно, им помогают. Нам очень трудно найти этих людей, но это необходимо. Много сообщников партизан помог нам выявить шеф-полицай Лисенков, но его население не любит, с ним откровенно не говорят; вы, напротив, пользуетесь большой любовью и доверием жителей города… Вам много легче было бы узнать, кто именно держит связь с партизанами…

Он приостановился, вопросительно глядя на бургомистра, но видя, что тот молчит, продолжал:

— Германское командование щедро наградит вас за услуги… Вы в чем-нибудь нуждаетесь?… Во всяком случае, вам выпишут военный паек. Мы знаем, что в Липне плохо с продовольствием. Шеф будет ходатайствовать о награждении вас орденом, если вы поможете нам изловить эту шайку…

Он замолчал и посмотрел вопросительно.

Тогда заговорил Венецкий, заговорил медленно, нарочито спокойным, даже безразличным тоном:

— Пять лет тому назад мне пришлось побывать в ГПУ… Вы знаете, что это слово означает? — Переводчик утвердительно кивнул головой. — Мне там тоже предложили тогда сотрудничать в качестве шпиона и провокатора… А, когда я отказался, мне пришлось потерять работу, уехать на другой конец России, чтоб скрыть свое прошлое, и вообще неприятностей было очень много, но о своем отказе я никогда не жалел… Переведите, пожалуйста, все дословно!

Переводчик перевел и перевел правильно: он говорил разборчиво, и Николай мог следить за переводом, но оба немца еще не поняли, почему бургомистру вздумалось рассказывать им совсем не относящиеся к делу события пятилетней давности.

— Да, ГПУ — неприятное учреждение! — посочувствовал переводчик. — Если вы будете помогать нам, вашу помощь сумеют оценить, как следует!

— Я за пять лет нисколько не изменился и по-прежнему в шпионы не гожусь, ни в советские, ни в немецкие, так что награждать меня не придется!..

Переводчик смутился.

— Подумайте! Ваш отказ может иметь для вас нехорошие последствия!

— Отказ пять лет назад тоже имел нехорошие последствия!..

— Подумайте!

— Я прошу вас перевести обер-лейтенанту слово в слово то, что я сказал! Иначе мне с ним придется объясняться самому, а я говорю по-немецки плохо!

Когда смысл слов бургомистра дошел наконец, до обер-лейтенанта, тот с криком вскочил и замахнулся, чтобы ударить в лицо нахального русского, посмевшего поставить на одну доску Гехайм-Полицай и советское ГПУ…

Но Венецкий успел перехватить его руку.

На лице у уже немолодого немца было несколько шрамов, свидетельствовавших о том, что в дни своей юности он умел фехтовать и не любил спускать обид.

Но когда его рука оказалась в железных клещах, он понял, что один на один он никогда бы не справился с этим нахальным бургомистром, который, видимо, тоже не любит спускать обиды и может дать сдачи и тем поставить его, немецкого офицера, в неловкое положение.

Обер-лейтенант закричал и Венецкий понял, что он приказывает его арестовать.

Солдат, стоявший около двери, и переводчик схватили его за плечи, но он ловко вывернулся из их рук.

— Ихь хабе ди бейне унд кан геен зельбст! — бросил он солдатам и, повернувшись к обер-лейтенанту, резко спросил:

— Вохин?

* * *

Эту ночь бургомистр Липни провел в темном чулане, отделенном от комнаты, где его допрашивали, дощатой перегородкой со щелями, которые были единственными источниками света.

Чулан был завален всяким хламом; тут была поломанная мебель, рваная одежда и обувь, разбитые ящики, обрезки досок, и даже два неошкуренных березовых креста, видимо, приготовленных для чьих-то могил.

Николай лежал на досках, подложив руки под голову, и

думал. Немцы из соседней комнаты давно ушли, было уже за полночь, а сна у него не было ни в одном глазу…

… — Значит, кончено!.. Завтра он бесследно исчезнет, как уже исчезали многие… А что следует за этим исчезновением — смерь или лагерь?… Или еще что-нибудь?… Право, если ьы смерть, это было бы лучше!..

Он почти пожалел о том времени, когда повешенные открыто висели на липах и березах, а под липами и березами в снегу валялись растрелянные…

Тогда все было проще, не было неизвестности…

— Да, попался, господин губернатор!..

Сегодня, когда кончается второй год войны — он преступник с обеих точек зрения: для русских он — изменник родины, для немцев — укрыватель партизан…

Хрен редьки не слаще!..

… — Лишь бы Лену не тронули!.. Леночка моя любимая!.. Голубка моя, солнышко ясное!.. Спасибо, родная, за любовь!.. За эти два года, такие трудные и такие счастливые!.. Никогда уже тебя не увижу!.. Прощай!.. Только бы тебя не коснулась эта напасть!.. Знает ли она, куда его вызвали?… Ведь они с утра не виделись.

Он вспомнил, что хотел сегодня отправить на пекарню список на новых беженцев, но список был еще не перепечатан, и он его не успел подписать…. Потом вспомнил, что староста Громовского сельсовета, не застав Шеффера, просил его, именно его, Сергеича, а не Смолкина, устроить, чтоб к ним прислали трактор, так как у них совсем нет лошадей… Потом о доме на Заречье, который следует отремонтировать… Потом о кирпичном заводе, который начали восстанавливать…

Десятки и сотни дел хозяина города, которые возникали ежедневно…

Он вдруг почувствовал, что страшно устал от всех этих крупных и мелких ежедневных дел…

… Больше ничего не будет! Кончено!..

* * *

Утром черех стенку опять послышались голоса: резкий и невнятный — обер-лейтенанта, тихий и отчетливый — переводчика и еще чей-то хрипловатый бас.

Затем хлопнула дверь, и послышался еще один голос — мягкий, звучный, показавшийся очень знакомым…

Пленник не старался понять, что говорили немцы: ему было

все равно, им овладело спокойствие и безразличие обреченности…

Но вот до его слуха долетело слово «бюргермайстер», он прислушался: обладатель знакомого, звучного голоса что-то горячо доказывал обер-лейтенанту.

— Да ведь это Эрвин! — вдруг узнал Николай.

За ночь он полностью примирился со своим положением и приготовился встретить неиз бежное спокойно и твердо, и был спокоен и тверд. Но при звуке Эрвинова голоса беспокойная надежда уколола в сердце, заставила его заколотиться… Он хотел отогнать эту непрошенную надежду, но она не хотела уходить…

Спор продолжался долго. До Венецкого долетали только отдельные слова. Что говорил шеф тайной полиции, конечно, разобрать было невозможно, но из слов Эрвина он кое-что понял.

Сперва долетело «айнер рихтигер манн», потом «абер вир браухен им» и, наконец, нервно «фернихтен, аллес фернихтен, абер золль иманд арбайтен». Дальше ничего нельзя было разобрать, потом послышалось еще «майне айгене копф» и почему-то «майн онкель»…

Затем все стихло — видимо, говорившие вышли из комнаты.

Прошло еще томительных полчаса, показавшиеся Николаю длиннее всей минувшей ночи; снова послышались шаги, щелкнул замок, и Эрвин перешагнул порог чулана.

— Абер комм мит, Никлаус!.. Арбайт!.. Генуг шлафен! — весело проговорил он и самолично вывел узника из заключения.

Очутившись на улице, Эрвин снял фуражку, вытер вспотевший лоб и быстро заговорил по-немецки; Когда он волновался, он забывал, что его могут не понять, и почему-то именно тогда его все понимали…

— Они всех хотят вешать, всех расстреливать, всех отправлять в лагеря… А кто же будет работать?… Он бы тебя ни за что не отпустил, если бы не «майн онкель»…

— Абер варум онкель? — удивленно спросил Венецкий.

— О, майн онкель ист айн гроссер манн!.. Мой дядя — большой человек!

И Эрвин назвал какую-то важную должность из трех бесконечно длинных слов.

— Если бы не дядя, я бы тоже сидел в окопах и стрелял по партизанам… Он мне сказал, что я должен быть офицером, а я ответил, что не хочу стрелять в людей, которые мне ничего плохого не сделали… Эр хат мир гезагт: ду мусс айн официр зайн, и унд ду вирст виртшафтен!.. Унд ихь вин айн Крайсландвирт…

Вскоре в Липнинском районе организовали несколько

государственных имений, которые должны были служить для местных крестьян образцом правильного ведения сельского хозяйства… По-немецки они назывались «Штаатсгут», а русские по старой привычке начали их величать «совхозами».

Начальником одного из таких «совхозов» — в деревне Столярово Ломакинского сельсовета, был назначен Эрвин Гроссфельд; беспокойного крайсландвирта, который совался в комендантские и тайно-полицайские дела, да еще совал туда вместе с собой своего высокопоставленного дядюшку, постарались сплавить подальше.

А еще через несколько дней Маруся Макова сказала Лене:

— Ну, поповна, спасибо тебе за приют!.. До свидания!.. Уезжаю!..

— Куда?

— Нах Штаатсгут Штольярово альс дольмечерин… Пусть здесь фрау София заправляет, а я и в деревне буду хороша!..

* * *

Бургомистру города Липни снова пришлось взяться за неотложные хозяйственные дела. Сперва у него руки не подымались что-либо делать: во время своего заключения он отрешился от всех забот.

Но жизнь требовала, и Венецкий взял себя в руки и снова стал, как прежде, «хозяином города». О ночи, проведенной в Гехайм-Полицай, он рассказал только Лене.

Однажды, когда он уже начал забывать эту неприятную историю, неожиданное посещение напомнило ему о ней.

К нему пришла Фруза Катковская.

— Ты один, Сергеич? — осведомилась она. — Давай крючок заложим, у меня к тебе секретные разговоры.

И, закрыв дверь на крючок, она подршла к столу Венецкого, пододвинула стул и села напротив.

— Знаешь, чего я пришла? Предупредить тебя хочу, чтоб ты был поосторожнее!

— Насчет чего?

— Перво-наперво, берегись моего черта! Это он постарался, упек тебя в Гехайм-Полицай! — это название Фруза произнесла, как настоящая немка. — Он от злости чуть не сдох, когда тебя Эрвин выручил оттудова; кабы не Эрвин, поминала бы тебя твоя Михайловна за упокой!.. Но все равно, он на тебя зубы точит, не сегодня, так завтра опять подведет какую-нибудь каверзу — стоишь ты ему поперек дороги… А еще у вас у всех под боком

сучка сидит, подсаженная: Лидка!.. Она все к гехайм-полицаям бегает и на всех докладывает, кто что сказал да кто что подумал — затем ее и подсунули. Петровича, шеф-агронома, она угробила… Так что гляди, Сергеич, в оба… Эрвин теперь в деревне, спасать тебя некому…

— Спасибо, Константиновна… Но как же так выходит? Муж твой на меня зубы точит, а ты меня против него предупреждаешь?

— А неужели ж? Это же гад ползучий, а не человек! И чего я, дура набитая, с ним только спуталась?… Будто без него мужиков мало!.. И хлеб у меня был, и всего вволю, а вот дернул же черт с чертом связаться!.. Сама теперь себя ругаю!.. Хорошо еще, что в церкви не повенчались, не взяла греха лишнего на душу!.. Ему же кортит, чтоб каждому напакостить! Я так не люблю! Я, если на кого зла, так поругаюсь, может, и в морду дам, но доносить не пойду!..Зачем? Может, я с тем человеком еще помирюсь?… А этого злыдня хлебом не корми, только дай кому-нибудь свинью подложить!.. А меня теперь ревновать вздумал, дурак!.. И дети мои ему, поганцу, мешают!..Будто он не знал, что у меня дети!.. И что с немцами гуляла, попрекает!.. А на днях мужем моим родным попрекнул, что тот у русских, в красной арми… А сам он моему Пете в подметки не годится — тот человек был, а он — сволочь!..

— Так, так! — покачал головой Венецкий. — Играли свадьбу, а теперь, видно, придется вам развод выписывать?…

— И разведусь!.. Что, я лучше его не найду?.. Вот уедет он в Белоруссию, а я тут останусь!..

— А он в Белоруссию собирается?

— Ну, да!.. То все с имением своим носился, с Шантаровым, хвалился, что его немцы помещиком сделали, а теперь, как фронт близко подошел, и про имение забыл, давай проситься, чтоб в Белоруссию его перевели, от фронта, значит, подальше…

— А ты, Константиновна, не хочешь ехать?

— А чего меня понесет? Тут у меня дом, дети, хозяйство, никуда я из Липни не пойду!

— А если русские придут и тебя заберут в НКВД?

Фруза рассмеялась.

— В НКВД?… Ну и пускай забирают!.. Подержат и выпустят!.. Кто в НКВД работает? — Мужики!.. А мужики до баб народ падкий!.. Я любому мужику так глаза протру, что он станет шелковый!..

— А вдруг несговорчивый попадется? Вроде меня?

Фруза переменилась в лице.

Она минуту помолчала, внимательно посмотрела на Николая и неожиданно вытерла глаза концом платка.

— Эх, Сергеич, Сергеич!.. Ну чего ты не мне достался? С тобой-то я бы и в Белоруссию, и в Германию, и куда хочешь пошла бы!.. И чем только тебя твоя монашка приворожила?

И заметив, что брови Венецкого угрожающе сдвинулись, она поспешила добавить:

— Знаю, знаю — из плена она тебя взяла!..А чего это мне мое сердце не подсказало в тот час да на тот самый угол выйти, когда тебя в плен гнали!..

— Константиновна! Да у меня же не было тогда на лбу написано, что я буду бургомистром!.. Ты же уже после того, как я из плена пришел, собиралась помогать Баранкову меня вешать!..

Фруза не обиделась.

— Значит, не веришь мне? — задумчиво спросила она. — Что ж, может, ты и прав: кабы ты не был бургомистром, я бы на тебя и не поглядела… А слушай, помнишь, как мы с тобой на елке плясали?

— Помню!

Ревновала тогда тебя ко мне твоя Михайловна?

— И не подумала! Она знает, что я ее ни на кого не променяю!

Фруза задумалась, а через минуту встала и тихо проговорила, направляясь к двери:

— Ну, прощай, Сергеич!

Глава 24
Розы в цвету

— Аленушка! Поповна моя милая! Здравствуй!.. Сто лет тебя не видала!..

Подруги крепко расцеловались. Затем Лена чуть отступила и окинула гостью внимательным, несколько удивленным взглядом.

Маруся после отъезда в Столярово не была в Липне более месяца.

Тогда, после бомбежки, пожара, трагической гибели матери и тяжелой болезни, она была по собственному выражению похожа на «смерть копченую», а теперь, после месячной разлуки, она поразила подругу своей красотой.

Никогда еще, ни до начала войны, ни позже, не была Маруся так хороша: было в ней что-то новое, яркое, цветущее, ее черные глаза искрились, с лица не сходила светлая радостная улыбка; трудно было поверить, что это та самая Маруся, которая лежала здесь, в комнате Лены, больная, обожженная, простуженная… Перемена была поразительна.

Способствовал этому впечатлению и новый наряд: все прежнее Марусино имущество сгорело, и она поехала отсюда в одном из стареньких, довоенных платьев Лены. А теперь на ней была шелковая блузка с вышивкой, очень хорошо сшитая, очень к ней шедшая, новый темно-синий костюм, жакетка с юбкой, явно заграничного происхождения, также прекрасно сидевший на ее стройной фигуре, на ногах — новые туфли, тоже не русского образца.

Отросшие после довоенной завивки волосы она теперь закладывала валиком на черную ленточку, а спереди и по бокам лица вились короткие кудряшки, и никто бы не догадался, что они такие короткие, потому что обгорели на пожаре; на левой щеке и на подбородке, если присмотреться, еще заметны были темные пятна — следы ожогов, но даже они не портили ее ослепительной новой красоты.

— Какая ты красивая стала! Даже трудно поверить, что это ты! — сказала Лена.

Маруся звонко рассмеялась в ответ и стала от смеха еще лучше.

— Красивая? Правда? Значит, Эрвин не врет, что я — «ди шенсте им ганцен вельт»! Лена!.. Я тебя так давно не видела — пойдем к нам… ко мне! Непременно! Я по тебе соскучилась!..

Лена согласилась: ей давно уже хотелось побывать в

Столярове.

Маруся переночевала в Липне, и на следующее утро обе подруги отправились в путь.

Погода была чудная, дорога ровная, и пройти пешком девять километров не представляло большого труда.

На небе сияло весеннее солнце, плыли редкие белые облака, и заливались жаворонки; на полях ярко зеленела молодая трава, а везде, где удалось хоть что-нибудь посеять, подымались дружные всходы.

Когда Маруся и Лена отошли от Липни километра три, их обгнал на велосипеде Виктор Щеминский.

— Привет начальству! — крикнул он, придерживая велосипед. — Куда это вы собрались? В Столярово?

— А куда же еще? Ко мне домой!. - отозвалась Маруся.

— Чего же это вы пехтурой? Есть же машина в Крайсландвирте, и лошади есть!..

— Витя! Да разве в такую погоду ездят на машинах? — сказала Лена.

— Так вы ради прогулки? Тогда понятно!..

Виктор еще с полкилометра ехал рядом с ними, обмениваясь короткими фразами, и только когда ему пришлось свернуть в сторону, на другую дорогу, он нажал на педали и помчался вперед.

— А мне Витьку жаль! — задумчиво проговорила Маруся. — Хотя он был и беспутный, а, все-таки, неплохой парень, а теперь, в Лисенковской полиции, сделался окончательной дрянью…

Лена молча кивнула головой, но потом возразила:

— Но ведь он помогал освободить Евдокию Николаевну и Вуликеса тоже…

— Ну, еще бы ему не помочь освободить Евдокию Николаевну! — воскликнула Маруся. — Сколько она с ним в школе возилась! Он был ее любимец и ее горе! А за Вуликеса он золото взял!..

А Витька тем временем крутил педали своего велосипеда и ворчал про себя, вспоминая недавних попутчиц:

— Черт их знает, чего они такие красивые! Обе ведь бабы, не девки… Одна Сергеечева жена, другая Эрвинова любовница… И ничто их не берет — ни мужья, ни война, ни голодовки… Цветут как майские розы! А моя Зинка куда моложе их, а совсем драной кошкой сделалась… Скоро станет хуже Шурки-покойницы…

И невдомек ему было, что настоящая любовь всякого человека, особенно женщину, всегда красит, а страх и слезы — уродуют… Не понимал он, что Зина после страшной ночи, когда он ослепил и убил Шурку, стала его смертельно бояться, и этот

страх за полгода супружества иссушил и обесцветил ее красоту.

* * *

Раньше, чем пойти домой, Маруся повела Лену по обширному Столяровскому хозяйству.

Они осмотрели конюшню, коровник, свинарник, птичник, огород, фруктовый сад, маленький маслозаводик, потом отправились на поля.

Всходы везде были прекрасные — густые, ровные, дружные: для Столяровских показательных полей не жалели ни семян, ни удобрений, ни машин, ни рабочих рук.

Маруся все показывала и обо всем рассказывала, как хозяйка, и рассуждала с видом знатока о пахоте, севообороте и других земледельческих делах.

— Ты уже, кажется, настоящим агрономом сделалась! — заметила Лена.

— А неужели ж — как в Липне говорится!.. Не хуже тебя, голубушка!.. У тебя — задыпанный наш липнинский техникум, а у меня — практика!..

— У Эрвина научилась премудрости?

— Яволь!.. Он очень хороший хозяин; у него в Германии прекрасная ферма.

— А знаешь, в Липне длинные языки говорят, что ты за Эрвина замуж вышла?..

Маруся сразу стала серьезной.

— Ну, «замуж» — это, положим, ерунда: во-первых, немцы не имеют права жениться на русских, у них это каким-то дурацким законом запрещено, тем более, что Эрвин — офицер… А, во-вторых, у него есть «ферлобте брауд», очень славная и хорошенькая…

— А ты ее разве видела?

— У него более десятка ее карточек, и все с трогательными надписями… Ее зовут Ханнелоре, они уже четыре года обручены…

Маруся слегка призадумалась, потом весело тряхнула головой, сверкнула глазами и рассмеялась.

— А ведь Ханнелоре-то в Германии, а Германия далеко, а здесь у него — Мария!..

— Значит, все-таки, это правда?

— А что?… «Ганц эгаль криг»!.. ты, небось, бургомистра на себе женила, а мне чего же отставать?… Мне подымай выше — зондерфюрера!..

Несколько минут подруги шли молча по узкой, заросшей травой дорожке между ржаным полем и клеверищем.

— А знаешь, Лена, шутки в сторону! — неожиданно горячо и серьезно заговорила Маруся. — Пускай существует на свете Ханнелоре, пускай существуют всякие там идиотские арийские законы — а я его люблю!.. Раньше я со многими дурачилась, и многих дурачила… И влюблялась, и в меня влюблялись — и все это была одна дурь!.. А его люблю!.. И знаю теперь, что можно любить по-настоящему, как в романах пишется, как любит, вероятно, на тысячу один человек!.. И знаю, что он стоит любви!.. Вот ты говорила, что я стала красивая? Верно — теперь я красивая!.. А какая я была, когда мама погибла — ты же помнишь?… Беленькими-то нас каждый полюбит, а вот черненькими… Я была хуже головешки, горелая, мокрая, грязная, черти могли перепугаться — а Эрвин как раз тогда сумел меня любить!.. И за то, что он меня тогда, страшилу страшную, шинелью укручивал и кофеем поил — люблю его! И буду любить, пока он со мной!.. А расстанемся — не упрекну, не приревную!.. Всего доброго, всего самого лучшего пожелаю ему и его Ханнелоре!.. Она милая, она его любит, и он ее тоже… Но пока он со мной, я не стану от своего счастья отказываться!.. Оно слишком редко на свете встречается…

Они подходили к небольшому, новенькому дому, построенному в тени высоких лип и окруженному кустами роз и жасмина.

— А вот и «Штаасгут Штольярово»! Милости просим! И сам хозяин нас встречает!..

Эрвин стоял на крыльце, как всегда, веселый, приветливый, красивый; он встретил подруг своим неподражаемым «драстутье» и первой, как гостье, пожал руку Лене и пригласил ее в дом, но Лена заметила взгляд, которым он поверх ее головы обменялся с Марусей, ласковый, теплый взгляд, в котором светилась такая любовь, что у Лены исчезли все сомнения в Марусиной правоте: да, Эрвин заслуживает любви и сам любить умеет!

Этой любовью дышала вся обстановка дома, каждая мелочь: и лежавшие на столе вперемежку русские и немецкие книги, и Эрвиновы носки на подоконнике, из которых один был заштопан, а в другом еще торчала иголка с ниткой, и карандашный портрет Маруси, сделанный рукой Эрвина; на этом портрете хромала перспектива, неправильно было освещение, но сходство было удивительное и хороша была Маруся на портрете, как сказочная царевна — видимо, такова она была в глазах художника.

— Я вчера Эрвина без ужина оставила, а сегодня без завтрака: проторчала в Липне… Надо хоть обед сварить… Ты поможешь

нерадивой хозяйке, Аленушка?

И Маруся, подвязав хорошенький пестрый передник, отправилась вместе с подругой на кухню заниматься хозяйством.

— Я ведь здесь на все руки: дольмечерин инд виртшафтсфюрерин, сам и пашет, и орет, сам и песенки поет, — продолжала она болтать, быстро очищая картошку. — А знаешь, ведь Эрвин был на Украине, его оттуда не отпускали, а он все-таки добился, чтобы его опять назначили в Липню!..

— Ради тебя?

Маруся вспыхнула, улыбнулась и чуть заметно кивнула головой; в эту минуту на плите что-то закипело, и она бросилась снимать крышку.

— Кстати, ты не знаешь, где находится город Шариков? — спросила она, снова усаживаясь за картошку.

— Город Шариков? Никогда про такой не слыхала!

— Вот и я не слыхала, а Эрвин уверяет, что он там быо и это большой город…

Эрвин, услышавший из соседней комнаты знакомое слово, из-за которого у него с Марусей было много споров, явился на кухню и вмешался в разговор.

— Я, гроссе штадт, шене шдадт Шариков… Мария глаубт нишьт, абер ишь дорт зельвст гевезен…

Лена внимательно прислушалась к его выговору, на который она раньше не обращала внимания, и вдруг засмеялась.

— Чего ты, поповна?

— Да неужели же ты не поминаешь? Ты прислушайся, как он говорит: «ишь зельбст», «глаубт нишьт»… Он же шикает, твой Эрвин!..

— Ну, шикает!.. Половина немцев шикают еще хуже его!..

Маруся как будто даже обиделась за Эрвина.

— И ты не сообразила, что такое Шариков? Да это же Харьков!

Тут рассмеялась Маруся; она хохотала до слез, не отставал и Эрвин, которому, наконец, объяснили, в чем дело: он, как очень многие немцы, выговаривал букву «цх» не как «х», а как мягкое «ш», а город Харьков какой-то немецкий грамотей с другим произношением обозначил на карте, начиная с этих букв.

— Ты знаешь, Лена, я тебе еще не рассказывала, — заговорила Маруся, несколько успокоившись. — У нас с ним на днях столько смеху было: пришла одна баба, бестолковая ужасно… уже не помню, что ей надо было… Но, когда она ушла, Эрвин вдруг заявил «дизе фрау дурак!».. Я говорю:» Фрау канн нихт дурак зайн, блос айн ман!»… А он мне тогда:» Унд ви ист ди фрау? — дуракишка?»…

— Ду зельбст маленьки дуракишка! — сказал Эрвин, ласково обнимая Марусины плечи. — Ришьтиг? — обратился он к Лене. — Правда?

— Ришьтиг! — подтвердила Лена, тоже слегка шикая.

После обеда Эрвин ушел на какое-то далекое поле, а подруги уселись на скамеечке перед домом.

— Он целые дни на полях пропадает, — рассказывала Маруся про Эрвина, и видно было, что о нем она может говорить без конца. — Он так дюбит хозяйство, что его хлебом не корми, а только дай «виртшафтен»…

— А, по-моему, сегодня он ушел нарочно, чтоб не мешать нам говорить по душам…

Маруся на это не ответила.

Лена посмотрела на далекий горизонт, где за Столяровскими полями тянулась темная зубчатая стена леса. Это был тот же самый Вороний Мох, что и во владениях Гнутова, только с другой стороны.

— А про лесную советскую власть у вас здесь не слышно? — спросила она.

— Про партизан? Нет, у нас пока тихо! За дальнейшее, конечно, нельзя поручиться: здешние рассказывают, что зимой они много раз приходили в деревню.

— Как бы теперь не пожаловали!

— Эрвин говорит, что его партизаны не тронут, потому что его не за что убивать: он русским вреда не делает…

— Вряд ли партизаны станут в этом разбираться; достаточно, что он немец, да еще в придачу — офицер…

— Ну, будем надеяться, что они вообще сюда не придут!..

— Я часто думаю о том, что заставляет этих людей партизанить? — немного помолчав, снова заговорила Маруся. — Когда на вашем чердаке сидела Евдокия Николаевна, я к ней один раз лазала, ты помнишь? Так вот тогда она звала меня в лес, очень горячо убеждала, напоминала, что я — комсомолка… Я, конечно, отказалась, и очень этим ее огорчила… Но иногда мне кажется, что если бы я в первый приход немцев не застряла бы в Липне — я тоже могла бы попасть в партизаны…

— Чем же тебе это застревание помешало?

— Пришлось за время застревания хорошо познакомиться с немцами и убедиться, что большинство из них никакие не злодеи, а самые обыкновенные люди… Заметь, что сначала у нас еще не слышно было ни про жандармов, ни про гехайм-полицаев — это тыловые организации, они фронта не любят, а тут фронт был под носом… А ведь та же самая Евдокия Николаевна сталкивалась с немцами только на допросах, а так просто, по-человечески,

никогда ни с одним немцем не говорила. Вероятно, в лесу таких большинство… Мне кажется, они даже боятся увидеть в каком-нибудь немце не отвлеченное понятие, а просто живого человека, боятся, что тогда может ослабеть их ненависть, а с ней и боевой пыл… А мы к немцам привыкли… Они уже стали «нашими»… И даже когда, уже после этой привычки, они вешали и расстреливали, и пленных голодом морили — мы не особенно и возмущались, мы воспринимали это как стихийное бедствие, просто — «дас ист криг», а во времена «крига» дорого ценятся соль, спички, иголки, а человеческая жизнь — товар совсем не дефицитный и очень дешевый… И нас с тобой, поповна, могли не раз пристукнуть под горячую руку и тоже списать на «ганц эгаль криг»… А там, в лесу сидя, конечно немцам всякое лыко в строку ставят, учитывают каждого убитого, да, кстати, и тех, что от русских бомбежек погибли, тоже немцам в счет поставят…

Лена сидела и внимательно слушала, не прерывая ни единым словом.

Маруся продолжала свою неожиданную исповедь.

— А, кроме того, меня многому научил «месяц советской власти» в Липне в сорок первом, когда на меня смотрели как на черта, если я говорила правду, и жалели и соболезновали, если я притворялась… Я тогда в советской России почувствовала себя отверженной, отщепенкой какой-то… А, если бы я не переходила из рук в руки, да если бы сразу, прежде, чем я с немцами дружбу свести успела, подвернулся мне кто-нибудь вроде Евдокии Николаевны, — возможно, и я пошла бы в лес и там взрывала бы мосты и подстреливала немцев…

— А теперь?

— Теперь я «изменница родины» твердо и окончательно. Я служу у «врагов», люблю «врага» и ни о каких поворах руля разговора быть не может!.. Иногда грустно бывает: ведь в начале войны я мечтала о подвигах во славу коммунистической родины… Но мои корабли сожжены, и угольков от них не осталось!..

* * *

В тот же самый вечер Виктор Щеминский вернулся домой из поездки в деревню Дятлово, где стояла немецкая воинская часть и несколько десятков русских полицаев.

Открыв дверь своего дома, он увидел, что за столом рядом с Зиной сидит какая-то женщина.

— Кого там еще принесло? — подумал он с досадой.

— Явился наконец! А ну, иди, иди сюда, дай на себя поглядеть, каков ты в полицайской одеже? — услыхал он знакомый голос, и высокая, моложавая, еще красивая сорокапятилетняя женщина встала ему навстречу.

— Мама! Как ты сюда попала?

— Как сюда попала? Ногами, сынок, притопала!.. Ты бы хоть поздоровался, ведь почитай, полтора годика не виделись!

— Ну, здравствуй! — буркнул Виктор.

— Видно, не рад матери-то? А я к тебе через все заставы, через всех патрулей пробралась, чтоб сыночка дорогого повидать!..

— Ну, чтоб только «повидать», не стоило и ноги бить!.. Если дело какое есть?

Антонина Петровна загадочно усмехнулась.

— У меня и дело есть!

Виктор вопросительно посмотрел на мать.

— А дело такое, что надо с глазу на глаз!.. Так что ты, дорогуша, — обратилась Щеминчиха к Зине. — Не обижайся на меня, а куда-нибудь пойди, пока не стемнело, а я с сынком побеседую… Да смотри: никому ни слова, что я тут!..

Зина покорно ушла.

Антонина Петровна села напротив сына и долго смотрела на него внимательным, чуть насмешливым взглядом.

— Ну, чего ты уставилась? — вспылил Виктор. — И Зинку зачем-то выгнала… Говори, чего пришла?

— Ох, горе ты мое! — вздохнула мать. — Так вот слушай: ты тут в полицаях служишь, а я тем временем в лесу, в партизанском отряде работаю; хоть поварихой, да у партизан! И сестра твоя Надя в партизанском госпитале работает…

— Чего вас к ним черт понес?

— Дурак ты, дурак! Дубина!.. Не знаешь ты что ли, что немцев везде бьют?… И под Москвой побили, и под Сталинградом… Русские уже Вязьму взяли…

— Это я знаю… У нас из Вязьмы есть беженцы…

— Беженцы, беженцы! — передразнила его Антонина Петровна. — Дурья твоя голова!.. Что же ты дальше делать собираешься? Липню русские возьмут — а тебя, дурака, куда? Ты же полицай, да не какой-нибудь завалящий, а с карателями ездил, с жандармами, да говорят люди, что ты наших расстреливал?…

— Ну, и расстреливал!..

Виктор сидел хмурый и злой.

— Ну, расстреливал! — повторил он. — Ты же сама, когда в первую зиму приходила, говорила, что я хорошо сделал, что в полицаи устроился…

— Да когда это было?!.. Ты соображаешь или нет? Тогда же, в первый-то год, немцы наших били, мы и думали, что, может, они и насовсем останутся… А теперь по всему видать, что их скоро попрут к чертовой бабушке!.. И ты со своим полицайством останешься на бобах!.. Глядеть надо!.. У кого сила — того и держаться!.. Я же потому к тебе и пришла, еле отпросилась у нашего капитана… Спасти тебя хочу, пока время есть!..

— Это еще как «спасти»?

Антонина Петровна встала, выглянула в сени, нет ли там лишних ушей, и снова подошла к сыну.

— Идем в лес! — проговорила она, понизив голос. — Я тебя проведу и все устрою!..

— Это к партизанам твоим идти? Они же меня на первую же осину вздернут…

— Не вздернут!.. Я договорилась!.. Я со всеми командирами знакома… Ты небось тут все про немцев знаешь…

— Ну, знаю…

— А нашим сведения нужны позарез!.. Ты перейдешь к нашим, сообщишь сведения… А когда красные придут, ты уже будешь в партизанском отряде… А что ты в полицаях был, как-нибудь замажем…

Когда, часа через два, уже в темноте, вернулась Зина, дверь была раскрыта настежь, и дом был пуст.

* * *

В двери дома, где жил столяровский комендант, послышался осторожный стук.

— Заходите! — крикнула Маруся.

Вошел пожилой мужик маленького роста, в лаптях и заплатанном пиджаке.

— Здравствуйте! — проговорил он, нерешительно переступая с ноги на ногу и стаскивая с головы линялую кепку.

— Здравствуйте! Коменданта нет!

— Да мне не коменданта!.. Мне переводчицу тутошнюю надобе… Марусей звать…

— Ну, это я! В чем дело?

Мужик посмотрел на нее тусклым, недоверчивым взглядом, будто сомневаясь, что ее могут звать Марусей, откашлялся и полез во внутренний карман своего пиджака; там он оторвал зубами какую-то нитку, отпорол подкладку; все это он делал так медленно, что Маруся начала терять терпение.

— Ну, что там у тебя, дядька?… Давай сюда!.. Что ты

копаешься?

— Письмо тебе!..

И он подал небольшой лоскуток бумаги, сложенный чветверо и сшитый суровой ниткой.

Пока Маруся искала ножик, чтобы разрезать эту нитку, медлительный и неповоротливый посланец вдруг, с молниеносной быстротой исчез, как сквозь землю провалился.

Маруся распечатала, наконец, письмо, взглянула и вздрогнула.

«Маковой Марии.

Люди говорят про тебя, что ты продалась фашистам, работаешь у них переводчицей, помогаешь врагам нашей советской родины, предаешь наших людей. Еще говорят, что ты живешь с немецким комендантом, как — следовало непечатное слово. Но я всему этому не верю, я считаю, что ты по-прежнему наш советский человек и комсомолка!

Мы, партизаны, народные мстители, записали тебя в список тех, кто должен быть казнен, как изменник родины. Даем тебе срок до четверга; убей своего чертова гитлеровца и скройся в лесу, а когда мы придем в Столярово, присоединишься к нам, и тебе все прошлое будет прощено. Если же ты не убьешь его, мы сами его укокошим, и тебя с ним вместе. Так докажи, Маруся, что ты не сволочь немецкая!

Твой бывший друг Андрей Новиков.»

Долго неподвижно сидела Маруся над этим письмом; ее душила жестокая обида: курносый Андрюшка, влюбленный в нее по уши Андрюшка, над которым она смеялась, с которым играла — этот самый Андрюшка осмелился ей написать такое письмо!.. И эта обида заслонила собой мысль об опасности.

Но вскоре она сообразила, что письмо Андрея было не только оскорблением — это было предупреждение…

Ей ставили ультиматум, давали срок до четверга, а сегодня был понедельник!..

— Интересно! — подумала она. — Сообщил ли Андрюшка своему партизанскому начальству, что он послал немецкой переводчице такое письмо?

Хлопнула входная дверь, и послушался голос Эрвина, напевавшего свою излюбленную песню:

— «Штрана мойя, Москва мойя, ти самайя льюбимайя!»

Маруся торопливо спрятала письмо и сама рассмеялась над своей поспешностью: Эрвин-то читать по-русски не умеет!..

Весь день Маруся не находила себе места.

— До четверга!.. Срок до четверга!.. А что они сделают в четверг? — Нападут на Столярово?… Это сделать легче легкого:

во всей деревне нет ни одного немецкого солдата, даже ни одного полицая… Беззаботный Эрвин держит себя так, будто он не в двух шагах от Вороньего Мха, а у себя на ферме в Германии.

Днем он пропадает на полях, волнуется из-за какого-то сорняка, самолично хватается то за трактор, то за плуг, то за навозные вилы, болтает со столяровскими девками на своем неподражаемом русском языке, какого и нарочно не придумаешь, смеется, шутит, поет советские песни, отчаянно перевирая слова… А когда зайдет солнце, тогда он забывает все: Россию и Германию, отдаленный артиллерийский гул войны и лебеду на льняном поле — он помнит и знает только ее одну… «Мария», «Марусья», веселая, кудрявая, русская девушка, околдовавшая сердце молодого офицера германского вермахта!..

Как легко было бы ей выполнить партизанский ультиматум! Легко было бы и убить, и обезоружить, и связать его, и выдать кому угодно!.. — он верил каждому ее слову, каждому взгляду!.. Оо любил ее!.. Несколько раз Маруся хотела рассказать все Эрвину и предупредить его, но…

Всего неделю тому назад в Столярово пригнали под конвоем огромную толпу крестьян с детьми, вещами и скотом; их разместили на ночлег в столяровских сараях.

Конвойные не подпускали к этим людям местных жителей, но ее, переводчицу, они сами пригласили, чтоб помочь объясниться…

И Маруся узнала, что это были жители четырех деревень Дементьевского района, соседнего с Липнинским, и согнали их с места — по словам начальника конвоя — «чтоб спасти от партизан», а по словам самих путешественников — «потому что фронт уже подходит»…

На следующее утро их повели дальше, а вечером того же дня немцы пригнали назад и сдали в столяровское хозяйство их скот и сказали, что хозяева скота уже погружены в вагоны на соседнем полустанке Нежинка и отправлены в Германию.

И Маруся живо представила себе, что может получиться, если известие о полученном ею письме пойдет сперва в Крайсландвирт, потом в военную комендатуру и, наконец, дойдет до тайной полиции: немцы, по своему обыкновению, не станут разбирать, кто прав, кто виноват, а разгромят и угонят, куда Макар телят не гонял, ни в чем неповинных столяровцев, и тут вряд ли поможет даже сам могущественный Эрвинов «онкель»…

А если даже не тронут жителей, а просто сделают в Столярове засаду на партизан? — Тогда погибнет Андрюшка… Хотя он и больно оскорбил ее, но все-таки он ей доверился!.. Погибнут его товарищи, а там немало хороших людей… Это тоже

предательство!..

И она Эрвину ничего не сказала.

* * *

Прошел вторник, прошла среда…

И наступил четверг!..

Был ясный солнечный день, такой яркий, теплый, чудный!.. Раз в десять лет бывают такие дни…

Солнце сияло, рассыпая щедрые лучи и на поля, и на деревья, и на свежезастекленные окна столяровского дома, пробивалось сквозь дырочки и щелки и протягивалось во все темные закоулки блестящими паутинками, легкий ветерок шелестел ярко-зеленой молодой листвой деревьев и чуть трепал волосы сидевшей на крыльце Маруси.

В палисаднике распустились розы, темно-красные и темно-розовые, и бледщно-розовые, и белые; еще вчера Эрвин нарвал и преподнес ей огромный букет, и сегодня эти розы, стоявшие в глиняном горлаче на подоконнике раскрытого окна, так весело выглядывали на улицу, как будто спрашивали свою хозяйку: почему ты такая грустная?…

У Маруси было тяжело на сердце: она так ничего и рассказала, так ничего и не предприняла…

Накануне вечером Эрвин вскользь заметил, что следовало бы поехать в Липню, и Маруся ухватилась за эти слова. — Да! Надо его отправить в Липню, и самой вместе с ним поехать. Постараться задержать его в городе на несколько дней!.. Ей казалось, что если минует роковой четверг, то минует и опасность…

Сегодня утром они уже совсем собрались ехать, но пришел агроном Миша Федоренков, сказал что-то про заливные луга на берегу Ясны — и Маруся не успела оглянуться, как он увел с собой начальника штаатсгута. Маруся только в окно увидела две фигуры, удалающиеся в сторону полей: высокий Эрвин в распахнутом кителе, без фуражки, с блестящими на солнце золотыми волосами, и маленький Миша в серой кепке, надвинутой на глаза, с козой на руках.

Она хотела бежать вслед, остановить Эрвина, но тут мимо проехала телега, Эрвин и Миша ее остановили, вскочили в нее и рысью помчались под горку.

Теперь уже догнать было невозможно!

— Ладно!.. Сейчас, днем, ничего не случится! — подумала Маруся. — А на обед он приедет, и поедем в Липню.

И она принялась готовить обед.

Но Эрвин на обед не приехал; вероятно, его зазвал к себе обедать, как уже не раз бывало, староста Иван Филлипыч, отец Миши-агронома.

Поездка в Липню не состоялась.

Чем выше поднималось в ослепительно-голубом небе солнце, тем больше нервничала Маруся, а когда полдневное светило начало потихоньку скатываться к закату, у нее на душе стало чернее темной ночи.

Всю вторую половину дня она просидела на крыльце, упорно глядя на запад: там были поля, за ними заливные луга, а дальше вдоль всего горизонта тянулась черно-синяя полоса леса — Вороний Мох, где давно и прочно обосновались партизаны…

От реки повеяло вечерним холодком, над черной полосой леса протянулась оранжевая полоса заката; солнце село прямо на зубчатые верхушки старых елок, и только, когда его последние лучи погасли в дебрях Вороньего Мха, на дороге показался всадник.

Эрвин спрыгнул с лошади около крыльца, усталый, запыленный, но как всегда веселый, и сообщил, что сегодня начали косить заливные луга, и что трава там замечательная.

— И ты косил? — спросила Маруся.

— Яволь! — отозвался Эрвин, полоскаясь под висевшим на заборе русским рукомойником, который у него назывался «вашмашине» и всегда очень его забавлял.

Вымывшись, он стал рассказывать все события минувшего дня.

Он косил наперегонки с «гросс Миша», огромным парнем из Нового Столярова, которого звали большим в отличие от Миши-агронома.

В начале перевес был на стороне Эрвина, но косцы стали поддразнивать Мишу, что он за немцем согнаться не может; Миша буркнул, что кабы он ел, как немец, масло и яйки, он бы показал, как косят, а сидя на одном щавеле, не стоит и стараться.

Эрвин, задетый за живое, пообещал ему масла, яиц и мяса, если он его обгонит, и тогда Миша так нажал, что как ни старался столяровский комендант, но все равно остался далеко позади.

Обещание он честно выполнил: тут же на поле написал распоряжение о выдаче победителю килограмма масла, десятка яиц и двух килограммов мяса; торжествующий Миша немедленно отправился получать свой выигрыш.

Эрвин весь вечер рассказывал про прошедший день, но Маруся его почти не слушала: она думала об ультиматуме.

Неожиданно она крепко обняла Эрвина, но не со смехом и

шутками, как обычно, а молча…

Эрвин почувствовал что-то неладное.

— Что случилось, Мария? — спросил он по-немецки, заглядывая ей в глаза.

— Будь осторожен! Сегодня тебя могут убить! — отчетливо проговорила Маруся по-русски.

Эрвин не понял и попросил перевести, но она отрицательно покачала головой и упорно несколько раз повторила по-русски:

— Сегодня срок! Они предупредили меня! Они хотят тебя убить! Будь осторожен!

Эрвин внимательно вслушивался, стараясь понять, но уменье на лету схватывать значение незнакомых слов именно сегодня его покинуло.

— Партизанен? — наконец догадался он.

Маруся не сказала «да» и даже не кивнула головой, только ее длинные ресницы на секунду прикрыли глаза и опять поднялись.

Эрвин молча отошел в сторону, зарядил револьвер и положил его в карман.

Больше на эту тему между ними не было сказано ни одного слова.

Поздно вечером Эрвин попросил Марусю спеть ему что-нибудь.

Это не раз бывало и раньше; он всегда внимательно слушал русские песни, и многие из них уже довольно хорошо знал и подпевал, и Маруся всегда смеялась, а иногда сердилась, когда он перевирал слова. Иногда роли менялись: Эрвин пел немецкие песни, а Маруся их учила и перевирала.

Но сегодня она запела песню, которую он еще не слыхал ни разу.

— «Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!..»

Эрвин сидел напротив нее и слушал, непривычно серьезный и внимательный; он чувствовал, что сегодня смеху и шуткам нет места…

— «Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет…»

Голос Маруси зазвенел страстной тоской и вдруг сорвался…

Эрвин встал, подошел к ней и крепко обнял.

— Ихь либе дихь, Мария! — сказал он. — Филляйхт, кайне

некстe маль, некстe нахт…

Если бы Маруся Макова дожила до ста лет, она никогда не забыла бы этой последней ночи…

Но ей не пришлось ни помнить, ни забывать!..

Когда летнее солнце, спрятавшееся в чащах Вороньего Мха, обогнуло шар земной и осторожно выглянуло из-за холма с противоположной стороны — в соседней комнате раздался оглушительный взрыв: партизаны бросили гранату, но по ошибке не в то окно…

Эрвин вскочил с постели, с револьвером в руках бросился к окну и выстрелил в человека, в руке которого была высоко поднята вторая граната.

Партизан упал, граната покатилась в сторону по мокрой росистой траве, а из соседнего пышного куста цветущего жасмина протрещала автоматная очередь…

Эрвин на секунду замер на месте, высоко подняв руку с зажатым в ней револьвером — и тяжело рухнул на пол; по его белой рубашке стали быстро расплываться темно-красные пятна.

Падая, он задел рукой стоявший на подоконнике букет, кувшин упал и разбился вдребезги, а пышные яркие розы рассыпались по полу…

Маруся бросилась к Эрвину, подняла его голову…

— Эрвин!.. Милый!.. Хороший!.. Очнись!.. Вставай!.. Да отвечай же!.. — повторяла она, повторяла по-русски, совсем забыв о существовании немецкого языка…

Она с треском рванула его окровавленную рубашку и увидела поперек его груди несколько круглых ранок с аккуратными, одинаковыми промежутками…

Только успела она понять, что Эрвин никогда не очнется и не ответит ей, что он убит наповал, как запертая дверь затрещала под ударами чего-то тяжелого, и в комнату ворвалось несколько вооруженных человек.

— Ах ты, сука, подстилка немецкая! Сволочь!.. — крикнул первый из них, увидев около убитого немца русскую женщину; второй добавил еще более похабные ругательства…

Маруся выпрямилась; в ее руке сверкнул револьвер Эрвина.

— Не подходи!.. Убью! — крикнула она звенящим голосом. — Сами вы сволочи!.. Гады!.. Он хороший был!.. Лучше вас всех!..

Она выстрелила, но промахнулась; и сразу же ее скосила автоматная очередь. Она упала на труп Эрвина.

— Маруся!.. Марусенька моя!.. — прозвучал в ее ушах чей-то странно знакомый голос, и все в ее сознании стихло и погасло…

— Васька, что ты сделал?!.. Маруся, радость моя!.. Любимая, родная!.. Маруся, не умирай!..

Над холодеющим телом веселой, красивой, любимой Маруси отчаянно рыдал Андрей Новиков.

— Ты что, ошалел, что ли, Анррюшка? Это же немецкая сволочь! Она же с этим немцем спала!.. В нас стреляла, да еще обозвала, гадюка!.. Стреляла в своих за немца!..

— Это Марусенька моя!..

Через несколько дней в деревне Дятлово был взорван немецкий склад с боеприпасами.

Около места взрыва обнаружен был труп молодого партизана, видимо, не успевшего отбежать.

Кто-то из местных опознал его и сказал, что это бывший моторист с липнинского льнозавода, звали его Андрюшкой, а фамилия, кажется, Новиков.

Глава 25
Последний путь

В зелени деревьев замелькали первые желтые листья; на деревенских полях и на пустырях и пожарищах города люди жали тупыми серпами, резали ножами и ножницами рожь и ячмень — урожай нынешнего года, надежду предстоящей зимы; во дворах стучали, выколачивая зерна, деревянные вальки.

Шел август тысяча девятьсот сорок третьего года — третий военный август…

Однажды утром, когда Венецкий шел на работу, его обгнала машина, в кузове которой сидели немцы и полицаи с оружием, а в середине несколько связанных арестованных.

— Привет губернатору! — долетело с этой машины.

Венецкий вздрогнул: он узнал этот голос, узнал и самого крикнувшего.

Витька Щеминский! Все-таки, попался!.. Не повезло на этот раз удачливому парню!..

Неделю перед тем, во время очередной бомбежки, была разбита в щепки немецкая тайная полиция и сгорела русская — явная… Как по заказу, в одну и ту же ночь!..

Оба учреждения перебрались в большой, недавно отремонтированный дом, позади Городского Управления.

У Николая Сергеевича в этот день почти не было работы — теперь это часто случалось — и он, вспоминая о встрече с Виктором, несколько раз поднимался на второй этаж и смотрел из окна в конце коридора: из этого окна был хорошо виден весь полицейский двор.

Около двух часов дня он увидел, как на этот двор, залитый ярким солнцем, вывели из полиции трех человек со связанными руками.

Двоих Венецкий не знал, третий был Виктор.

Его одежда была в крови и изорвана, глаз заплыл большим синяком, но держался он бодро, несколько фатовато, шел в развалку и даже насвистывал; казалось, будто его руки не связаны, а просто заложены за спину.

Один из его спутников, бородатый мужик угрюмого вида, шел молча, склонив голову и глядя в землю, другой, белобрысый молодой парень, спотыкался на каждом шагу и дрожал мелкой дрожью.

Немецких конвоиров не было, вели аретованных полицейские под командованием Лисенкова. Сам «Шантаровский помещик» в

новенькой, щегольской форме, с зеленой ленточкой немецкого ордена, шел впереди всех подпрыгивающей походкой и нервно крутил в руках наган.

Виктор заметил лица в окнах соседних домов, понял, что на него люди смотрят, и громко свистнул.

Лисенков нервно вздрогнул и обернулся.

— Еще и свистишь, паскуда! — и, добавив полный список непечатных слов, он со всего размаха ударил Виктора по лицу; тот пошатнулся, но удержался на ногах и выплюнул выбитые зубы.

— На том свете Фридман новые вставит! — громко сказал он, слегка шепелявя.

— Становись к стенке! — пронзительно закричал Лисенков, указывая на полуразбитую кирпичную стену, которая только и осталась от давно разрушенного дома.

Пожилой мужик спокойно и неторопливо встал к стене, как будто ожидая не расстрела, а какой-нибудь самой обыкновенной ежедневной работы, вроде косьбы или пахоты.

Белобрысый парень, лязгая зубами, прижался к мужику и бормотал что-то непонятное.

Виктор решил еще немного поломаться.

— Не «становись», а «становитесь»! Ты, Вася, невежлив и малограмотен! Следует сказать: «Пожалуйста, сановиетсь, господа партизаны!»

— Молчать! — голос Лисенкова перешел в визг.

Виктор вздохнул и скорчил постную рожу.

— Я же и в могилке намолчаться успею!.. Дайте мне попрощаться с белым светом!..

И он начал кланяться в разных стороны.

— Прощайте, друзья-приятели, господа-товарищи!.. Прощайте все, с кем дружил и с кем водку пил!.. А с тобой, Вася, я не стану прощаться — не стоит: мы скоро у чертей с тобой увидимся, будем вместе одну сковородку лизать!.. А сковородка вкусная, горяченькая, красная, шипит!..

— Да становись ты, черт! — прохрипел начальник полиции.

Но Виктор видел, что остальные полицейские его насильно к стенке не тащат — не то из невольного уважения к его смелости, не то просто любопытствуя поглядеть, что он еще выкинет, ведь не каждый же раз расстрел превращается в такой спектакль!

И он медлили; может быть, он надеялся на чью-то неожиданную помощь, а вернее, просто хотел сыграть покрасивее свою последнюю роль.

— Прощай, мать-земля родная! — воскликнул он патетическим, актерским голосом. — Пропала моя буйная

головушка!..

И вдруг резко изменив тон и сделав страшные глаза, заговорил скороговоркой, глядя в упор на Лисенкова:

— А тебе, Василий Данилыч, сволочь всесветная, скоро капут будет, капу-ут!..

Полицейские смеялись: Лисенков в Бога не верил, но был очень суеверен, и все это знали.

Услышав, что над ним смеются, Лисенков рванулся вперед, но Виктор заметил это злобное движение и предупредил его: новые побои никак не входили в его расчеты, и он сразу перестал ломаться.

Он быстро подошел к стене, стал рядом с дрожавшим парнем, высоко поднял голову, картинно выпрямился и улыбнулся, искренне жалея, что из-за выбитых зубов улыбка получается кривоватой.

— Ну, стреляй, братва! — звонко крикнул он. — Не жалей немецкие патроны!.. Вставай, проклятьем заклейменный!..

Его голос забрался на неимоверную высокую ноту и сорвался… Но, все-таки, он умирал с пеньем!..

Послышалось несколько нестройных выстрелов. Пожилой мужик и белобрысый парень упали; Виктор продолжал стоять невредимый.

… — Весь мир голодных и рабов!..

Прозвучал одинокий револьверный выстрел, пуля пробила лоб Виктора выше брови…

Секунду он еще стоял, потом покачнулся и упал ничком, лицом в пыльные лопухи…

Эту пулю всадил в голову своего бывшего дружка и соратника Василий Данилович Лисенков.

Это был его последний подвиг на посту начальника полиции города Липни: на следующий день было удовлетворено его многократное ходатайство о переводе в Белоруссию, подальше от надвигавшегося фронта.

Он поспешно уехал, оставив в Липне и Фрузу Катковскую, и первую колхозную жену, и несбывшиеся мечты о помешичьем житье-бытье на собственных двадцати гектарах земли под сенью Шантаровского фруктового сада.

* * *

На деревьях становилось все больше желтых листьев, на полях торчала колючая стерня, кое-где уже начинали копать картошку.

Август кончился, шел сентябрь…

С востока на Липню надвигался фронт, уже не партизанский, не местного значения, надвигался большой фронт, последний, окончательный…

Все ближе и ближе бухала артиллерия, гуще шли беженцы, чаще бесследно исчезали люди…

Бургомистр города среди дня, в неурочное время, вернулся к себе домой.

Он вошел в комнату большими шагами, с досадой швырнул на стол фуражку, сел боком на первый попавшийся стул и тяжело облокотился на его спинку.

Лена была уже дома; она сидела у окна, мрачная, нахмуренная, против своего обыкновения, без всякой работы в руках.

Несколько минут оба молчали.

— Ну, вот и все! — прервал, наконец, Николай это молчание. — И до нас очередь дошла!.. Отступают!.. Крайсландвирт уже уехал… Сейчас грузится машина около военной комендатуры… Все воинские части немецкие снялись с места…. Сегодня, или завтра сюда пожалует красная армия!..

Лена ничего не ответила; Николай продолжал с горькой усмешкой:

— Бургомистр города Липни честно доиграл свою роль до последней реплики и может удалиться со сцены!.. Мы, дураки, на что-то надеялись, вероятно, на то, что перед самой Липней пройдет новая граница, и война окончится… Глупо, конечно, но такая мысль иногда, действительно, приходила в голову, хотя все уже было слишком ясно!.. Теперь остаются два выхода: или уходить всед за немцами, куда глаза глядят, или… или встречать с поклоном победителей и каяться в своих прегрешениях…

— А ты умеешь каяться? — прервала его Лена.

— Сумел бы, если бы действительно был виноват!.. А разыгрывать раскаяние — не умею, да и уметь не хочу!.. Пускай сажают в тюрьму, в трибунал, расстреливают — каяться я не стану!.. Не в чем!.. Дважды из одного лагеря в другой переходить не приходится!..

Лена насмешливо улыбнулась.

— Чтоб перейти обратно в советский лагерь, надо, чтоб туда приняли! — сказала она. — А ты опоздал, господин мэр! Тебя звал Шмелев, звала Козловская — ты отказался! А теперь поздно: мы с тобой «изменники родины», и нам никто и ничто не поможет, даже те, кому мы помогали! Даже если кто-нибудь из них рискнет за нас заступиться, им все равно не поверят!..

— Значит, уходить? В беженцы?… А кому мы там, в этих

беженцах, нужны будем?

— Конечно, никому! Но что же делать? Это закон природы… «Горе побежденным!» Но, все же, ты делай, как хочешь, а я предпочитаю уйти!

Она встала и выпрямилась… Венецкий только теперь заметил лежавший на полу чемоданчик и небольшой узелок.

— Леночка! Неужели ты думаешь, что я могу остаться, если ты уйдешь?…

Николай хотел сказать еще что-то, но в это время в окно снаружи постучали кнутовищем.

— Сергеич! Открой ворота, да поскорее, а то на улице коней отберут! — послушался глубокий бас Гнутова.

Ворота распахнулись; во двор въехали две телеги, запряженные небольшими, но крепкими лошадьми; одной из них правил сам Прохор, другой его жена Дарья Николаевна.

— Собирай вещи, Михайловна!.. А ты, Даша, перекладай все наше барахло на кобылу, а коня им освободим!.. Только один мех с хлебом им оставишь!..

— Ну, Сергеич, я свой уговор выполнил! — обратился он к Венецкому. — Вместе в беженцы поедем!.. А я так и думал, что ты все о людях, да о работе, а для себя ни коня, ни подводы не припас?

— Не припас! — виновато улыбнулся Венецкий. — Михайловна моя уже собиралась пешком идти…

— А, может, и пришлось бы!.. Я ведь еле проехал: немцы не хотели пропускать, все гнали мимо Липни, прямиком на Бахметьевский большак… А у самого города чуть коней не забрали, хорошо, что я трошки маракую по-немецки… Давай сюда, Михайловна, грузи — конь здоровый…

— А Сашка, мой сын-то, остался в хате; красных решил дожидать, — продолжал Гнутов, помогая выносить вещи. — Он все с партизанами дружбу водил, ехать не захотел и меня все уговаривал… Только мне оставаться не с руки…

Меньше чем через час из ворот выехали две нагруженные подводы.

Лена заперла дверь на большой замок и зашла к соседке.

— Если Матвеевна или Титыч вернутся — отдадите, — сказала она, отдавая Паше Иголкиной ключ от дома.

* * *

Венецкий отошел от подводы на обочину дороги, остановился и посмотрел назад…

На горизонте еще виднелась Липня — купол Воскресенской церкви, верхушки деревьев в городском саду, труба кирпичного завода, который был с большим трудом восстановлен, проработал два месяца и псоле одной из бомбежек снова превратился в груду развалин, недостроенный, могучий корпус льнокомбината, его довоенная работа, льнокомбинат, до восстановления которого у него так и не дошли руки…

Липня! Милая, родная Липня!.. Никогда он не думал, что этот маленький, серенький городишка, куда он случайно попал в трудную минуту жизни, может сделаться таким дорогим и близким!..

Почти два года он настойчиво, изо дня в день, поднимал и восстанавливал этот город, самый разоренный во всей области — его снова разбивали, снова жгли, и хозяин города снова упорно принимался за трудную, неблагодарную работу восстановления… Эта работа была смыслом его жизни…

Теперь все кончено!.. Еще несколько минут, несколько десятков метров вниз, с горки в лощину — и любимая, дорогая, многострадальная Липня окончательно скроется из глаз!..

Возврат отрезан!..

Он повернулся и быстрым шагом, почти бегом, догнал свой воз…

Лена шла рядом с лошадью с возжами в руках, бледная, с крепко сжатыми губами; она ни о чем не спросила, ничего не сказала, но он знал, что каждая его мысль, каждое чувство ей без слов известны и понятны.

День, когда к Липне подошел последний фронт, был яркий и погожий. На темно-синем небе стояли неподвижно мелкие редкие облачка; солнце щедро заливало своими лучами зеленую траву и полужелтые деревья, ржаную стерню и осыпающиеся яровые, которые не успели убрать согнанные с места хозяева, пустые брошенные дома и дороги, забитые до отказа…

Дороги!.. Два года тому назад по их разбитым колеям и пыльным обочинам тоже двигались густые толпы людей… Шли и ехали военные и гражданские, старики и дети, на машинах, на лошадях, пешком, с узлами, с чемоданами, с пустыми руками…

И вся эта масса народа шла в одном направлении — на восток…

А теперь по тем же самым, еще более разбитым дорогам людской поток повернул вспять: толпы двигались на запад…

Отступали с чужой земли завоеватели, и вместе с ними шли завоеванные, и последних было больше, чем первых. Шли городские и деревенские, ехали на лошадях и коровах, толкали ручные тележки и тачки, тащили узлы и детей… Около

некоторых партий беженцев мелькал по сторонам немногочисленный конвой — иногда немецкие солдаты, чаще полицаи…

Многие уходили от приближавшейся советской армии сознательно: это были те, кому заслуженно или незаслуженно пришлось бы принять на себя клеймо изменника и предателя.

Но подавляющее большинство шли потому, что их согнали с родных насиженных мест и тащили вместе с детьми и скарбом неизвестно куда, неизвестно зачем.

И они тащились по пыльным дорогам, то и дело оглядываясь по сторонам и примериваясь, как бы ловчее и незаметнее отстать от колонны; в каждом лесу, в каждой брошенной попутной деревне кто-нибудь отставал, и конвоиры, если таковые были, делали вид, что не замечают: Завоеватели лучше, чем завоеванные, понимали, что их дело проиграно.

* * *

По временному, наспех построенному деревянному мосту через Днепр переправлялись отступавшие немецкие войска.

Двигались машины, орудия, танки, мотоциклы, повозки, запряженные огромными короткохвостными лошадьми, верховые и больше всего пеших.

Каждый спешил проникнуть на этот мост возможно скорее; была давка, неразбериха, гвалт. Два немца, обер-лейтенант и фельдфебель, с револьверами в руках, кричали сорванными охрипшими голосами, стараясь навести порядок.

Место было совершенно открытое, ни деревца, ни кустика, с одной стороны дороги — убранное ржаное поле, с другой — пастбище, съеденное скотом до голой земли.

Через мост, забитый войсками, беженцев не пропускали, собралось их на берегу несколько тысяч с подводами и скотом. Они ждали час, ждали другой; наконец, видя, что войскам не видно конца, а следовательно, ждать переправы придется очень долго, многие стали распрягать лошадей, раскладывать костры, варить пищу.

Гнутов выпряг обоих лошадей и повел их вместе с коровой под горку, где еще сохранилась трава. Лена взяла ведро и пошла за водой.

Внезапно по толпе прошло волнение: все поднялись, зашумели, начали всматриваться в небо… Послышался гул, слишком знакомый, чтоб его не узнать…

К месту переправы летело более двух десятков самолетов.

— Красные… со звездой… русский «Иван» летит!..

Люди бросились врассыпную.

Взрыв страшной силы потряс землю, за ним последовал второй, третий, десятый…

Мост разлетелся щепками в разные стороны; машины и орудия посыпались в воду вместе с людьми и кусками людей…

Слышались крики на обоих языках, стоны раненых, плач детей, мычанье коров и ржание лошадей…. Все перемешалось…

Лена сидела на земле, на откосе, у самой воды, сжимая в руках пустое ведро; взрыв, разбивший мост, сшиб ее с ног и окатил водой.

Самолеты взяли обратный курс; какой-то немец в бессильной злобе послал им вдогонку автоматную очередь, никого и ничего не повредившую.

Лена зачерпнула ведром воды и… вылила ее обратно: взрыв перепахал берега и дно реки, и вода была бурой от грязи. Лена пошла по берегу вверх по течению, пока не нашла сравнительно чистую воду; там она снова зачерпнула, отпила несколько глотков и понесла воду туда, где стояли их телеги.

Пройти было трудно: везде были поломанные телеги, мертвые и раненые люди и скот: не все летчики были одинаково метки — если одни бомбы разбили мост и уничтожили множество немцев, то несколько других попали прямо в гущу беженского лагеря.

Наконец, Лена нашла место стоянки своих подвод.

У телеги было выбито дно, вещи разбросаны в разные стороны, два колеса поломаны, и около этих ломаных колес лежал Венецкий, весь залитый кровью.

— Николай!.. Милый!..

Лена бросилась к нему.

Но одного взгляда было достаточно, чтоб понять, что помочь невозможно, что это конец, смерть…

Николай разорвало почти пополам, оторвало ему обе ноги и превратило нижнюю половину тела в кровавую кашу из мяса, костей, внутренностей и клочков одежды.

Но, по неизъяснимой прихоти природы, он был еще жив… даже в полном сознании, смотрел широко раскрытыми глазами и даже слабо улыбнулся, увидав Лену.

— Хоро… шая… моя… это… хорошо… Так лучше… Умереть… и все… Умная бомба… — прошептал он еле слышно.

Лена приподняла его уцелевшую голову, прижала к груди и крепко поцеловала.

Его побелевшие губы чуть-чуть шевельнулись в ответ на этот прощальный поцелуй и стали холодеть, по лицу прошла легкая

судорога, и голова его в руках Лены отяжелела.

Она смотрела на любимое лицо, на которое уже легла тень вечного покоя; глаза были открыты, но уже ничего не видели…

Лена не плакала, она сидела на земле, неловко подвернув ногу, положив на колени мертвую холодеющую голову Николая и перебирала пальцами его волосы. Она сама не знала, сколько времени так просидела…

Паника, вызванная бомбежкой, улеглась. Саперы начали наводить понтонный мост. Раненых немцев забрала санитарная машина; мертвых немцев взяла другая машина, с черным брезентовым верхом; раненых русских кое-как перевязали родные и соседи…

В стороне, под горкой, человек десять мужчин, в том числе Прохор Гнутов, рыли большую яму. Лопат нашлось только три, копали по очереди.

Когда солнце стало клониться к закату, они собрали мертвых и опустили в братскую могулу двадцать три человека; в их числе лег в землю бывший липнинский бургомистр Николай Сергеевич Венецкий.

Над могилой насыпали невысокий холмик. Гнутов подобрал доску, оторванную взрывом от моста.

Несколькими ловкими ударами топора он сделал из нее крест, потом намочил его и по мокрому дереву химическим карандашом написал двадцать три фамилии. Венецкого он записал первым.

Крест воткнули в рахлую землю.

— Ермолаич!.. Что с ней-то делать будем? — спросила Дарья, указывая на Лену, которая молча и безучастно сидела в стороне со сложенными на коленях руками. — Она как каменная стала…

— Оно и понятно!.. Такого человека потерять!.. Золотой человек был Сергеич!.. Ты ее, Даша, не трогай, ей словами не поможешь…

— А что же делать?

— Погоди!.. Я, кажется, придумал…

Прохор подошел к Лене и осторожно тронул ее за плечо.

— Михайловна! Мы их похоронили, теперь бы панихиду отпеть по ним, хотя самим, без попа… Пойдем-ка!

Глаза Лены оживились, она кивнула головой, молча встала и пошла к могиле.

— Начинай, Михайловна! Я все хотел вспомнить, как «Благословен еси Господи» поется, да начало забыл…

Лена запела. Ее голос звучал уверенно, ровно, спокойно, ровнее и спокойнее, чем когда-либо ранее…

— «Святых лик обрете источник жизни, и дверь райскую да

обрящу и аз путь покаянием…»

Гнутов тоже пел, но его голос дрожал, прерывался, он смахивал рукой слезы.

— «Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше, якоже агнцы, и к жизни нестареемей святии…»

К поющим присоединился резковатый дискант Дарьи и еще несколько не совсем уверенных голосов.

— «В путь узкий ходшие прискорбный, вси в житии крест свой, яко ярем вземшие…»

Толпа беженцев окружила группу поющих. Многие плакали.

Лена твердо и уверенно вела хор, ни разу не сбилась, не забыла ни одного слова; ее голос ни разу не дрогнул, ни разу не сорвался…

— «Несть свят, якоже ты, Господи, Боже мой»…

На востоке снова послышался зловещий гул самолетов.

— «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею»…

— Летят! Опять летят!.. — послышались голоса, и многие побежали прятаться.

— «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих»…

Грохот новой бомбежки покрыл голоса поющих. Лена не прервала панихиду, только запела громче; теперь ее поддерживал один Гнутов.

С противоположной стороны тоже вылетело несколько самолетов, и завязался ожесточенный воздушный бой.

— «Ты еси Бог, сошедший во ад, и узы окованных разрешивый»…

Понтоны, наведенные до половины реки, разлетелись в щепки; самолеты метались вверх и вниз в разные стороны, хлестая пулеметными очередями…

Лена опустилась на колени и склонила голову на могильный холмик; в панихиде произошла первая короткая заминка…

— «Во блаженном успении вечный покой!» — возгласил своим протодьяконовским басом Прохор.

Вечную память он пропел один. Лена молчала.

В сумерках никто не заметил, что на ее цветастом платке и клетчатой кофточке выступили темные пятна. Шальная пуля с самолета попала ей в затылок…

Гнутов осторожно приподнял ее и перевернул.

— Наповал убило! — проговорил он. — Сама по себе панихиду отпела, и пошла за Сергеичем следом!.. Знать, крепко они друг друга любили!.. Где лопата-то?

— Да что ты? Копали, копали, теперь опять перекапывать? — попробовал возразить один из беженцев.

— Лопату давай!

— Да опять же налетят… Уходить надо отсюдова!..

— А кто тебя держит? Уходи!..

Немецкие воинские части свернули по берегу в сторону, решив наводить мост где-то в другом месте. Беженцы тоже двинулись, кто вслед за немцами, кто назад…

Когда над местом неудачной переправы уже стояла почти круглая, кроваво-красная луна, Гнутов закончил свою работу и приписал на кресте, выше всех, двадцать четвертое имя Елены Михайловны Венецкой-Соловьевой.

Затем он пошел на берег и посмотрел на взбаламученную реку: широк и глубок был Днепр в этом месте…

И Прохор Гнутов запряг своих лошадей в уцелевшую телегу, собрал с помощью жены разбросанные вещи, взял вожжи в руки, посмотрел последний раз на могилу и решительно повернул свою подводу в обратную сторону.